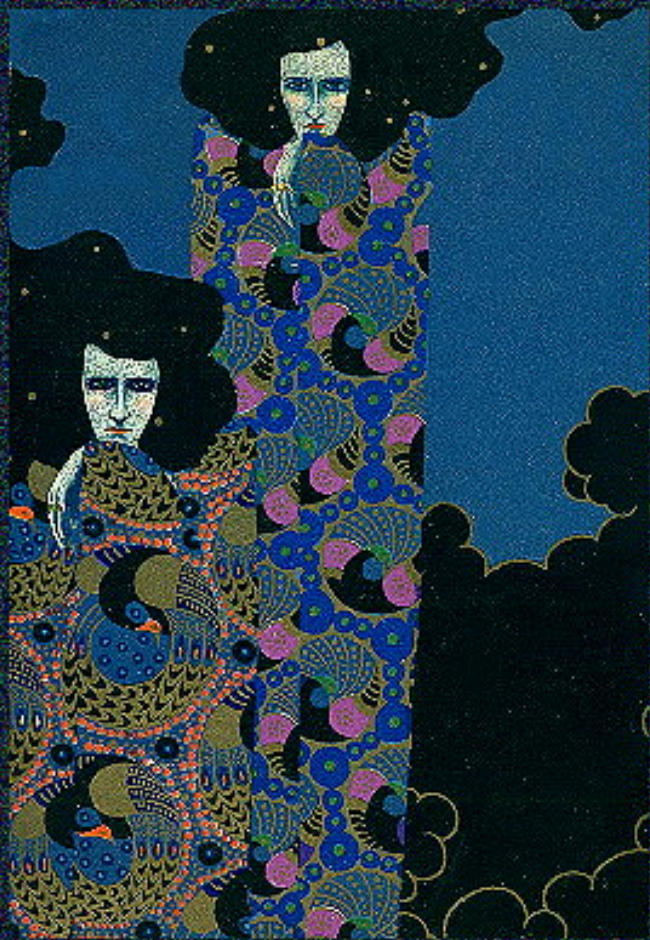


[Polaris]



КРОВАВЫЙ РУБИН

Фантастика. Ужасы. Мистика

Том I

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СССХVII



Salamandra P.V.V.

КРОВАВЫЙ РУБИН

Фантастика. Ужасы. Мистика
Том I

Составление и подготовка текстов
М. ФОМЕНКО

Salamandra P.V.V.

Кровавый рубин: Фантастика. Ужасы. Мистика. Том I. Сост., подг. текстов и прим. М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 318 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCXVII).

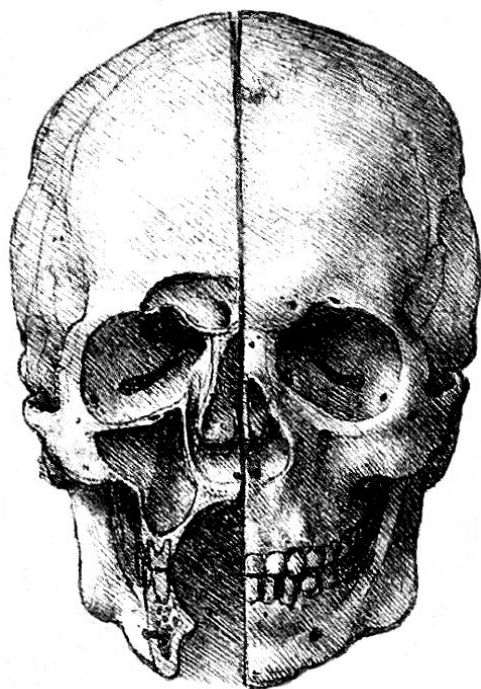
В сборник вошли раритетные фантастические, мистические и «ужасные» рассказы западных авторов первых десятилетий XX века. Эти произведения принадлежат в основном европейским писателям и в подавляющем большинстве своем никогда не переиздавались. Среди авторов читатель найдет как громкие и знаменитые, так и малоизвестные имена.

© Authors, estate, 2019

© М. Fomenko, состав, подг. текста, прим., 2019

© Salamandra P.V.V., оформление, 2019

КРОВАВЫЙ



РУБИН

Рене Гибо

ЧУДОВИЩА ВОЗДУХА

Когда я узнал из вечерней газеты о несчастье, приключившемся с моим другом Марселем Ривьером, я немедленно вскочил в такси и велел возить себя в клинику Св. Марты. Шофер сочувственно поглядел на мою растерянную физиономию и пустил машину полным ходом. Свежий ветер, захлеставший меня по лицу, вернул мне спокойствие, и я, развернув газетный лист, более внимательно прочел столь взволновавшее меня сообщение.

На первой странице, под жирными заголовками, было напечатано известие о том, что знаменитый авиатор Ривьер, поднявшийся с аэродрома Бурже с целью побить мировой рекорд высоты, по неизвестной причине вывалился из сиденья и с огромной высоты камнем рунулся вниз. Бывший на нем парашют раскрылся лишь на расстоянии 500 метров от земли; летчик, упав на вспаханное поле, отделался легкими контузиями, но, под влиянием пережитого потрясения, впал в бредовое состояние. Врачи клиники Св. Марты, куда его спешно перевезли, опасаются мозговой горячки...

Покуда шофер, ворча и ругаясь, пробирался сквозь сутолоку парижских улиц, я воскрешал в памяти все этапы моей долголетней дружбы с Марселем. Начало ей было положено еще на школьной скамье, где я успел полюбить Ривьера за его открытый нрав, ум и несомненную храбрость, проявлявшуюся уже в детских играх. Юношей, Ривьер увлекался авиацией и быстро стал одним из самых выдающихся французских летчиков: в его активе числились несколько исключительных по смелости рейдов, две попытки перелета через океан и ряд рекордов, — в том числе, рекорд высоты. При попытке улучшить его, мой друг и стал жертвой несчастного случая.

После томительной поездки автомобиль остановился, наконец, у ворот клиники. Дежурный врач проводил меня в большую светлую комнату, где на единственной постели лежал мой бедный друг. Черты его лица были искажены; глаза, затуманенные лихорадкой, глядели на меня, не узнавая. Время от времени он хриплым голосом произносил несвязные слова.

— Бредит, — сказал шепотом врач.

Через широко раскрытое окно в палату вливалась прохлада весеннего вечера и чуть приметный запах цветов. От волнения у меня сжалось горло, и я молча вышел в длинный больничный коридор...

* * *

Как того и опасались врачи, Марсель заболел воспалением мозга. Пятнадцать дней он провел между жизнью и смертью, не приходя ей на минуту в сознание и непрерывно бредя. Он говорил о чем-то большом, скользком, отбивался от невидимой опасности и несколько раз порывался соскочить с постели. Два служителя с трудом удерживали его на месте...

Наконец, в одно прекрасное утро врач встретил меня радостной вестью: в состоянии больного произошел перелом, и он находится на пути к выздоровлению. Я бросился к двери палаты, но врач удержал меня за рукав:

— Куда вы? Раньше двух недель к нему нельзя...

Две недели спустя я увозил Марселя, исхудавшего, острившего, изменившегося до неузнаваемости, на мою летнюю дачу на берегу Марны. Он вдыхал полной грудью теплый воздух, сладко ежился под лучами солнца и видимо наслаждался жизнью. Но когда я неосторожно попросил его рассказать, каким образом приключилось несчастье с его аппаратом, он заволновался, заметался на сиденье автомобиля и произнес страдальческим голосом:

— Не теперь... Не нужно спрашивать... Я еще слаб. Я сам расскажу... потом...

* * *

Однажды мы сидели на террасе моей виллы, Марсель и

я, и молча глядели на зеркальную гладь Марны. Наступали летние сумерки, и косые лучи заходящего солнца золотили тонкую пыль над проезжей дорогой. Неожиданно Марсель сказал:

— Как тихо вокруг... и какой ужас сжимает подчас мое сердце!

Я взглянул на него со страхом и участием:

— Ты болен, Марсель? Дать тебе чего-нибудь?

Он криво усмехнулся:

— Я не болен и не сошел с ума. Я не могу забыть, что я видел **там**.

Предчувствуя, что я нахожусь на пороге какой-то страшной тайны, я спросил:

— Где «там», Марсель?

— Там. Наверху. На высоте восемнадцати километров над землей.

И, закрыв глаза ладонью, как бы отгоняя страшное видение, он простонал:

— Какой ужас!

* * *

Вот тот невероятный, потрясающий, дикий рассказ, который мне довелось выслушать этим памятным вечером от Марселя Ривьера, — человека, каждому слову которого я привык верить, как святыне. Никогда не забуду его полулежащей позы, его закрытых глаз, которые он как бы боялся раскрыть, чтобы вновь не увидеть страшное явление...

— Происшедшее со мной столь чудовищно, столь необычно, что начну рассказ по порядку, с самого начала. Ты должен убедиться, что я все время был в здравом уме и памяти.

Я поднялся с аэродрома 25 апреля, в 10 часов утра. Motor работал великолепно, я забирал высоту безо всяких затруднений, и вскоре земной пейзаж слился для меня в единую одноцветную поверхность.

Шесть тысяч метров! Все шло так хорошо, что я замурлыкал песенку, уверенный в успехе моей попытки. Я воображал себя средневековым рыцарем, мчащимся на турнир: кожаная каска казалась мне шлемом, непромокаемое одеяние авиатора — латами, а кожаные петли, в которые я упирался ногами для большей устойчивости — стремянами. Дышать было легко благодаря притоку живительного кислорода из резервуара, а холода, царящего на этих высотах, я не чувствовал, ибо меня согревал электрический радиатор.

Когда большой барограф показал 15 километров, мой предыдущий рекорд был побит, и я мог бы спокойно начать спуск. Но опьянение пространством, высотой и движением было так сильно, что я налег на руль и начал забираться выше.

Медленно, как бы во сне, передо мной разворачивалась пелена молочно-белого тумана. Местами в нем появлялись странные темные пятна, отливавшие то синеватым, то желтым цветом: это напоминало гигантский калейдоскоп. Время от времени в этих пятнах возникало какое-то трепетание: можно было подумать, что там таится жизнь...

Я взглянул на регистрационные аппараты: они показывали высоту 18 километров. Затерянный в безбрежном океане тумана, окруженный загадочными цветными массами, я почувствовал в груди жало страха. Вот слева от меня появилось гигантское желтое пятно: мне показалось, что оно движется на меня. Определить тебе в точности мои чувства в этот момент невозможно. Сильнее всего во мне было, вероятно, любопытство; мне хотелось во что бы то ни стало разглядеть поближе таинственное явление, проникнуть в его тайну. Пытаясь мысленно подыскать ему объяснение, я подумал о неведомой нам фантастической флоре, возникающей в высоких слоях атмосферы под влиянием солнечного света и невидимой с земли: возможно, что цветные массы являлись чем-то вроде гигантских грибов, плавающих в разреженном воздухе, подобно пуху одуванчика...

Через несколько минут мой аппарат поравнялся с желтой массой. Я врезался как бы в мокрую вату. И в этот момент — о, ужас! — я заметил, что все пространство вокруг

меня кишит какими-то личинками. То, что я принял за цветы, было на самом деле животными!.. Эти омерзительные существа напоминали прозрачные пузыри, метавшиеся из стороны в сторону, как стая мышей, застигнутых водой. Пропеллеры моего аэроплана с воем врезались в эту гадость... Бррр...

Первое чувство гадливости вскоре сменилось страхом. Я понял, что высшие слои атмосферы, которые мы на земле считаем мертвыми и пустынными, на самом деле заселены особой фауной. Что это за животные? Ограничивается ли население этой зоны теми слизняками, которых я видел, или же мне угрожает опасность иных, более страшных встреч?

Не успел я поставить себе эти вопросы, как кровь в моих жилах застыла от непередаваемого ужаса. Мой аппарат проник в темное пространство, и в этот момент я увидел прямо перед собой два глаза, горевших нездешней злобой. Эти глаза жили в отвратительном слизистом теле, расплывчатые очертания которого напоминали гигантских океанских спрутов. Потом рядом со мной — слева, справа, сверху — появились новые глаза, новые студенистые массы! Со всех сторон к аппарату потянулись щупальцы. Фиолетовые и желтые тени свивались и развивались в омерзительный клубок... Я выпустил из рук рычаги... Аппарат пошатнулся... Помню только стремительное падение, нестерпимую боль в сердце, свист воздуха в ушах... потом — ничего...

* * *

Я был потрясен рассказом Марсея. Я не сомневался, что это приключение — плод галлюцинации, нервного напряжения, результат продолжительного дыхания кислородом. Быть может, мой друг на мгновение потерял сознание и видел все в кошмаре.

Мой скептицизм привел Марсея в состояние раздражения:

— Говорю тебе, что я отдаю себе прекрасно отчет во всем, что со мной случилось! Я видел этих животных так же ясно, как вижу теперь тебя. Поверь мне — там, наверху, в эфире, таится жизнь, о существовании которой мы здесь даже не подозреваем...

И, заметив на моем лице остатки скептицизма, он добавил:

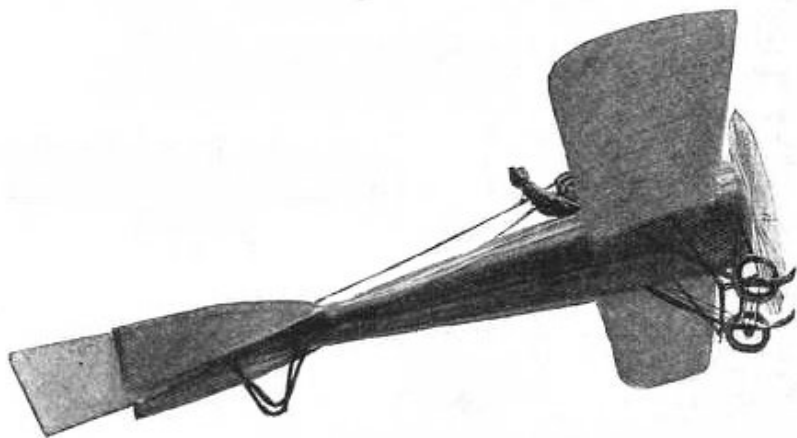
— Разве тебе не известно, что обломки моего аппарата, свалившегося с высоты восемнадцати километров, были покрыты черным налетом и что эксперты не могли определить природу этой загадочной слизи? Но я знаю, что это... Когда я врезался на всем лету в студенистую массу воздушного спрута, пропеллеры отрывали куски его омерзительного тела... Какой ужас!

Я замолчал. Наверху, в вечернем небе, незримо собиралась темнота. Я взглянул туда, в бездонную глубину лазури, и меня охватила невольная дрожь...

Артур Конан Дойль

УЖАС ВЫСОТ

(С включением рукописи, известной под названием
«Отрывок из отчета Джойса-Армстронга»)



I



Мысль о том, что необыкновенный рассказ, так называемый «отрывок из отчета Джойса-Армстронга» — ловкая шутка, сыгранная кем-то неизвестным и порожденная фантастическим и мрачным юмором, теперь вполне оставлена людьми, рассмотревшими этот вопрос. Самый зловещий, мрачный и одаренный живым воображением шутник не стал бы связывать своих болезненных фантазий с теми несомненными и трагическими событиями, которые придают силу его словам. Правда, рассказанное в «отрывке» изумительно, даже чудовищно; тем не менее, утверждения автора рукописи против воли овладевают нашим мозгом и заставляют нас думать, что нам необходимо настроить ум согласно с новыми взглядами. Начинает казаться, будто мир, в котором мы живем, отделен только легкой и ненадежной преградой от самых необыкновенных и неожиданных опасностей. Постараюсь в своем рассказе, воспроизводящем упомя-

нутый документ, в по необходимости отрывочной форме, развернуть перед читателем последние события, а в виде предисловия скажу, что, если кто-нибудь еще сомневается в достоверности слов Джойса-Армстронга, то факты, касающиеся лейтенанта Миртля (из Королевского флота) и м-ра Хея Коннора, действительно погибших ниже описанным образом, — бесспорны.

Отрывок из рукописи Джойса-Армстронга был найден на поле, называемом Нижний Хенкок, на милю к востоку от деревни Вайтигам на границе Кента и Суссекса. Пятнадцатого числа прошедшего сентября Джеймс Флип, работник фермера Мэтью Додда с фермы Чоунтри, заметил черешневую трубку, лежавшую близ пешеходной тропинки, которая бежит вдоль живой изгороди поля. Через несколько шагов он поднял разбитый бинокль; наконец, среди густой крапивы в канаве увидел плоскую тетрадь с полотняным корешком, оказавшуюся записной книжкой с отрывными листками; многие из них отделились и разлетелись вдоль изгороди. Он собрал их; но некоторые, в том числе первый, не были найдены; это образовало прискорбный пробел в до крайности важном документе. Работник отнес записную книжку в своему хозяину, а тот, в свою очередь, показал ее д-ру Асертону из Хартфильда. Этот джентльмен сразу понял, что рукопись необходимо отдать на рассмотрение сведущих людей — и книжка была отправлена в лондонский аэроклуб, где она и находится в настоящее время.

Двух первых страниц не хватает. В конце рассказа также вырвана одна; однако, это не нарушает общей стройности отчета. Предполагают, что исчезнувшее начало касается авиаторской деятельности м-ра Джойса-Армстронга, которая известна из других источников, причем знающие люди находят, что ни один из европейских воздушных пилотов не превзошел его в этом отношении.

В течение многих лет он считался одним из самых смелых и самых развитых летчиков; эти два качества дали ему возможность изобрести и подвергнуть испытанию несколько новых усовершенствований, в том числе гироскопический аппарат, известный под его именем и примененный

им к летательным машинам. Большая часть страниц книжки исписана четким почерком и чернилами, но несколько строк в конце набросаны карандашом и так беспорядочно, что их трудно разбирать; кажется, будто они были нацарапаны поспешно на сиденье летящего аэроплана. Надо прибавить, что на последней странице и на переплете книжки виднеются темные пятна; эксперты признали их следами крови, вероятно, человеческой и несомненно принадлежавшей млекопитающему. Тот факт, что нечто, в высшей степени похожее на бациллы малярии, было найдено в этой крови и что Джойс-Армстронг, как известно, давно страдал перемежающейся лихорадкой, — составляет замечательный пример новых орудий, которые современная наука дала в руки наших сыщиков.

Теперь несколько слов о личности автора отчета, который, вероятно, создаст новую эпоху. По словам немногих друзей Джойса-Армстронга, действительно знавших его характер, он был не только изобретателем и механиком, но также поэтом и мечтателем. Человек очень богатый, он израсходовал большие деньги, стараясь осуществить свою идею. В сараях-ангарах Джойса-Армстронга близ Девайса стояли четыре аэроплана, и говорят, что в течение прошлого года он поднимался не менее ста семидесяти раз. Это был сдержанный человек, который по временам впадал в мрачное уныние и в таком настроении избегал общества. Капитан Денгерфильд, знавший Джойса-Армстронга лучше, чем кто-либо другой, говорит, что порой его эксцентричность грозила перейти во что-нибудь более серьезное. Например, Джойс всегда брал с собой на аэроплан свое ружье, заряжавшееся картечью.

Другим доказательством справедливости слов Денгерфильда служит то болезненное впечатление, которое произвело на Джойса-Армстронга падение лейтенанта Миртля. Миртль пытался побить рекорд высоты, упал приблизительно с тридцати тысяч футов. Страшно сказать: его голова была совершенно уничтожена, хотя тело, руки и ноги сохранились вполне. По словам Денгерфильда, на каждом собрании летчиков Джойс-Армстронг с загадочной улыб-

кой спрашивал:

— А где, скажите пожалуйста, голова Миртля?

Однажды, после обеда в столовой школы авиаторов в долине Сальсберн, он поднял вопрос о том, «что со временем сделается самой обычной опасностью для воздушных пилотов». Было сказано много различных предположений. Один говорили о так называемых «воздушных мешках», другие о погрешности конструкции, о перегрузке. Он выслушал всех, пожал плечами и отказался изложить свои собственные взгляды, однако по выражению лица Джойса-Армстронга можно было понять, что его идея совершенно не сходилась с мнениями его товарищей.

Необходимо заметить, что после окончательного исчезновения Джойса-Армстронга, его частные дела оказались в таком доведенном до совершенства порядке, который говорил, что он предвидел несчастье. После этих существенных объяснений я дословно приведу рассказ Джойса-Армстронга, начав с третьей страницы пропитанной кровью записной книжки.

II

«...Тем не менее, обедая в Реймсе с Козелли и Густавом Реймондом, я понял, что ни тот, ни другой не знали об особенной опасности высших слоев атмосферы. Я не открыл им своих истинных предположений, однако, подошел к сущности вопроса так близко, что, шевелись в их умах какая-либо соответствующая мысль, они непременно выразили бы ее. Но это пустые, тщеславные малые; они желают только видеть свои глупые фамилии в газетах. Интересно отметить, что ни один из них никогда не был значительно выше двадцати тысяч футов над землей. Правда, многие поднимались выше этого и на воздушных шарах, и при восхождении на горы, но, без сомнения, аэроплан попадает в опасный пояс значительно дальше этой черты, — если допустить справедливость моих предположений.

Вот уже более двадцати лет занимаемся мы авиацией и, конечно, можно спросить: почему опасность сказывается только в наши дни? Ответ очевиден. В эпоху слабых машин, когда «Гном» или «Грим» в сто лошадиных сил считался вполне достаточным двигателем во всех случаях, полеты были в высшей степени ограничены. Теперь же, когда мотор в триста лошадиных сил является скорее правилом, нежели исключением, посещать высшие слои атмосферы удобнее и проще. Некоторые из нас помнят, как во дни нашей юности Гарро заслужил мировую славу, достигнув девятнадцатитысячной высоты, а перелет через Альпы считался замечательным подвигом. В настоящее время наши требования увеличились неизмеримо; в один лишь последний сезон насчитывается двадцать высоких полетов. Многие из них были совершены безнаказанно. Некоторые поднимались на тридцать тысяч футов над уровнем моря, не испытывая никаких затруднений, кроме холода и астмы. Что же это доказывает? Путешественник может спуститься на нашу планету тысячу раз и не увидеть тигра; однако, тигры водятся на земле и, если бы ему случилось упасть в джунгли, зверь мог бы его растерзать. В высших слоях воздуха существуют джунгли, в которых обитает нечто похуже тигров. Я думаю, со временем такие воздушные заросли будут точно занесены на небесные карты. Даже теперь я мог бы назвать две из них. Одна лежит над областью По-Биарриц, другая приходится как раз над моей головой, когда я сижу и пишу у себя дома в Уильтшайре. Я сильно предполагаю, что есть еще и третья зона над областью Гамбург-Висбаден.

Исчезновения летчиков заставили меня пораздумать. Все говорили, что они упали в море, но такое объяснение совершенно не удовлетворило меня. Во-первых, Верье во Франции: его машину нашли близ Байонны, но тела никогда не отыскивали. А потом Бакстер! Он исчез, хотя остатки его аппарата были найдены в лесу Лейчестершайра. В последнем случае д-р Мадльтон из Амсбери следил в телескоп за полетом и после несчастья заявил, что перед тем, как тучи затемнили для него поле зрения, машина, находившаяся

ся на громадной высоте, внезапно сделала несколько скачков и поднялась по вертикальной линии, приняв положение, которое до тех пор он считал невозможным... Больше Бакстера не видали. В газетах появились корреспонденции, но они ни к чему не повели. Произошло еще несколько подобных случаев. Наконец, мы видим смерть Коннора. Какая болтовня поднялась вследствие неразрешенной тайны воздуха, сколько появилось столбцов в грошовых листках и как мало было сделано для раскрытия сущности вопроса! Невероятным «vol-plané»* он спустился с неведомых высот и... не сошел со своей машины — умер на пилотском месте. Умер от чего? «Болезнь сердца», — определили доктора. Вздор! Сердце Коннора было так же здорово, как мое. Что сказал Венеблс? Венеблс — единственный человек, бывший подле него в минуту его смерти. Он заявил, что Коннор весь дрожал и осматривался взглядом жестоко испуганного человека. «Он умер от страха», — сказал Венеблс, но не мог себе представить, что испугало его. Коннор прошептал Венеблсу только одно слово, слово, похожее на «чудовища». Делая расследования, никто ничего не понял. Но я кое-что соображаю. «Чудовища!» Вот последнее слово бедного Гарри Коннора! Он действительно умер от ужаса, как и предположил Венеблс.

Потом, голова Миртля! Неужели вы действительно думаете, — неужели кто-нибудь действительно думает, — будто сила падения способна вдавить голову человека в его тело? Да, может быть, это и мыслимо, однако я никогда не верил, чтобы с Миртлем случилась подобная вещь. А сало на его платье? «Весь скользкий от сала», — сказал один из производивших освидетельствование. Удивительно, что никто не подумал об этом. Но я-то думал. Я давно думаю. Я поднимался трижды (до чего Денгерфильд насмеялся над моим ружьем!), но никогда не был достаточно высоко. Теперь, благодаря новой легкой машине системы Поля Веронье с двигателем Робур в сто семьдесят пять сил, я завтра без труда достигну тридцати тысяч футов. Постараюсь побить ре-

* Планирующий полет (фр.). (Здесь и далее прим. сост.).

корд. Может быть, добьюсь и чего-нибудь другого. Понятно, это опасно. Но если человек желает избегать опасности, ему лучше всего совсем не летать, а просто надеть фланелевые туфли и халат. Завтра я попаду в воздушные джунгли и, если в них есть что-нибудь, я это узнаю. Придется мне вернуться — я сделаюсь знаменитостью. Если я не вернусь, эта тетрадь объяснит, что я пытался открыть и каким образом я погиб. Но, пожалуйста, без болтовни о случайностях или необъяснимых тайнах. Для своей цели я выбираю моноплан Поля Веронье. Когда предстоит настоящее дело, ничто не сравнится с монопланом. Еще в давние дни это нашел Бомон. Главное, — моноплан не боится сырости и непогоды. Этот прекрасный маленький аппарат слушается моей руки, как мягкоуздая лошадь. Мотор — десятицилиндровый вращающийся Робур — развивает до ста семидесяти пяти сил. В моноплане все современные усовершенствования, включая опускные шасси, тормоза, гироскопические уравниватели, он имеет также три быстроты, достигаемые изменением угла планов. Я взял с собой ружье и дюжину заряженных картечью патронов. Посмотрели бы вы на лицо моего старого механика Перкинса, когда я попросил его положить их в машину! Я оделся, как арктический исследователь: две фуфайки под теплым костюмом; толстые носки, стеганные сапоги, штурмовая фуражка с наушниками и тальковые очки. В ангарах было душно, но ведь я направлялся, так сказать, на вершины Гималаев, и мне следовало одеться соответственно. Перкинс понимал, что предстоит что-то особенное, и умолял меня взять его с собой. Может быть, я согласился бы, если бы выбрал биплан; моноплан же — для одного, если желаешь извлечь из него каждый фут подъема. Понятно, я захватил с собой подушку с кислородом: человек, желающий достигнуть наибольшей высоты без запаса кислорода, или замерзнет, или задохнется, или и то, и другое вместе.

Раньше, чем ступить на моноплан, я внимательно осмотрел его крылья, руль направления и руль высоты. Насколько я мог видеть, все было в порядке. Я привел в действие мою машину; она шла хорошо, ровно. Когда аппарат

отпустили, он, двигаясь с наименьшей скоростью, почти сразу поднялся. Я сделал два круга над моим лужком, чтобы разогреть двигатель, потом, махнув рукой Перкинсу и остальным, выпрямил крылья и поставил рычаг на самый скорый ход. Минут восемь-десять моноплан летел по ветру, точно ласточка, но я повернул его, слегка поднял его переднюю часть, и он широкой спиралью двинулся к гряде туч, висевшей надо мной. В высшей степени важно подниматься медленно, применяясь к давлению.

III

Стоял душный, жаркий день, и в воздухе чувствовалось тяжелое затишье, как перед дождем. С юго-запада по временам налетали порывы ветра; один из них был так силен и неожидан, что заставил мой аппарат сделать полуоборот. Я вспомнил те времена, в которые шквалы, вихри и «воздушные мешки» служили опасностями, то есть эпоху, когда люди еще не умели вкладывать в свои машины мощь, преодолевающую такие затруднения. Когда я уже достигал туч и альтиметр — высотомер, — показывал три тысячи, начался дождь. О, как он лил! Капли барабанили по моим крыльям, бичевали мне лицо, туманили очки, так что я с трудом смотрел вперед. Я уменьшил скорость машины, потому что было тяжело двигаться против ливня. Выше дождь превратился в град, и мне пришлось обратить к нему хвост моноплана. Один из цилиндров перестал работать, — вероятно, вследствие загрязнившегося воспламенителя; тем не менее, я все же поднимался достаточно хорошо. Через несколько времени неприятность, что бы ни вызывало ее, устранилась, и я услышал полное, глубокое жужжание: десять цилиндров пели, как один. В таких случаях сказывается вся прелесть наших современных умерителей звука. Мы можем слухом контролировать действие машин. До чего они пищат, визжат и рыдают, когда в них что-нибудь портится! В былое время эти призывы на помощь пропадали даром: их

всецело поглощал чудовищный грохот машины. Если бы только первые авиаторы могли воскреснуть и увидеть купленное ценой их жизни совершенство механизмов!

Около половины десятого я приблизился к тучам. Подо мной расстилалось ступенчатое и затемненное дождем широкое пространство сальсберийской низменности. С полдюжины летательных машин работали на высоте тысячи футов; на фоне зеленого поля они казались маленькими черными ласточками. Полагаю, авиаторы спрашивали себя: что я делаю в стране туч? Внезапно передо мной выросла серая завеса, и влажные клубы тумана обвили мое лицо. Неприятное ощущение чего-то холодного и липкого... Но я выбрался из полосы града и, значит, все-таки достиг кое-какой выгоды. Туча была темна и густа, как лондонский туман. Стремясь выбраться из сырой гряды, я поднял нос аэроплана, да так сильно, что зазвенел автоматический тревожный звонок; я стал скользить назад. Промокшие крылья моноплана, с которых падали капли, сделали его вес тяжелее, чем я думал, но скоро я очутился в более легком облаке, а потом и совсем вышел из первого слоя туч. Дальше был второй — нежный, цвета опала; он висел высоко над моей головой. Белый сплошной потолок вверху, темный сплошной пол внизу, а между ними моноплан, который, описывая спирали, пролагал себе путь в высотах. В этих пространствах между облаками чувствуешь себя убийственно одиноким. Раз большая стая каких-то мелких водяных птиц пронеслась мимо меня, быстро направляясь к западу. Шелест их крыльев и их музыкальный крик показались моему слуху веселыми звуками. Кажется, это были чирки, но я плохой зоолог. Теперь, когда мы, люди, стали птицами, нам следовало бы научиться распознавать наших собратьев по внешнему виду.

Внизу подо мной крутился ветер и колебал просторную облачную пелену. Однажды в ней образовался как бы водоворот из тумана, и, точно глядя в воронку, я на мгновение разглядел отдаленную землю. Глубоко подо мной пролетел большой белый биплан; я думаю, утренний почтовый — между Бристолем и Лондоном. Потом серые клубы

снова сомкнулись, и я опять очутился в воздушной пустыне.

В начале одиннадцатого я коснулся нижней окраины второго слоя облаков. Он состоял из тонкого прозрачного тумана, быстро плывшего с запада. Все это время ветер постоянно усиливался и теперь дул резко, судя по моему индикатору, двадцать восемь в час. Было уже очень холодно, хотя мой высотомер показывал лишь девять тысяч. Машины работали прекрасно, и мы поднимались. Высокая гряда облаков оказалась гуще, чем и ожидал, но, наконец, она превратилась в золотистую дымку, и через мгновение я вылетел из нее; надо мной раскинулось безоблачное небо и заблестало яркое солнце. Вверху были только лазурь и золото; внизу только блестящее серебро, насколько хватало мое зрение — одна сверкающая облачная равнина. Часы показывали четверть одиннадцатого, а стрелка барографа стояла на цифре двенадцать тысяч восемьсот. Я все шел вверх и вверх; мой слух сосредоточивался на глубоком жужжании мотора, глаза наблюдали за часами, за индикатором наклонов, за рычагом бензина и за масляным насосом. Немудрено, что авиаторов считают бесстрашными. Мысли летчика заняты такими разнородными предметами, что ему некогда беспокоиться о себе! В эти минуты я заметил, до чего, на известном расстоянии от земли, буссоль ненадежна. О своем направлении я мог судить только по солнцу и ветру.

На большой высоте я надеялся достигнуть полосы вечного покоя, но с каждой новой тысячью футов шквалы делались все сильнее. Встречая их удары, моя машина стонала и дрожала во всех своих соединениях; на поворотах трепетала, как лист бумаги, а когда я ставил ее по ветру, несла меня, вероятно, с такой быстротой, какой еще никогда не испытывал ни один смертный. Мне приходилось постоянно делать новые повороты, потому что я стремился достигнуть не только наибольшей высоты. Судя по своим вычислениям, я полагал, что воздушные джунгли лежат над Уилтшайром, и все мои усилия пропали бы даром, достигни я высших слоев воздуха где-нибудь в другом пункте.

Когда я поднялся на двенадцать тысяч футов, — что случилось около полудня, — ветер стал так суров, что я тревожно поглядывал на тяжи машины и на ее крылья, ежеминутно ожидая, что они начнут полоскаться или ослабеют. Я даже отвязал парашют и прикрепил его крючок к кольцу моего кожаного пояса, приготавливаясь к самому худшему случаю. Для меня наступала минута, в которую всякая небрежность механика оплачивается жизнью авиатора. Но машина выдержала искуc. Каждая ее проволока, каждый болт жужжали и вибрировали, точно струны арфы, но мне было радостно видеть, что, несмотря на все удары и толчки, моноплан все же оставался победителем природы и господином неба. Конечно, в самом человеке есть что-то божественное, раз он преодолевает ограничения, которыми создание связывает его, преодолевает их именно с помощью такого несебялюбивого, героического самопожертвования, какое показали победы над воздухом. Говорите теперь о вырождении людей! Когда в летописях нашего рода был начертан такой рассказ, как этот?

IV

Вот какие мысли наполняли мой мозг, когда я поднимался по чудовищно крутой линии; ветер то был мне в лицо, то свистел мимо моих ушей, а страна туч подо мной ушла так далеко вниз, что ее серебряные складки и выпуклости сгладились и она превратилась в одну плоскую, блестящую низменность. Но вдруг я испытал страшное и новое ощущение. Я и раньше попадал в то, что наши соседи-французы называли *tourbillon**, но он никогда не крутил меня с такой силой. В громадной несущейся реке ветра, по-видимому, были свои водовороты, такие же чудовищные, как она сама. Мгновенно я очутился в самом сердце одного из них и минуты две кружился с такой быстротой, что почти

* Воздушный поток, турбулентность (*фр.*).

потерял сознание; потом мой моноплан наклонился левым крылом, упал, как камень, и потерял около тысячи футов; на месте удержал меня только мой пояс. Еле дыша, потрясенный, я почти перевешивался через перила моего пилотского места. Но я способен на усилие. Это мое единственное большое авиаторское достоинство. Я осознал, что мы опускаемся медленнее. Очаг вихря составлял скорее конус, чем настоящую воронку, и теперь я достиг его вершины. Страшным толчком, перекинув всю тяжесть на одну сторону, я уравнивал мои планы и повернул аппарат по ветру. В одно мгновение он вынырнул из полосы вихрей и понесся вниз. Потом, потрясенный, но победивший, я поднял «нос» моего моноплана и снова начал подниматься по спирали. Сделав большой круг, чтобы избежать опасного места, я вскоре был выше его. После часа я уже достиг двадцати одной тысячи футов над уровнем моря. К моей великой радости, моя летательная машина вышла из полосы бури. С каждой сотней футов воздух становился спокойнее. Но стало очень холодно, и я уже испытывал ту особую дурноту, которая возникает вместе с разрежением атмосферы. Я развинтил мою кислородную подушку и вдохнул живительный газ; точно подкрепляющий напиток, пробежал он по моим жилам, и я почувствовал ликование, почти опьянение. Поднимаясь в холодный, тихий, далекий мир, я кричал и пел.

Для меня совершенно ясно, что бесчувствие, которое охватило Глешера и, в меньшей степени, Коксвеля, когда в 1862 году они на воздушном шаре достигли тридцати тысяч футов, было вызвано крайней быстротой вертикального подъема. Если совершаешь его спокойно, медленно, постепенно приучая себя к уменьшенному барометрическому давлению, то таких страшных симптомов не появляется. Я мог дышать без неудобства, даже без кислорода. Однако, мне было жестоко холодно. Мой термометр Фаренгейта стоял на нуле. К половине второго я был уже приблизительно на высоте семи миль над землей и все еще постоянно поднимался. Тем не менее, мне стало ясно, что разреженный воздух представляет значительно меньшее сопротивление для моих планов и что вследствие этого мне следо-

вало понизить угол подъема. Я понял, что даже при моем легком весе и сильной машине меня ждет пункт, где я буду принужден остановиться. Дело еще ухудшилось тем, что один из моих дающих искры приборов испортился, и в моем двигателе периодически прекращалось внутреннее горение. От страха неудачи сердце у меня сжалось.

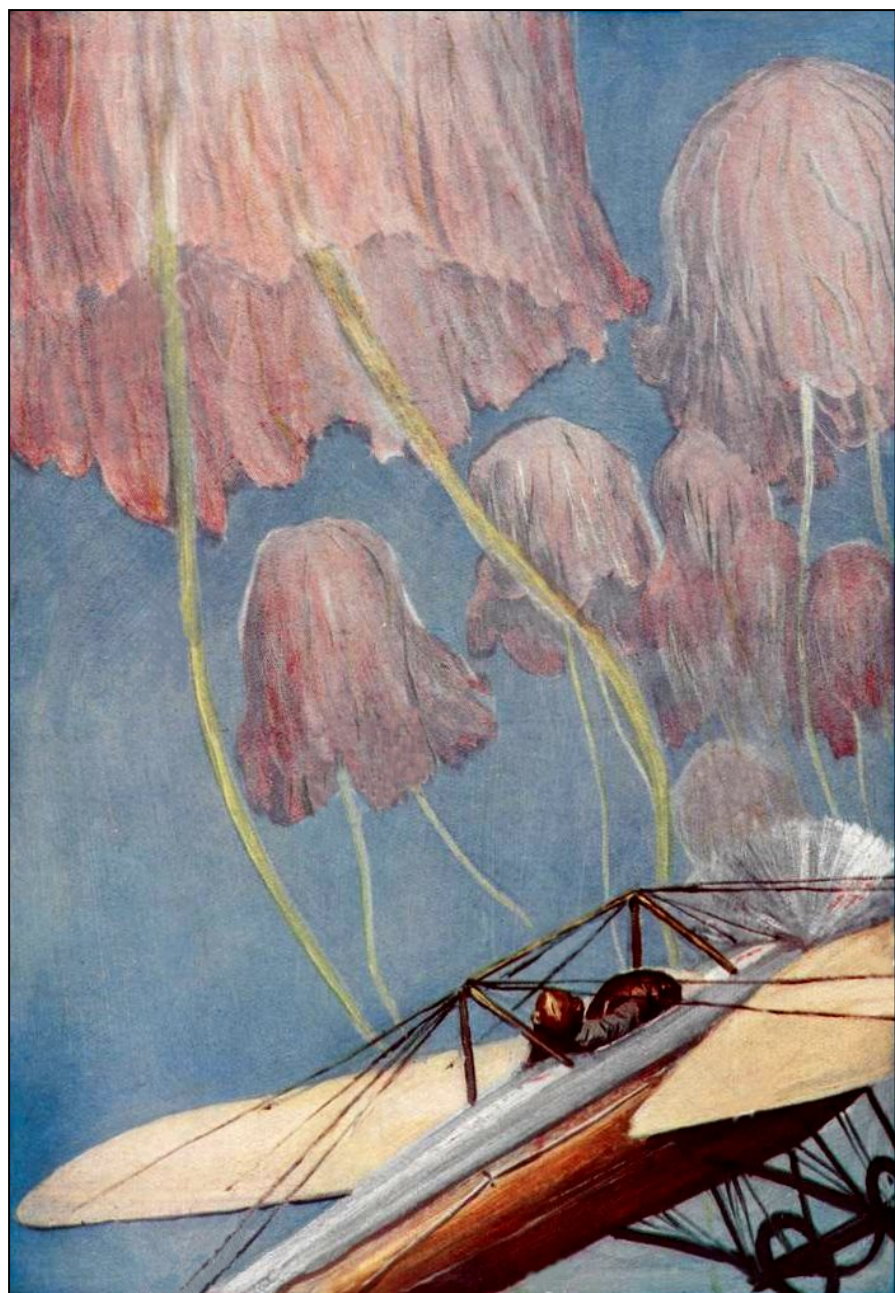
Около этого времени я был свидетелем необыкновенного явления. Что-то прожужжало мимо меня, несясь среди дыма, и вдруг разорвалось с громким шипением, рассеяв вокруг себя облако пара. Сначала я не мог объяснить себе, что случилось. Потом вспомнил, что землю вечно бомбардируют метеорные камни; что вряд ли на ней остались бы живые существа, если бы почти в каждом случае метеоры не обращались в пар во внешних слоях атмосферы.

Вот еще новая опасность для авиации на больших высотах; когда я приближался к линии сорока тысяч футов, мимо меня пролетели еще два метеора. Не могу сомневаться, что на самом краю покрова земли риск был бы еще сильнее.

Стрелка моего барографа показала сорок одну тысячу; тут я понял, что дальше двигаться не могу. Физические ощущения еще не были невыносимы, но моя машина достигла границы своего движения. Разреженный воздух не представлял твердой опоры для крыльев машины, и от малейшего толчка она скользила вбок, плохо слушаясь управления. Может быть, если бы двигатели действовали вполне хорошо, я мог бы пройти еще одну тысячу футов вверх, но вспышки по-прежнему происходили неправильно, и один из десяти цилиндров не работал. Если бы я не достиг уже зоны, к которой стремился, понятно, я не увидел бы ее на этот раз. Но разве я не достиг ее? Плавая в воздухе кругами, как чудищный ястреб, на высоте сорока тысяч футов над землей, я предоставил мой моноплан самому себе и через мангеймскую трубу стал внимательно осматривать все окружающее. Небо было совершенно ясно; на нем я не замечал никаких указаний на те опасности, которые рисовались моему воображению.

Уже сказано, что я парил кругами. Вдруг мне пришло в голову, что я должен описать более широкий круг, двинуться по новому пути. Ведь желая встретить добычу в земных джунглях, охотник, конечно, пошел бы через заросли. Мои прежние расчеты внушили мне мысль, что воображаемые мной воздушные джунгли лежат где-то над маленьким Уилт-шайром. Следовательно, они находились к юго-западу от меня. Я определил мое положение по солнцу, потому что компас был ненадежен, не виднелось никаких признаков земли — ничего, кроме отдаленной серебристой облачной низины. Тем не менее, я постарался принять надлежащее направление и вел моноплан к определенному пункту. Я рассчитал, что бензина мне хватит только приблизительно на один час, но я мог израсходовать его до последней капли, потому что один величавый vol-plané в любое время доставил бы меня на землю.

Внезапно я заметил нечто новое. Воздух передо мной потерял свою кристальную чистоту. Его наполняли длинные косматые полосы чего-то, что я мог сравнить только с очень легким папиросным дымом. Они колебались, волновались, свертывались в кольца, разворачивались, медленно свивались, облитые солнечным светом. Когда мой моноплан проносился через них, я ощутил слабый вкус сала на губах, и сальный налет покрыл деревянные части моей машины. Казалось, в атмосфере висело бесконечно тонкое, органическое вещество. В нем не было жизни. Оно, расплывчатое, рассеивающееся, тянулось на много квадратных акров, потом расходилось бахромой и терялось в пространстве. Нет, это не была жизнь. Но, может быть, остатки жизни? И главное — не могло ли оно служить пищей жизни, чудовищной жизни, подобно тому, как незначительные существа океана составляют пищу могучего кита? Думая об этом, я посмотрел вверх и увидел самое изумительное видение, которое когда-либо рисовалось перед глазами человека. Сумею ли я передать вам эту картину так, как я видел ее в последний четверг?



Представьте себе медузу, такую, какие встречаются у нас в море летом; медузу в форме колокола, но исполинского размера, как мне кажется, значительно превосходившую величиной купол собора святого Павла. Медуза эта была светло-розовая, с зелеными жилками, но так нежна, что бросала волшебный контур на темно-синее небо. Весь колокол слабо и ритмически пульсировал. От него отходила пара длинных зеленых щупальцев, которые медленно качались взад и вперед. Прелестное видение мягко, с бесшумным спокойствием прошло над моей головой, легкое и хрупкое, как мыльный пузырь, и медленно поплыло своей дорогой.

Я слегка повернул свой моноплан, чтобы посмотреть вслед красивому созданию, и мгновенно очутился посреди целого флота таких же существ самой различной величины. Однако, все они были меньше первого. Я разглядел несколько совсем маленьких; большинство же приблизительно достигало величины обыкновенного воздушного шара, и все имели почти такие же закругления вверху. Нежность вещества, из которого они состояли, и легкие тона их окраски напомнили мне лучшее венецианское стекло. Розовые и зеленые оттенки преобладали в расцветке прозрачных колоколов, но там, где солнце мерцало сквозь них, они отливали радугами. Мимо меня проплыли несколько сотен странных существ, целая сказочная эскадра неведомых аргонавтов неба. Очертания этих созданий и нежность ткани их тел вполне соответствовали чистым высотам. Трудно было поверить, что они действительно доступны для земных органов слуха и зрения.

V

Но вскоре мое внимание привлекла новая неожиданность — змеи высших слоев воздуха! Это были длинные, тонкие фантастические парообразные ленты и кольца; они поворачивались, свивались с громадной быстротой, летая кругом меня с такой скоростью, что глаз еле успевал сле-

дить за ними. Некоторые из этих призрачных созданий имели футов до двадцати-тридцати длины; толщину же воздушных змей было трудно определить, потому что их туманные очертания словно таяли в окружающем воздухе. Внутри их светло-серых или дымчатых тел тянулись более темные линии, которые вызывали мысль об определенной организации. Одна из змей скользнула мимо моего лица, и я ощутил ее холодное клейкое прикосновение; однако, они состояли из такого неплотного вещества, что я не ждал от них большей физической опасности, чем от прелестных колоколообразных существ, недавно пронесшихся передо мной; змеи эти были не плотнее пены, всплывающей после разбившейся волны.

Но меня ждала более ужасная встреча. С высоты спускалось какое-то лиловое пятно тумана; когда я впервые заметил его, оно казалось маленьким, но, приближаясь, быстро вырастало и наконец, по моему предположению, заняло несколько сот квадратных футов. Оно состояло из какого-то прозрачного, желатинообразного вещества, однако имело более определенный абрис и большую плотность, нежели существа, встреченные мною раньше. В нем также замечалось больше следов физической организации. Особенно два больших темных круглых пятна могли обозначать глаза; между ними сидел совершенно твердый белый отросток, изогнутый и жесткий, как клюв коршуна.

Наружный вид этого чудовища был страшен и грозен; оно изменяло свою окраску; сначала было светлого розовато-лилового оттенка, но постепенно приняло злобный фиолетовый цвет, до того густой, что страшное создание, проплыв между моим монопланом и солнцем, бросило тень. На верхнем спинном изгибе его громадного тела виднелись три больших нароста, которые я могу назвать только исполинскими пузырями; глядя на них, я решил, что они были наполнены каким-то до крайности легким газом, который поддерживал эту безобразную и полутвердую массу в разреженном воздухе. Страшилище двигалось быстро, без труда равняясь с монопланом; миль двадцать или больше оно составляло мой страшный эскорт, вися надо мной, точ-

но хищная птица, выжидающая времени упасть на добычу. Двигалось оно с такой быстротой, что трудно было следить за способом его передвижения, но я заметил, как оно делало это: из него вытягивался вперед длинный, клейкий отросток, который тащил за собой весь остаток извивающегося, колеблющегося тела. До того эластично и желатинообразно было это существо, что и двух минут подряд оно не сохраняло одной и той же формы. И каждая перемена делала его еще страшнее, еще противнее.

Я понимал, что оно задумало недоброе. Каждый лиловатый отсвет его отталкивающего тела говорил мне об этом. Неопределенные выпуклые глаза, постоянно обращенные на меня, казались холодными, безжалостными, и в их слизистой глубине мерцала ненависть. Я опустил переднюю часть моего моноплана, чтобы ускользнуть от чудовища. В эту минуту с быстротой вспышки света из пузырястой массы вытянулось что-то вроде щупальца и с легкостью и гибкостью конца бича обвило переднюю часть моей машины. Этот отросток лег на горячий двигатель. Раздалось громкое шипение; почти мгновенно он снова взвился на воздух, и все громадное, плоское тело страшилища сжалось, точно от внезапной боли. Я нырнул, делая *vol-riqué**; одно из щупалец снова протянулось через моноплан, и пропеллер отрезал его с такой легкостью, точно рассеяв клуб дыма. Длинное скользкое змееобразное кольцо окружило мне талию сзади и потащило из моего углубленного сиденья. Я рвал его руками; пальцы мои тонули в мягкой, липкой, клееобразной массе; на мгновение я освободился, но снова был пойман другим кольцом, обвившимся вокруг моего башмака: оно так потянуло меня, что я почти упал на спину.

Падая, я выстрелил из обоих стволов моего ружья, хотя это было все равно, что нападать на слона, пуская в него заряды горохом. Трудно представить себе, чтобы какое-нибудь человеческое оружие могло ранить громадное тело чудовища. Однако, я бессознательно прицелился лучше, чем думал: с громким звуком один из больших пузырей на спи-

* Крутое пикирование (*фр.*).



не страшного создания лопнул от попавшей в него картечи. Мои предположения были справедливы: эти прозрачные выпуклости наполнялись каким-то газом, и теперь громадное тучеобразное тело мгновенно повернулось набок; страшилище отчаянно корчилось, чтобы прийти в равновесие, а его белый клюв щелкал и разверзался в припадке ужасного бешенства. Тем не менее, я ускользнул от него, несясь по самому крутому наклону, который только решился применить, предоставив машине действовать в полную силу. Мой пропеллер, а также притяжение влекли меня вниз с быстротой аэролита. Далеко позади себя я видел смутно лиловое пятно, которое быстро уменьшалось, уходя в синее небо. Я счастливо выбрался из убийственных джунглей высших слоев.

Едва я очутился вне опасности, как я остановил мотор; ничто не разрывает двигателя на части скорее, нежели спускание с высот с полной силой. Я совершил великолепный спиральный vol-plané приблизительно с восьмимильной высоты: сначала к полосе серебристых облачных гряд, затем к слою бурных туч и, наконец, под ливнем к земной по-

верхности. Вылетев из облаков, я увидел под собой Бристольский канал, но, имея еще запас бензина, сделал миль двадцать вглубь страны и только тогда опустился на поле в полумиле от деревни Эшкомб. Тут я достал три жестянки бензина от проезжавшего автомобиля и в тот же вечер, в десять минут седьмого, спокойно слетел на мой собственный лужок в Девайсе после такого путешествия, какого не совершал еще никто из оставшихся в живых. Я видел красоту, я видел ужас высот...

Я решил подняться еще раз, а потом уже открыть миру результат моих наблюдений. Этот план подсказало мне сознание, что я должен представить людям какое-нибудь вещественное доказательство, рассказывая им о том, что я испытывали». Правда, другие вскоре последуют за мной и подтвердят мои слова, но я все-таки желаю сразу убедить всех. Конечно, нетрудно будет поймать один из прелестных, играющих радугами воздушных колоколов. Они медленно плыли, и быстрый моноплан может перерезать им путь движения. Весьма вероятно, что они растают в более тяжелых слоях атмосферы и что у меня останется только пригоршня аморфной желатинной массы. Все же у меня в руках будет подтверждение моего рассказа. Да, я поднимусь, даже рискуя жизнью. По-видимому, эти лиловые страшилища немногочисленны. Может статься, я не встречу ни одного из них, а встретив, тотчас же нырну. В худшем случае, со мной будет мое ружье, и я знаю, куда...»

Тут, к сожалению, не хватает страницы. На следующей — большими, неправильными буквами написано:

«Сорок три тысячи футов. Я никогда больше не увижу земли. Они подо мной; целых три! Помоги мне, Боже... это ужасная смерть!»

VI

Вот полный отчет Джойса-Армстронга. С тех пор не было найдено никаких следов этого человека. Осколки его



разбитого моноплана подобраны во владениях м-ра Бедд-Лушингтона на границе Кента и Суссекса, на расстоянии нескольких миль от того места, где лежала записная книжка. Если теория несчастного авиатора справедлива и эти, как он называет, «воздушные джунгли» лежат только над юго-востоком Англии, значит, он летел прочь от них со всей скоростью своего аэроплана, а страшные создания нагнали и уничтожили его в высоте над тем местом, где были найдены мрачные следы его гибели. Моноплан, мчащийся вниз с безымянными ужасами, летящими ниже его с такой же быстротой, вечно отрезая ему путь к земле и надвигаясь на свою жертву: представление, на котором не должен останавливаться человек, дорожающий своим рассудком. Найдется много людей, я уверен, которые все еще насмеются над событиями, перечисленными мною, но даже они должны признать, что Джойс-Армстронг исчез, и я посоветую им вспомнить его же собственные слова: «Если я не вернусь, эта тетрадь объяснит, что я пытался открыть и как погиб. Но, пожалуйста, без болтовни о случайностях или необъяснимых тайнах».

Артур Конан Дойль

ТАИНСТВЕННАЯ ПТИЦА

Из разных точек земного шара недавно приходили известия, что в небесной выси наблюдалась какая-то таинственная птица. С поразительной быстротой передвигалась она с места на место. Ученые наблюдали ее через подзорные трубы, даже через телескопы — и не могли определить ее породу. Она слишком огромна для птицы. Может быть, воздухоплавательный аппарат, но такой системы мир еще не знает. Наконец — эта «птица» никогда не спускается вниз отдохнуть... Все теряются в догадках.

Необыкновенный аппарат

Был холодный и дождливый майский вечер. Какая-то туманная дымка покрывала все. Улица исчезла из глаз прохожих. Кое-где мутными пятнами выглядывали фонари. Освещенные витрины магазинов бросали на мокрые тротуары неопределенный, колеблющийся свет. Высокие дома мрачными темными громадами высились вдоль тротуаров. Только в одном из них были освещены три окна во втором этаже.

Яркий свет привлекал внимание редких прохожих — и каждый считал своим долгом поднять лицо по направлению к ярко освещенным окнам. Там жил электротехник и изобретатель Франсис Перикор. Ежевечерний огонь в его кабинете, не исчезающий до двух-трех часов ночи, свидетельствовал о трудолюбии и огромной настойчивости изобретателя.

Если бы прохожие могли бросить нескромный взгляд во внутренность комнаты, они бы увидели там двух человек. Один из них — сам Перикор, с небольшим хищным лицом и черными волосами, небрежно падающими на его кельтический лоб; другой здоровый, цветущего вида мужчина с голубыми глазами. Это был известный механик Жером Броун. Им обоим мир уже обязан несколькими изобретениями. Они работали всегда вместе; творческий гений одного из них прекрасно уживался с огромными практическими

способностями другого.

Броун никогда не засиживался до такого позднего часа в мастерской Перикора. Но этот вечер должен был сыграть огромную роль к их жизни.

Сегодня они намерены были произвести опыт, который должен был увенчать долгие месяцы упорных научных изысканий.

Между ними находился длинный темный стол, весь заставленный ретортами, банками, кислотами в различных сосудах, аккумуляторами, индуктивными катушками и так далее. Посреди всего этого стояла странного вида машина, на которую с лихорадочным нетерпением были устремлены глаза двух присутствовавших мужчин. Машина эта поворачивалась и слегка скрипела при этом. Множество тонких проволок соединяли маленький квадратный приемник с широким стальным кругом, снабженным с каждой стороны двумя могущественными, выступающими вперед сочленениями. Круг был неподвижен, но оба сочленения, подобные двум коротким рукам, со страшной быстротой вертелись. Двигательная сила получалась, очевидно, из металлического ящика. Воздух был пропитан запахом озона.

Первая ссора

— Ну, Броун, а где крылья? — спросил изобретатель.

— Они слишком велики; я не мог их принести. Они имеют два метра пятнадцать сантиметров в длину и девяносто сантиметров в ширину. Но опыт ясно показывает, что мотор достаточно силен, чтобы привести их в действие.

— Они из алюминия и меди?

— Да.

— Вы посмотрите, как он действует!

И Перикор протянул свою нервную, худую руку и нажал кнопку: сочленения начали вертеться более медленно и через мгновение остановились. Затем он нажал какую-то пружину, и аппарат начал плавно кружиться.

— Вы видите! — с торжеством воскликнул изобретатель, — тот, кто будет летать на нашей необыкновенной машине, не должен тратить ни одной крупницы мускульной силы, он может оставаться неподвижным и совершенно спокойным. Изредка только необходимо проверять правильность полета...

— Благодаря моему мотору! — сказал с гордостью Броун.

— Нашему мотору! — поправил сухо Перикор. — Впрочем, назовите как угодно мотор, который я изобрел и вы осуществили.

— Я называю его мотором «Броун-Перикор», — вскричал Броун.

Глаза Перикора загорелись ненавистью.

— Но если строго разобрать вопрос, то несомненно одно: мысль об этом моторе и самой машине зародилась в моей голове, вам же досталась только разработка деталей — а потому я могу сказать, что машина моя и только моя.

— Но ведь не думаете же вы, что с отвлеченной мыслью можно создать мотор? — нетерпеливым тоном ответил Броун.

— Поэтому-то я пригласил вас себе в помощники, — ответил Перикор. — Я изобретаю, вы — воплощаете мою мысль в жизнь.

Броун видел, что его не переубедишь, и все свое внимание направил на аппарат.

— Поразительный аппарат!

— Прекрасный! — более спокойно ответил Броун.

— Он даст нам бессмертие!

— И богатство!

— Наши имена запишут рядом с именем Монгольфье.

— Надеюсь, это будет недалеко от Ротшильда.

— Нет, нет! Бы, Броун, слишком прозаически смотрите на жизнь... Подумайте о благодарности потомства...

Броун пренебрежительно пожал плечами.

— Мне эта благодарность ни к чему: с удовольствием уступаю ее вам. Я человек практический. Однако, перейдем к делу. Необходимо испытать наш аппарат.

— Где?

— Об этом я хочу поговорить с вами. Прежде всего — необходимо сохранить самую строгую тайну: этого достигнуть невозможно в Лондоне. Ах! Если бы у нас было какое-нибудь уединенное поместье!... Хорошо было бы!

— Мы можем испытать его в деревне.

— Нет, это не годится. Я хочу вам сделать предложение: у моего брата есть в Сассексе клочок земли неподалеку от Deadly Head. Место холмистое. Около дома, как мне смутно помнится, есть большой сарай. Мой брат теперь в Шотландии, но клоч от дома я могу достать. Я предлагаю перевезти нашу машину туда и там произнести несколько серьезных опытов.

— Прекрасно.

— В час дня уходит поезд.

— Я буду на вокзале.

— Принесите мотор. Я привезу на вокзал крылья, — сказал Броун. — Завтра мы будем на месте, если нас ничто не задержит. Итак, мы встретимся на вокзале Виктория.

Он быстро спустился вниз и вскоре затерялся в темноте.

.

На другой день было прекрасное утро. На спокойном голубом небе тихо скользили легкие прозрачные облака.

В одиннадцать часов утра можно было увидеть Броуна входящим с чертежами под мышкой в «бюро патентов». В полдень он вышел оттуда, держа в руках какую-то официальную бумагу.

Без пяти минут час он прибыл на вокзал Виктория. Кучер снял с крыши своего автомобиля два больших пакета, похожих на огромных *serf-volant*^{*}ов*. Перикор уже был на вокзале.

— Все благополучно? — спросил он.

Вместо ответа Броун указал на свой багаж.

— А мой багаж уже в товарном вагоне. Я сам следил за упаковкой мотора.

* Бумажных змеев (фр.).

По приезде в Эстбурн, мотор был осторожно выгружен из вагона и перенесен в омнибус.

Дом, цель их путешествия, был обыкновенным жилищем в один этаж, раскинутым на холме.

С помощью извозчика, Броун и Перикор перенесли свои вещи в самую большую комнату дома — в темную столовую. Когда они остались наедине, справившись со всеми делами и расплатившись с извозчиком, — солнце уже было очень низко.

Победа

Перикор открыл один ставень и в комнату проник сумеречный свет умирающего дня. Броун вытащил из кармана складной пояс и перерезал веревки. Появились два больших желтых металлических крыла. Он их осторожно прислонил к стене. Затем они распаковали круг и, наконец, мотор.

Уже наступила ночь, когда Броун и Перикор установили привезенный аппарат. Они зажгли лампу — и в скором времени закончили свою работу.

— Ну, вот и кончено! — довольно сказал Броун, отходя на несколько шагов, чтобы лучше охватить взглядом машину.

— Теперь мы можем отдохнуть и поесть, — сказал Броун.

— После...

— Нет, сейчас же; я умираю от голода!

Броун достал корзинку с провизией, вытащил оттуда различные припасы и начал их уничтожать, в то время как Перикор нетерпеливо прогуливался вдоль и поперек комнаты.

Перикор ни слова не произносил, но лицо его сияло от гордости и надежды.

— Теперь, — заговорил после короткого молчания Броун, — нам надо решить вопрос: кто поднимется на аппарате?

— Я! — вскричал Перикор. — Все, что мы сделаем сегодня вечером, будет занесено в анналы...

— Но ведь это не безопасно! — возразил Броун. — Ведь

мы еще не знаем, как он будет держаться в воздухе.

— Ерунда!

— Я не вижу особенной нужды идти навстречу смерти.

— Что же делать, в таком случае? Ведь необходимо, чтобы кто-нибудь из нас рискнул.

— Ни в каком случае... Аппарат будет так же хорошо действовать, если мы подвяжем к нему какой-нибудь предмет, равный по своей тяжести весу человеческого тела.

— Правильно!

— У нас есть мешок и песок: почему бы не наполнить им мешок и не подвязать его к аппарату вместо вас?

— Прекрасная идея!

— В таком случае, за работу.



Через несколько минут части аппарата были вынесены наружу. Была холодная лунная ночь. Тихо было вокруг. Изредка только до ушей изобретателей долетал шум морского прибоя и отдаленный лай собаки.

Через полчаса аппарат был собран и перенесен в огромный пустой сарай. В то время, пока Броун наполнял узкий и длинный мешок песком, Перикор принес лампу, зажег

ее и запер дверь сарая. Затем мешок положили на скамью, подвязали к стальному кругу, установили широкие крылья, приемник с мотором, соединили его проволоками с отдельными частями аппарата — и мотор был пущен в ход. Броун был невозмутим и пристально следил за движениями машины. Огромные металлические крылья приоткрылись, закрылись, затем опять открылись, сделали один взмах, другой, третий — затем широкий и быстрый четвертый взмах, который привел в сотрясение воздух сарая; при пятом движении мешок заколебался, приподнялся; при шестом упал; наконец, седьмой взмах — и он повис в воздухе.

Аппарат поднялся вверх и тяжело повернулся. Так странно было наблюдать за тяжелыми движениями этой фантастической птицы при желтом свете лампы; она отбрасывала огромную тень, в которой то появлялись, то исчезали неопределенные лучи света лампы.

Вторая ссора. — Убийство

— Броун, — восторженно закричал Перикор, — посмотрите, как правильно действуют мотор и руль. Завтра же необходимо сделать заявление о нашем открытии и взять патент.

Лицо Броуна потемнело.

— Патент уже у меня! — с улыбкой заявил он.

— Уже?.. — закончил Перикор. — Но кто смел представлять и распоряжаться моими чертежами?

— Я! Еще сегодня утлом, до отъезда, я сделал это. Не кипятитесь, право не стоит...

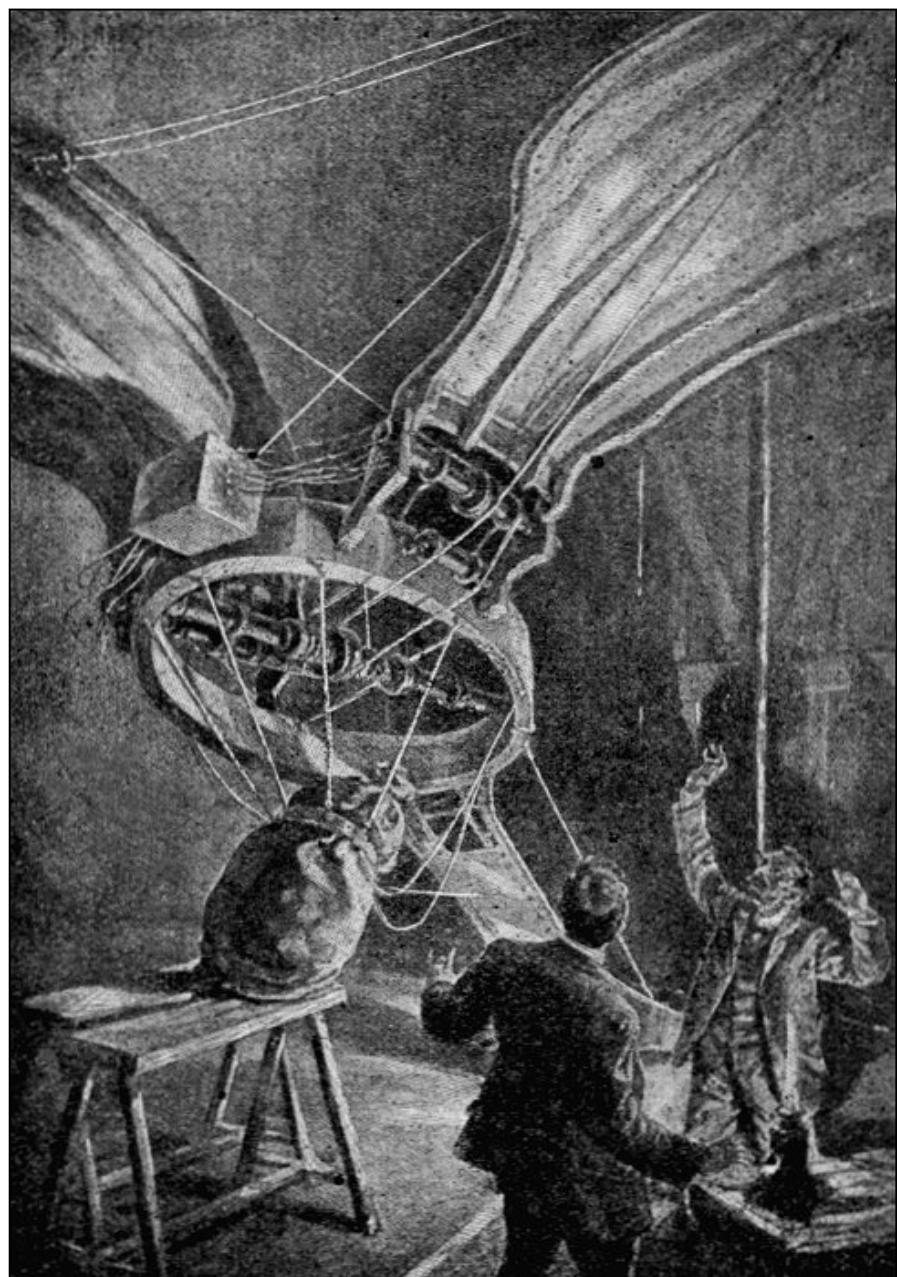
— Вы взяли патент на изобретенный нами мотор! На чье имя?

— На мое; мне кажется, — я имел право!

— А мое имя? Оно не упомянуто?

— Нет... но...

— Ах! Мерзавец! — заревел Перикор. — Вор! Разбойник!.. Вы присвоили себе мою идею. Вы хотите узурпировать при-



надлежащую мне честь открытия гениального аппарата ! Я добуду у вас этот патент, хотя бы для этого мне пришлось, — вы слышите, — перерезать вам горло...

Его черные глаза загорелись и руки с бешенством сжались в кулаки. Броун был спокоен. Видя, что Перикор приближается к нему, он вынул из кармана нож и закричал:

— Руки прочь! Я буду защищаться...

— Мерзавец! — вскричал вне себя от гнева Перикор. — Вам так же легко сделаться убийцей, как вы сделали и вором! Вы вернете мне патент?

— Нет.

— Броун, я еще раз спрашиваю вас — вы вернете мне патент?

— Если я раз сказал нет, — значит, нет. Эта машина создана моими усилиями...

Перикор заревел, как дикий зверь, и бросился вперед на своего противника, но споткнулся о железный ящик, на котором стояла лампа, — и упал. Лампа задрожала, упала и погасла. Сарай погрузился в абсолютную темноту. Один только слабый луч луны проникал сквозь узкую щель и играл на призрачных крыльях.

— Я вас снова спрашиваю, Броун, вы отдадите мне патент?

Никакого ответа.

— Да или нет?

Молчание. Тихо. Эту ужасную тишину лишь изредка прерывает шум крыльев. Трясаясь от ужаса, Перикор начал шарить вокруг и набрел на руку. Она была неподвижна. Его гнев мгновенно испарился. Он вздрогнул, безумный страх охватил его существо. Он достал спички, зажег лампу. Броун лежал на земле. Перикор схватил его за руки и поднял. В одно мгновение он понял причину молчания Броуна: несчастный тоже, очевидно, споткнулся и упал на свой собственный нож. Он мгновенно умер.

Аппарат уносит с собой труп

Изобретатель с вытаращенными глазами сел на край ящика. Он смотрел прямо перед собой, в то время как аппарат по-прежнему вертелся над его головой. В таком состоянии Перикор просидел несколько минут, — а может быть, и несколько часов. Тысячи планов теснились в его обезумевшем мозгу. Несомненно, что он не был ближайшей причиной смерти своего компаньона, но кто поверит этому? Его одежда залита кровью: все говорит против него. Лучше бежать. Если бы можно было скрыть труп, у него было бы несколько дней выигранных...

Вдруг послышался треск и шум падающего тела. Перикор оглянулся и увидел, что мешок отвязался и упал на землю. В это мгновение в его мозгу мелькнула странная мысль: вместо мешка привязать к стальному кругу аппарата труп.

Он открыл дверь сарая и вынос труп Броуна наружу. Затем он с огромными усилиями перетащил из сарая аппарат.

Сделав это, он привязал труп к кругу и пустил в ход мотор. В течение одной-двух минут крылья колебались, затем тело начало шевелиться. Перикор направил аппарат на юг. Понемногу он начал подниматься, развивая при этом все большую быстроту. Перикор не спускал с аппарата глаз, пока он не скрылся вдалеке.

В газетах начали появляться известия о необыкновенной птице, несущейся на большой высоте. С поразительной быстротой переносилась она из одной страны в другую. Про нее даже начали складываться легенды...



В одной из самых больших психиатрических лечебниц Нью-Йорка содержится какой-то человек — с безумными глазами. Администрации больницы неизвестны ни национальность, ни имя больного. Доктора утверждают, что он лишился рассудка вследствие какого-то неожиданного удара... «Человек — машина наиболее тонко организованная и всегда легче других поддающаяся разрушению», — говорят они и в доказательство показывают сложные электрические аппараты и воздухоплавательные машины, которые изобретает больной в минуты своего просветления.

Эдмон Гарикур

ВОЗДУШНЫЙ ШАР

Мне было девять лет. Я совершенно не помнил своей матери. Отец был, как мне казалось, очень добр, очень нежен, я его обожал. Но не смел ни признаться в этом, ни показать ему свою любовь. Между мною и им существовало ощущение необъяснимой отдаленности. Теперь я понимаю, что нас отдаляло. Это — его постоянная, настойчивая мысль о чем-то мне неизвестном.

Отец мой постоянно думал, жил своим внутренним миром и своей мыслью о *чем-то*, и все, что происходило кругом, не проникало в его душу. Рассказывают, что когда умерла моя мать, его оставили одного у тела раньше, чем предать труп земле. Когда наступил момент разлуки и в комнату вошли родные, то увидели, что на простыне, покрывающей покойницу, лежат листы бумаги, испещренные цифрами. Отец работал. Все же он нас любил. Но когда мысль овладевала им, она уничтожала все. Он смотрел на нас, не видя, он нас слушал, не слыша. Как я страдал от этого одиночества!

Когда вечером отец, оправляя мою кровать, целовал меня в лоб, его глаза смотрели на стену комнаты, и цветы обоев занимали его больше, чем я. От этого у меня ныло сердце, и я плакал в темноте после его ухода. Один я осмеливался говорить с ним и жаловаться. Я ему мысленно исповедовался, обнимал его шею своими худенькими ручонками, умолял его любить меня. Я обещал себе признаться отцу, но на другой день уже не хватало смелости на это.

Однажды, разрыдавшись, я выдал свой секрет. Это было во время завтрака. Увидев, что я сильно плачу, он с изумлением посмотрел на меня.

— Что с тобой, мой мальчик? Ты болен?

— Нет, отец.

— Но ты болен, потому что плачешь.

— У меня огорчение.

Закрыв глаза руками, я говорил, говорил, глотая слезы, говорил, как тогда, в темноте, ночью. С закрытыми глазами я в самом деле ничего не видел, не видел и отца, который ничего не отвечал.

Наконец, я поднял голову и протянул к нему мокрые от

слез руки. И увидел тогда, что он рисует на скатерти геометрические фигуры. Я мгновенно замолчал. Стрдание от того, что их не понимают, очень сильно у детей. Я так жестоко страдал, что сразу перестал плакать и говорить. Отец ничего не слышал. Нужно было сызнова говорить и я ясно чувствовал, что отныне не сумею этого сделать вновь.

Не думайте, что это воспоминание оставило во мне злобу. Работа отца внушала мне благоговение. Я удерживал дыхание, чтобы разглядеть узоры карандаша на скатерти и мудрую руку, их начертавшую, и его склоненный лоб.

Я еще вижу этот белый лоб, на который падал свет, и буду видеть его всегда. Я понимал, догадывался, что там живет его мысль, и мне хотелось быть там, где я никогда не мог занимать места. Я говорил себе:

— Никогда там не буду, я недостойн. И когда отец умрет, как умерла моя мать, он не узнает, как я любил его.

У отца была болезнь сердца, от которой он мог внезапно умереть. Глядя на него, я думал о том, что свет на его лбу потухнет, и сердце мое сжималось. Отец поднял голову и улыбнулся. Он, наконец, заметил меня и вспомнил!

— Тебе лучше, мой мальчик?

Я ответил бодро:

— Да, отец.

— Хорошо. В четверг ты полетишь со мной.

— На воздушном шаре?

— Да, мальчик.

Он поднялся со стула, и никогда я не видел на его лице такого счастливого выражения.

— Послушай, — сказал он.

Он поднял указательный палец. Я и сам сразу стал счастлив и горд; отец мне поверяет свою тайну! Он сказал:

— Сегодня великий день: я *нашел*! Четверг будет величайшим днем: я *попытаюсь*!

— Со мной?

— Да, мальчик, с тобой.

В этот раз я кинулся к нему на шею и повис на ней, отец так же крепко сжимал меня.

Конечно, отец не говорил со мной подробно о своем изобретении. Он *нашел!* Этого признания было достаточно для удовлетворения моего любопытства. Он берет меня с собой! Это обещание удовлетворяет мою гордость, и я благодарен. Я в восторге. Подумайте только! Сопровождать изобретателя на первом воздушном судне, на шаре-дирижабле! В девять лет содействовать воплощению человеческой мечты!

Отец сдержал обещание. В четверг мы полетели. Он посадил в лодочку меня прежде всего. Вокруг нас собралась молчаливая толпа. Она смотрела с уважением и страхом. Говорила шепотом. Указывала на меня. Я был горд. Отец крикнул:

— Пускайте.

Я почувствовал, что меня швырнуло вверх, как стрелу, и дыхание остановилось в груди. Я закрыл глаза, уцепился руками за края корзины, согнул колени, чтобы спрятаться. Сказать правду, я боялся. Хотел прошептать: «Отец...»

Но слов не слышно было. Через минуту я осмелился вздохнуть, потом робко полуоткрыл веки и заметил улетающие крыши домов. Закрыл снова глаза. Я слышал позади себя шаги отца, который переходил от одного предмета к другому, работал. Мне стало стыдно своей трусости. Я открыл широко глаза и вытянулся во весь рост, чтобы видеть. Моя голова едва превышала края корзины. Я стал на кончики пальцев. Внизу, налево, отраженные голубые крыши походили па волны маленького озера, и улицы были узки среди давящих их домов. Голубая река изгибалась очень далеко. Леса казались зелеными пятнами. Чуть заметный шум долетал из города. Это было так величественно, так прекрасно, что восхищение рассеяло мой страх, как ветер разгоняет тучи. Я видел рассеивающийся туман под нами, облака, похожие на животных, и эти белые, ползающие животные казались единственными обитателями лазурной выси. Мы вонзались в небо. Я смотрел на отца. Он мне казался богом.

С нахмуренными бровями, с раздувающимися ноздрями, он работал, не видя меня, не видя ничего. Мы поднимались, мы летели, несомые ветром. Часы проходили, проносилась земля.

Вечером мы видели море. Солнце над ним садилось.

— О, отец, как это прекрасно!

Он не слышал меня.

Между тем, я дышал с трудом; я не знал, что на высотах воздух разрежается. Я почувствовал себя больным и сейчас же пожалел, что своим присутствием обременяю отца. Я не смел позвать его, не смел овладеть его вниманием. Я видел, что он стоит, прижав левую руку к груди.

— Отец, тебе плохо?

— Да; это сердце.

Я страдал тоже, в висках стучало, спина болела. Проведя рукой по губам, я с ужасом заметил кровь.

— Отец!

Он не отвечал. Занятый, он нажимал рукоятку, и его жесты были поспешны и лихорадочны. Он поднялся, чтобы схватить конец веревки. При последнем луче солнца я увидел его совершенно белый лоб и два пятна крови у углов рта.

— Отец!

Он не отвечал, всеми силами тянул к себе веревку и дышал громко. Я протянул к нему руки и хотел приблизиться к нему. Чтобы помочь ему или чтобы умолять о помощи? Ничего не помню. Какое-то оцепенение нашло на меня. Я, кажется, упал.

Ребенок девяти лет не имеет выносливости взрослого. Без сомнения, я долго был в обмороке.

Когда я очнулся, была ночь. Меня нежно укачивало в темноте. Я с трудом понимал, где я. В голубых потемках оболочка шара, освещенная с одной стороны, вырисовывалась над моей головой огромным полукругом в виде луны, поставленной горизонтально.

Я позвал:

— Отец!

Сгорчившись (против меня), он не двигался. Голова его наклонилась к плечу. Я дотащился до этого места и прикоснулся к нему. Едва я прикоснулся, как он упал. И голова его, ударившись о пол корзины, громко стукнула. Я хотел поднять его голову и взять рукой его подбородок. Но при пер-

вом прикосновении с ужасом отдернул руку. Кожа была ледяная. Сейчас же почувствовал, что отец мой мертв.

Я громко закричал и вскочил, чтобы бежать. Ужас удвоил мои силы, я нагнулся над краем корзины.

Море там, внизу, под нами, казалось совершенно круглым и черным.

Думал ли я о чем-нибудь? Не знаю. Ветер уносил нас вместе с облаками. Он повернул шар, и страшный свет луны упал на лоб моего отца, глаза его в темноте ушли вглубь, но были открыты и упорно смотрели на меня.

Под сдвинутыми бровями, они как будто грозили мне. Два ручейка крови у углов рта затвердели и казались синими.

Я отодвинулся в противоположную сторону корзины, чтобы быть далеко, чтобы не видеть. Но каждый раз, как я пытался отвести глаза, мертвые, не отрывающиеся от меня зрачки, в которых светилась луна, меня властно призывали к себе.

Много раз, чтобы их не видеть, я закидывал голову и старался чем-нибудь отвлечь свое внимание: следил, как звезды скрываются за воздушным шаром и появляются вновь.

Но глаз все призывал меня.

Я видел теперь только один глаз. Тело отца передвинулось. Половина его лица терялась в тени, но левый, освещенный глаз как будто сверкал еще больше. Он один блистал, как два глаза, и был еще страшнее прежнего. С тех пор, как один глаз потух, мне казалось, что отец еще больше умер.

Глаз мертвого точно приказывал...

Тогда я встал с колен. Я положительно думаю, что труп меня гипнотизировал, и что я повиновался скорее его воле, чем своей.

Потому что, не думая, я стал повторять его последний жест перед моим обмороком. Я взял веревку и стал тянуть ее к себе.

Вскоре я почувствовал быстрый спуск, но в то же время услышал ужасный шум, похожий на хрип и теплое дыхание кого-то, кто явился сюда, среди неба и звезд.

Вы догадываетесь, что это газ вырвался через клапан шара. Но я этого не знал. В нестерпимом ужасе от чьего-то похоронного стенания и теплого дыхания, я убежал, спрятался за ящиками, скорчился. Время шло. Глаз смотрел, не отрываясь.

Долго спустя, небо побелело. Стало очень холодно. Наконец, взошло солнце. О, как хорош свет! Он освобождает от ужасов. Я считал себя спасенным. И первые лучи меня обогрели. Море под облаками было еще темное. Шелковая оболочка шара приняла огненный цвет, и шар поднимался, как золотой кубок, рожденный светом. Я еще сильнее задыхался. Мы быстро поднимались, я думаю.

Освещенный глаз стал выражать свирепость. Чтобы не сердить его еще больше, я поднялся и, как раньше, застенчиво повинуюсь, я повис на веревке: мы спускались.

В этот раз шум не ужасал меня более, потому что я понял его причину, и три раза начинал сызнова. Стало легче дышать. Я понял, что веревка, которую я тяну вниз, заставляет шар опускаться, и удивлялся, что, имея так мало силы, могу тянуть вниз эту большую вещь. Я отдавал себе теперь отчет в том, чего хочет мой отец. Он хочет меня спасти и приказывает это сделать мне.

Я очень сильно потянул веревку. Лодка коснулась волн. Они наполнили корзину, и ее вес тянул вниз. Потом она, накрываясь, опорожнялась и быстрым толчком мы вновь поднималось вверх и опять опускались.

Но, тем не менее, я делал все для спасения жизни. Море бушевало все сильнее и сильнее. Ураган унес один ящик, и шар значительно поднялся вверх. Это навело меня на мысль бросить в воду несколько тяжелых предметов. Но я не мог их поднять. Я был страшно утомлен и мог выбросить только легкие вещи. Но терпеливо и постепенно я освобождался от тяжести. Волны нас не задевали. Я лег в ожидании смерти и как будто замер. Вдруг разразилась гроза. Я не имел сил чего-нибудь бояться. С трудом понимал происходящее и ничего не помнил. Молния ослепила меня, я закрыл лицо руками и моментально уснул.

Я спал целые часы, тысячу раз просыпаясь от толчков и качания и засыпая вновь. Ужасные сны мне снились. Будто отец воскрес и бранит меня, грозит мертвым глазом. Он толкал меня, грозил кулаком, бил меня в первый раз в жизни... Наконец, я проснулся от ударов и увидел бледный труп рядом с собой, но он, казалось, двигался, грозил, облитый весь водой.

— Отец, прошу тебя, не трогай, не трогай меня!..

Гроза утихла, я хотел уйти с шара и прыгнуть в море. Но оно было далеко и я не смел, боялся. От жары и ветра шар опять надувался и уносился вверх.

Мысль подняться вверх со злым трупом сводила меня с ума своим ужасом. Голубизна пустого неба, как пропасть ада, кружила голову.

Я причал: «Нет! Нет! Нет!»

Думаю, что это и был самый большой ужас.

Подняться вверх навсегда и из столетия в столетие жить рядом с трупом!! Так я подумал в тот момент. Лихорадочно я кинулся к веревке. Мы опускались... Я был счастлив от представлявшейся возможности умереть в море, далеко от трупа.

Вдруг я услышал крики. Судно стояло близко от меня, и шар двигался на него. Мне кричали: «Прыгай в воду!»

Я бросился в море. Меня вытащили.

Шар, освобожденный от моей тяжести, взвился, мне потом сказали, как огромное зарево, потому что солнце зажгло на нем красный цвет оболочки всеми цветами радуги. Я ничего не видел. Меня положили полумертвого на палубу судна и, лежа на спине, я заметил, как мой отец исчез в облаках.

[Без подписи]

АКУЛЫ

Морская идиллия

Во мраке морской глубины неподвижно стояли три большие акулы. Их круглые глаза были широко раскрыты, но было бы трудно определить — спят или бодрствуют эти длинные веретенообразные животные, ощущают ли они что-нибудь или пребывают в полнейшей бесчувственности. Время от времени рыбы задевали их гладкие тела, тотчас же с испугом бросаясь прочь. Тогда по их коже пробежал трепет, но ничто не обнаруживало, почувствовали ли они быстрое прикосновение.

Трое животных, неподвижно стоявших здесь, давно уже поднялись над сумеречным существованием целого ряда морских обитателей. Их душевная жизнь не ограничивалась уже возбуждением при хватании пищи и ощущением теплоты переваривания. Они поднялись выше, так как обладали уже чувством восприятия предметов. Разнообразная жизнь вокруг них была для них чем-то, что можно хватать и проглатывать, и если бы они не были глухи, они, вероятно, сказали бы: «Пища». Так чувствовали они. И это чувство возбуждало в них все живое, только не предметы — длинные, гладкие, плавающие веретена с пастью, полной зубов, — короче сказать, другие акулы. По отношению этим они располагали другим чувством, которое можно было бы выразить словом «Ты». Но то, что эти предметы были такими же существами, как и они сами, акулы не знали, так как им было неведомо и их собственное существование. Другие акулы вызывали в них нечто мирное, что-то вроде доверчивости, если бы это не звучало так смело. Не являлось потребности вырывать у них куски из тела и глотать их. Они охотно плыли вслед за такими плывущими предметами и отдыхали в морской глубине неподалеку от них. Короче, начинало ощущаться то, что можно назвать словом «Ты», не рискуя особенным преувеличением.

Трое стояли неподвижно в темноте уже несколько часов. Наконец, хвостовой плавник самой большой из них, с самой широкой пастью, которая стояла посредине, зашевелился, и животное бесшумно направилось в темноту. Другие две точно почувствовали это. Они также сдвинулись спокойно с места и поплыли, одна повыше, другая пониже,

вслед за первой, не видя ее, однако, в непроглядной тьме морской глубины. Они плыли все трое с открытой пастью, наискось вверх. Изредка кое-что попадало им в зубы, — голова угря, щупальцы полипа, маленькая рыба, — они раскусывали это и проглатывали.

Передняя акула — быть может, отец второй, о каком-то близком родстве обе не только не знали, но и не могли сознавать — старая акула ударилась теперь носом о коралловый риф. Несколько минут она стояла неподвижно и таращила глаза в темноту. Но вместо того, чтобы изменить направление, как она делала это уже бесчисленное количество раз, она предприняла на этот раз нечто другое, — можно, пожалуй, сказать, нечто неразумное: она опять устремилась вперед и еще раз ощутила сопротивление твердой скалы.

Неприятное чувство распространилось от ее носа по всему телу; нужно было уступить. И в этот момент в проснувшемся животном затеплилось первое движение нового акулье чувства: твердое, мешающее, нечто, что нужно, плывя, обогнуть, противодействие. Теперь она повернула и поплыла прямо вверх, держась немного правой стороны. Но и теперь ничего не выходило. Она опять получила толчок по носу и довольно сильный. И широкая пасть почувствовала, как и раньше, но на этот раз отчетливее — твердое сопротивление.

До этого часа все акулы тупо огибали скалы, рифы и твердые раковины, не обращая на них внимания. Двух чувств — «Пища» и «Ты» — было для них достаточно, чтобы счастливо плыть в своей жизни. Но старая акула приобрела в эту минуту третье чувство, которое, без сомнения, только увеличилось бы с каждым новым толчком по носу, если бы не пришел случай, о котором будет еще рассказано. Следует, однако, считать вполне определившимся, что в этой акуле зародилось и выросло за необходимые пределы то излишнее чувство, которое можно было бы сравнить с эстетическим чувством некоторых людей, еще более ненужным, чем акулье чувство, — сопротивление.

Нельзя, впрочем, оспаривать возможности существования той или другой акулы, которая поднялась до еще более высших степеней сознания, нежели большая, толстая, только что обогнувшая риф. Возможно, что какая-нибудь акула ощущала, лежа на поверхности моря, нечто вроде: «Бурное волнение» или, при раскусывании чернильной рыбы, «Другая пища». Об этом нельзя спорить, но из наших трех — ни одна не дошла до такой высоты.

В темноте морской глубины голод не был удовлетворен. Теперь начались прозрачные слои. Из сумерек, колыхаясь, выплывали фигуры и часто удавалось схватить их быстрым движением и вырвать из них большие куски пищи.

Так подымались они трое, медленно вверх. Полуденный свет зеленою отливал в воде, акулы легко и весело кружились одна возле другой и приятная теплота пищеварения, начинавшая разливаться по телу, усиливалась чувством переваривания другого животного, чувством «Ты». Но маленькие рыбы были очень скудной пищей и акулы начали высматривать что-нибудь более сытное.

Темная тень заколыхалась над ними, и они быстро стрельнули вверх, чтобы впиться в нее зубами. Это был громадный кит, который заблудился в южном направлении и устало плыл. Чувство опасности было совершенно незнакомо акулам, — не вследствие, конечно, естественной храбрости, а просто потому, что ни они, ни их предки никогда не попадали в необходимость бежать перед врагом. Все живущее имело назначение быть пожранным. Они были так хорошо вооружены своими зубами, что ни одно морское животное не отваживалось приступить к ним, не говоря уже о возможности схватки. Ощущение «опасности» оставалось им чуждым.

Они впустили зубы в черный живот, но кит сделал прыжок и так сильно ударил хвостом вокруг себя, что самую меньшую акулу — очень может быть, сына — он отбросил прочь, тогда как другие две, ослепленные белой пеной, суетливо плавали туда и сюда. Когда они опять очутились вместе, кит уже был далеко.

Неожиданно приблизился, шумя, громадный пароход. На его киле сидели бесчисленные ракушки, — вкусная, хотя и скудная пища. Теплая струя вытекала из сточного отверстия, и три подруги купались теперь в изобилии великолепных, никогда не виданных лакомств.

Длинный ряд часов плыли они неустанно за судном, и новая пища была так обольстительна, что рыбы безопасно проплывали мимо раскрытых пастей акул.

Всю ночь напролет плыли они за судном, и казалось, будто они научились мечтать в эту ночь. Все новые и новые невероятные лакомства танцевали перед ними, и наутро их ожидания были вознаграждены. Упал в море шестилетний мальчик, который, опершись грудью о перила, пытался выудить акул из воды.

Он упал в воду и в тот же момент был схвачен всеми тремя сразу и увлечен в глубину. Старая акула проглотила вместе с рукой мальчика кусок сломавшейся удочки, которую пальцы судорожно обхватили и не выпускали. Острая деревяшка причинила ей такие непереносимые боли в животе, что она выпрыгнула на воздух, неестественно широко раскрыла пасть и вела себя так, точно хотела проглотить весь мир. Вокруг нее плыли обе другие, все еще следуя за судном, которое могло бы явиться для них олицетворением чувства «Пища» в его конечном завершении, если бы они обладали философским мышлением.

Мать съеденного мальчика, которая уже наполовину лишилась рассудка, опять разрыдалась, увидя танцы, исполняемые за кормой корабля предполагаемым убийцей ее сына. Ее отвели в каюту. Несколько мужчин принесли ружья, предназначенные для американских медведей, и стали стрелять в чудовище. Действительно, одна пуля попала ему в бок, пронзила тело и оставила две кровавые раны. Содрогаясь, лежала старая акула с порванными мускулами. Она осталась позади, а обе остальные смотрели на нее удивленно, каждая с другой стороны.

И тогда случилось следующее: то, что они в течение своей жизни считали мирным и дружелюбным чувством «Ты», неожиданно превратилось в «Пищу». Они набросились на

вожака, куснули его каждая в одну из ран — предполагаемый сын в входное отверстие пули, супруга в выходное — и разорвали бьющееся животное на две части.

Взволнованно глядели пассажиры парохода на это зрелище, частью с любопытством охотника, частью с приятным чувством, что час суда над злом настал. Одна англичанка выразила даже такое предположение, что обе оставшиеся акулы из раскаяния умертвят себя.

Это, однако, не пришлось наблюдать, так как теперь акулы были на самом деле сыты. Они спокойно выпустили воздух и медленно и уже полусонно опустились в глубину моря, чтобы там, в виде двух длинных, гладких веретен, стоять неподвижно в продолжение долгих часов.

Ш. Жекио

АКУЛЫ

На скамье подсудимых военного суда — капитан артиллерии де Фонтель. Это белокурый, бледный, застенчивый человек с выхоленными руками, в хорошо сшитой форме. У него вид доброго сына почтенной семьи, воспитанного наставником из духовенства. Обвиняется в убийстве командира судна во время плавания.

Полковник, председатель суда, предложил подсудимому объяснить мотивы своего преступления.

Де Фонтель, опираясь руками на барьер, отделяющий его от судей, согнув спину, заговорил глухим голосом:

— Я служил, как вы знаете, г. полковник, во французских колониях, в Тананриве. Перед отъездом из Тулона я женился, а в Мадагаскаре у меня родился сын. Я был очень счастлив, но мальчик наш тяжело заболел к двухлетнему возрасту, и доктора посоветовали нам оставить колонию и вернуться во Францию.

С умирающим ребенком на руках я и жена выехали отсюда на пароходе «Сен-Дени» и вскоре оставили за собой остров. Мы стояли на мостике, нагнувшись над нашим сыном, голубоватые веки которого, казалось, не хотели открываться навстречу свету.

Когда наступили сумерки, я поднялся и, дойдя до самой кормы, облокотился на нее. Подо мною на расстоянии пятнадцати метров было море. Машинально я схватил в руки древко трехцветного флага. Этот разноцветный кусочек материи извещал встречные суда о том, что мы — французы. Небо имело цвет расплавленного серебра; оно отражалось в стеклах парохода.

Впереди рубки видно было, как жена моя склонилась над умирающим; от ужасной болезни он казался зеленым. Я крепко сжал древко флага и стал в душе молиться так:

— Милое, доброе, отзывчивое судно! Ты, которое так часто побеждало и умирало морскую стихию, плыви скорее с больным ребенком на родину, и он будет спасен.

На другой день я встал на заре и, нагнувшись над бортом, вдруг увидел, что океан, похожий только что на чашку с тяжелой ртутью, вдруг покрылся пеной от движения какого-то огромного стального веретена. Матрос бросил в

воду доску. Стальной цилиндр повернулся. Показались белый живот и челюсти. Они сжимались и раскрывались со смешной и отвратительной гримасой.

— Акула! — сказал один пассажир.

Доска исчезла в глотке рыбы.

— Вот еще одна! — заметил матрос.

— А там дальше, посмотрите-ка, сколько этих чудовищ! — крикнула одна дама, забавляясь этим зрелищем.

— Наш «Сен-Дени» эскортируется флотилией подводных лодок, — пошутил лейтенант парохода.

В самом деле, эти рыбы конической формы, с кожей, имеющей вид железа или стали, то появлялись на поверхности океана, то опускались на дно, вылавливая отбросы еды, которую выбрасывали с судна, и напоминали подводные лодки.

— У этих морских тигров нюх охотничьих собак, — начал снова лейтенант. — У нас в кладовой лежит издохший баран. Они это почувствовали. Вы увидите сейчас их.

Пассажиры сгрудились у борта.

Баран, с которого не сняли шерсти и рогов, был выброшен в море двумя матросами и тут же разорван двумя акулами пополам.

— Браво! Хорошо поделили! — закричал один пассажир.

— Они не отстают от судна. — заметил лейтенант. — Предчувствуют ли они, что их ждет более тонкое блюдо: человеческий завтрак или, вернее, завтрак *из человека*?..

Я спросил у него, правда ли утверждение, что акулы особым нюхом предчувствуют смерть человека на пароходе.

— Да право же, эти молодцы обладают чудесной памятью и помнят, что мы бросаем тела умерших в море!..

Когда я подошел к жене, то нашел возле нее доктора на коленях перед моим сыном. Он с нежным вниманием лечил нашего малютку во все время плаванья.

— Еще шесть месяцев тому назад это был сильный ребенок, тяжелый для своего возраста и с большим аппетитом, — говорила бедная мать, как будто извиняясь за хрупкость нашего маленького призрака.

...Всю эту ночь мы проплакали. Когда солнце взошло под перламутровым океаном, матрос, чистивший палубу, уронил щетку в воду. Ужасная гримаса на морде акулы была ответом на этот подарок.

Жена и я, раздавленные горем пред постелью умирающего сына, слушали его предсмертный, все слабеющий стон. Это было, как мяуканье маленького, голодного котенка.

Жена обняла меня и, задыхаясь от рыданий, сказала:

— *Не нужно, чтобы он умер на пароходе!!...*

Ни один из нас не смел себе признаться в чудовищном предположении, мысль о котором вас преследовала.

Сколько дней прошло в муках, которые невозможно передать никакими словами!

Наконец, наш больной спокойно уснул — и безумная надежда зародилась в сердцах наших.

Доктор подошел к нам, нагнулся и сказал:

— Не заметили ли вы, что бедное дитя...

Я и жена, обезумев от горя, защищая малютку от рук доктора вскричали:

— Он отдыхает, тише. Он спит. Пароход везет его во Францию. Там он поправится.

Вечером командир «Сен-Дени» велел позвать меня.

— По нашим правилам, — сказал он мне, — нужно хоронить мертвых на судне в двадцать четыре часа.

Я ответил:

— Что вы хотите этим сказать? Что значат ваши слова?

— До завтрашнего утра, — заметил он с неопределенным жестом.

В эту ночь, качая по очереди нашего маленького сына, мы шептались:

— Ты спишь, дитя! Спи. Когда покажется Марсель, мы разбудим тебя.

Заря востока засияла на небе. Вокруг парохода прыгали акулы.

Ужасная радость заставляла их в восторге подниматься над волнами.

Командир, его помощник, пассажиры, матросы с обнаженными головами окружили нас. Они уверяли нас, что док-

тор хочет осмотреть нашего ребенка.

Но он одним движением накинул на него простыню и завязал ее концы.

— Командир, — кричал я, — вы не сделаете этого преступления. Заклинаю вас...

Жена в безумии тормозила доктора.

Два матроса схватили нашего сына. С ним обращались, как с пакетом, его передавали с рук на руки. Его отняли у нас.

— Он спит. Мы клянемся!..

Акулы прыгали с такой силой, что все море вокруг кипело белой пеной.

Они почти вставали в воде, опрокидывались на спину, показывая свой живот.

— В последний раз обращаюсь к вам, командир. Подумайте. Еще четыре часа — и мы во Франции. Ваше правило диктует вам подлость, о которой вы пожалеете.

— Еще четыре часа, ради Бога! — молила жена.

— Кончайте! — приказал командир.

Его палец указывал на океан, где прыгали отвратительные акулы, и мой малютка, мой сын, брошенный в воду, был разорван на куски и проглочен ими!..

...Я видел все... Тогда я вынул револьвер — и командир упал...

[Без подписи]

СИРЕНА С МЕРТВЫМИ ГЛАЗАМИ

Мы с женой уже собирались покинуть остров Сен-Пьер и Микелон и возвратиться через Нью-Йорк во Францию, когда случай свел нас с капитаном Дорбеленом. Его шхуна «Жоржетта-Жанна» уходила на другой день, и он предложил нам доставить нас прямо в Сен-Мало.

Хотя такой путь более долг, чем на пароходе, жена моя тотчас соблазнилась этим предложением. Она недавно только оправилась от серьезной болезни; мне велено было ни в чем ей не перечить, и я тем охотнее уступил ее капризу, что он пришелся по душе и мне. И, на другой день, мы поплыли во Францию.

Перед самым отъездом нашим получено было печальное известие, памятное всем — о пожаре и гибели «Вольтурно»*.

Клара особенно взволновалась этим. По натуре суеверная и притом нервная после болезни, она увидела в этом дурное предзнаменование для нашего пути. Долго мы с капитаном убеждали, уговаривали ее и, наконец, она успокоилась. Все на шхуне наперерыв старались сделать ей путешествие приятным, в особенности капитан. У него был неистощимый запас анекдотов и рассказов, правдивых и вымышленных, подобранных во всех четырех концах света, и рассказывал он их изумительно. Тут были и собственные приключения, сильно драматизированные, и легенды, которые так любят моряки, в том числе и о морском змее.

— А вы-то сами, капитан, верите в этого морского змея?

— Ну, разумеется. Не в колоссального боа, конечно, о котором говорит легенда, но в чудовище, которое видели в разных местах люди, достойные веры, и в которое один французский лейтенант даже стрелял из пушки — безуспешно. Знаем же мы доисторических бронтозавров, ихтиозавров, птеродактилей — почему не допустить, что такое же чудо-

* Канадский лайнер «Вольтурно», направлявшийся из Роттердама в Нью-Йорк, загорелся и затонул в Северной Атлантике в октябре 1913 г. Оказавшиеся поблизости 11 судов спасли 521 человека, однако 136 человек, в основном женщины и дети, погибли ранее во время неудачной попытки спустить на воду спасательные шлюпки.

вище, без сомнения, уже доживающее свой век, еще сохранилось где-нибудь на дне океана?

— А сирены, капитан? В них вы тоже верите?

У капитана стало серьезное лицо.

— Сирены, сударыня?.. Как вам сказать... Да вот, я расскажу вам один фактик из личных воспоминаний — вообще я об этом не рассказываю, так как мне не верят и смеются надо мной.

Это было несколько лет тому назад, в китайских водах, на борту вот этой же самой «Жоржетты-Жанны», совершавшей тогда свой первый рейс. Опасаясь бури, я вглядывался в горизонт, и вдруг вижу, у кормы, саженьях в тридцати, выдвигается из воды этак до пояса фигура, очень смахивающая на человеческую, женскую.

Признаюсь, я подумал, что то мне мерещится... Протираю глаза, снимаю очки... Сирена исчезла. Говорите, что хотите, ваша воля — но, по-моему, это была сирена. Она скрылась слишком быстро для того, чтобы я мог хорошенько разглядеть ее, но мне не забыть ее длинных, черных волос, рассыпавшихся по спине, с которых струилась вода. Разумеется, никто мне не поверил, что я видел сирену, так как я один ее видел.

Я не мог удержаться от улыбки. Но жена моя поспешила заверить:

— Нет, милый капитан, я вам верю. Зачем отрицать то, чего мы не знаем? Мало ли какие тайны хранят на дне своем моря...

Потом Клара часто вспоминала, в разговоре со мной, — про эту сирену. Даже во сне бредила ею, так что я жалел о болтливости капитана. Чувствовала себя Клара неважно, температура нет-нет да и повысится, так что я ждал не дождался, когда мы, наконец, приедем домой.

Однажды мы засиделись поздно на корме. Ночь была чудная. Рулевой с коротенькой трубкой в зубах молча курил, глядя вверх, на звезды. Жена, закутавшись в плат, сидела, прижавшись к моему плечу. Она так долго молчала, что я и не заметил, как задремал. И был разбужен ее отчаянным криком.

Вскакиваю и вижу — жена, бледная, перегнулась через борт и на что-то указывает пальцем.

— Сирена!.. Сирена!.. О, какой ужас, ужас!

Я схватил ее за руки, думая, что это внезапный приступ безумия, и был, пожалуй, не меньше испуган, убедившись, что она сравнительно спокойна. Неужто же она и вправду что-нибудь увидела?

Я не мог поверить этому, и капитан убежден был, что у Клары начинается рецидива болезни.

— Какой ужас, — повторяла она. — У нее было такое страшное, перепуганное лицо и мертвые глаза, выкатившиеся из орбит... Никогда-никогда не забыть мне этого взгляда.

Я уложил жену и сидел над ней до рассвета. Утром она встала, как будто спокойная, но я все-таки тревожился за нее и всячески старался развлечь ее, сам волнуемый нелепым, как мне казалось, и жутким предчувствием, которого не мог отогнать.

После ужина Клара вышла на палубу и облокотилась на перила... Мне и хотелось увести ее поскорее в каюту, и не решался я этого сделать, боясь раздражить ее. И, в нерешимости, я нервно шагал по палубе.

И вдруг во тьме пронесся тот же страшный, раздирающий крик:

— Сирена... Ах?... Опять сирена!..

Я кинулся к ней. И успел только увидеть, как жена вскочила на борт, растрепанная, обезумевшая, с руками, протянутыми вперед, словно отталкивая призрак.

— Клара!.. Клара!..

Но отклика не было. Черная бездна уже поглотила ее... Вокруг был только мрак и безмолвие.

Дальше у меня все путается в голове. Помню, мы ехали в лодке, окликая Клару и зная, что кличем напрасно. Фонарь в руках матроса слабо освещал зеленоватую воду. Я рыдал, скорчившись на дне лодки...

И вдруг, при свете фонаря, я увидел на волнах труп, стоявший вертикально, выдвигаясь из воды почти до пояса... В две минуты мы были возле него.

Как передать вам ужас, охвативший нас, когда мы уви-

дели эту подпрыгивающую на волнах женскую фигуру, это распухшее, фиолетовое лицо, глядевшее на нас широко раскрытыми, стеклянными, невидящими глазами!..

По плечам утопленницы рассыпались длинные черные волосы, с которых струилась вода. На ней был надет спасательный пояс, поддерживавший ее.

Обезумевший от горя, я сначала не мог понять этого явления. но капитан уже догадался.

— Батюшки, ну да, конечно же, это жертвы гибели «Вольтурно». Нам уже попадались такие фигуры. Не удивительно, что бедная женщина сошла с ума при виде этого лица.

Брендон Лоус

ГОЛОВА МЕДУЗЫ

Мы сидели впятером на террасе индийского кафе и беседовали о таинственных чудесах и волшебстве нашего нового отечества.

— Я не верю во все это, — проговорил мой друг Вестон, улыбаясь. — Здесь, в Индии, я видел уже много такого, что в первое мгновение кажется необъяснимым, но разгадка оказывалась настолько простой, что становилось стыдно своей недогадливости.

При последних словах с соседнего стола поднялся человек и подошел к нам.

— Простите, сэр, — обратился он к Вестону. — Я был невольным слушателем ваших слов. К тому же, меня чрезвычайно интересует затронутая тема.

Вестон любезно предложил ему стул. Незнакомец сел и заказал себе бутылку абсента.

— Вы говорите, что не верите в индийское волшебство? — спросил он, пристально глядя на моего друга.

— Не верю, — ответил Вестон, — это фокусы, несколько более ловкие, чем мы видим в различных варьете.

Незнакомец откинулся на спинку стула и с мрачной улыбкой уставился в землю.

— Я расскажу вам одну историю; может быть, она изменит несколько ваш взгляд. Она не длинна и, наверное, заинтересует вас. Это было 27-го августа 1890 г. «Сахара» шла из Персидского залива на Яву и уже счастливо проплыла большую часть своего пути. Мы прошли экватор и были миль в 300 от Цейлона, когда в одну ясную лунную ночь мой сосед по каюте сообщил, что вдали показался остов какого-то корабля. Мы тотчас же изменили курс и вскоре могли разглядеть, что это был четырехмачтовый корабль, называвшийся «Рок». Судно было погружено в глубокий мрак и ни один признак не указывал на присутствие на нем живого существа. Только высоко на мачте страшно и резко выделялся среди мрака силуэт мертвого матроса.

— Вероятно, последний из команды, в отчаянии лишивший себя жизни, — проговорил капитан. — Какая драма разыгралась там?

Никогда не забуду этого зрелища. Корабль скользил вперед по волнам, точно призрак. При наступлении дня мы вышли на борт, чтобы осмотреть судно. К нашему величайшему изумлению, мы нашли там все в безупречном порядке. Последняя запись в корабельную книгу была сделана семь дней назад; на столе одной из кают стояла нетронутая еда, а на стуле, у кровати, лежало мужское платье, точно хозяин его только что лег спать.

— Возмущение в открытом море, — пробормотал наш капитан, — а потом негодяи растерялись и не знали, что делать.

Капитан вызвал добровольцев, желавших отвести «Рок» обратно в Коломбо. Команда снарядилась быстро. Дэвис и я, единственные пассажиры «Сахары», решили вернуться в Коломбо на корабле-призраке. К вечеру все было готово и мы простились с «Сахарой».

На следующее утро один из команды нашел, под разным хламом, своеобразной формы тяжелый камень и принес его Степону — нашему капитану. Когда камень был вычищен и обмыт, он оказался великолепной скульптурой, сделанной из массы, похожей на алебастр, но твердой, как алмаз. Она изображала голову Медузы. Глаза бюста представляли замечательнейшую часть этого художественного произведения и были зелеными, как смарагд, за исключением зрачков, окрашенных в темный цвет. Вместо волос, на голове вились тысячи тщательно сделанных завитков. Красивые черты лица отличались какой-то сверхчеловеческой страшной красотой. Суеверные матросы смотрели на голову Медузы с нескрываемым ужасом и, в конце концов, капитан был вынужден спрятать ее в своей каюте...

Незнакомец замолчал, налил стакан абсента и залпом, как воду, выпил его.

— В это путешествие, — продолжал он через минуту, — я взял с собой свою любимую охотничью собаку. Однажды вечером, когда мы с Дэвисом отправились, по обыкновению, в каюту капитана, животное последовало за нами. Разговор зашел, конечно, о таинственной находке и капитан принес скульптуру, чтобы, вместе с нами, подробно осмот-

реть ее. Едва только моя собака увидела голову, как она в ужасе вскочила и забилась в угол. Я позвал ее, но она, казалось, ничего не видела и не слышала.

— Спрячьте голову, — крикнул я капитану. — Собака боится ее!

Пока Стептон исполнял мою просьбу, собака следила за каждым его движением, но не трогалась со своего места, дрожала и не спускала глаз с сундука, где находилась скульптура. Я подошел к ней, желая приласкать, но меня встретил грозный лай.

— Не троньте ее, — раздался сзади меня голос Дэвиса. — Она взбесилась. Взгляните на ее глаза!

К несчастью, сомнения быть не могло: изо рта собаки показалась пена, из ее глаз глядело безумие...

Незнакомец снова остановился и осушил несколько стаканов абсента. Он в волнении встал со стула, пот тяжелыми каплями катился по его лицу.

— Да, — продолжал он, — нам ничего не оставалось, как тотчас же убить собаку. Большую часть ближайшего дня капитан провел в том, что рассматривал голову Медузы через увеличительное стекло. Он был уверен, что, по счастливой случайности, он стал обладателем величайшей драгоценности. Чем ближе склонялся день к вечеру, тем односложнее становились его разговоры с нами и, наконец, он перестал отвечать даже на наши вопросы. Под утро в мою каюту зашел Дэвис, жалуюсь, что всю ночь не мог спать.

— Совсем не спал, — говорил он, — а лишь только забудусь, как вижу эту страшную голову Медузы.

Я пробовал развлечь его, но ведь и сам я только и мечтал, что об этих зеленых глазах.

— Пойдемте, сыграем в экарте, — сказал я, — тогда вы забудете Медузу.

Дэвис покачал головой.

— Никогда! Знаете ли, — прошептал он таинственно, — я тоже влюблен в нее. Я не нахожу себе места, пока не увижу ее. Уверен, что Стептон чувствует то же самое. Сейчас проходил мимо его каюты, там еще горел огонь.

Я недоверчиво покачал головой и последовал за Дэвисом. Перед ярко освещенной каютой Стептона мы остановились и постучали. Не получив ответа, мы взломали дверь. Стептон сидел за своим столом, обняв обеими руками голову Медузы. На наш оклик он испуганно вздрогнул, не отрывая глаз от скульптуры.

— Ради Бога, отнимите у него бюст! — воскликнул Дэвис.

Я машинально бросился вперед и стал отнимать у капитана скульптуру. Во время завязавшейся борьбы, голова Медузы упала на пол. Дэвис схватил ее и унес в свою каюту. На следующее утро капитан чувствовал себя настолько больным, что остался в постели.

Следующую за тем ночь я никогда не забуду. Без сна лежал я на кровати и, куда бы ни повернулся, всюду я видел зеленые глаза Медузы. Наконец, я встал и пошел в каюту Дэвиса. Там я увидел...

Руки незнакомца беспомощно повисли; он сидел неподвижно за столом с горевшими глазами и подергивавшимся ртом.

— Я увидел Дэвиса и Стептона, сидевших за столом, где стояла голова Медузы. С искаженными ужасом глазами смотрели они в грозные зеленые глаза... Нет, они были не зеленые, глаза были красны, как огонь! Долго ли я стоял в каюте, как прикованный к месту, — не знаю. Помню, что я очнулся от громких криков у двери, когда экипаж корабля ворвался в комнату. Удар кулака разбил вдребезги голову Медузы и в следующую минуту обломки полетели в море...

Несколько лет спустя, случай забросил меня в одну индийскую деревню. Там я слышал, что в 1889 г. из одного храма была украдена святыня — голова Медузы. Священник предал проклятию всех, в чьи бы руки ни попала поруганная святыня.

Незнакомец замолчал и жадно выпил стакан абсента.

— Видите! Вот они опять, эти глаза Медузы... Глаза сатаны... Весь пламень ада горит в них!..

Он вскочил, как бешеный, и мы впятером едва могли удержать этого человека.

— Оставьте его, он никому не причиняет вреда, — сказал прошедший к нам лакей. — Как только он выпьет абсент, он всегда видит зеленые глаза.

— А история, что он рассказал нам?

— Кто знает? Может быть, он действительно все это пережил...

Э. Пашен

КИТАЙСКАЯ КУКЛА

— Да, — сказал капитан О'Бриен, — говорят, что мы, ирландцы, — сумасшедшие люди. И в данном случае я окончательно потерял свой рассудок, когда, с трудом напялив на руки перчатки, отправился на улицу Бабочек, — улица Бабочек находится в китайском квартале Шанхая, — покупать эту проклятую куклу.

Я часто гулял по этой улице. Там можно встретить много таких же сумасшедших, как и я, и мало хороших приключений. И каждый раз, когда я бывал около этого отвратительного магазина, даже если я переходил на другую сторону, то не мог удержаться от того, чтобы не повернуть головы в сторону этой заставленной безделушками из дерева и старыми костюмами витрины, в которой восседала эта кукла, величественная, как королева. И каждый раз я застывал на месте посередине уличного шума и гама, не в силах отвести глаз от этого окна.

Мошенник-китаец, которому принадлежала лавка, отлично понимал все. Но он не делал ли малейшего пригластительного жеста, продолжая улыбаться, пощипывая свою редкую бороденку. Китайцы — это не восточные купцы. Они не хватают покупателя насильно. Они видят и угадывают все, предоставляя событиям разворачиваться своим ходом. Он сделал даже вид, что поверил, когда я вошел в лавку и попросил показать мне серьги. Он разложил передо мной на прилавке всякие сережки, браслеты и безделушки.

Я спросил его: «Сколько?» и указал на куклу. Он ничего не ответил, но, взяв ее из окна, поставил рядом со мной на пол, чтобы показать, насколько она была велика: немногим ниже меня, как настоящая славная маленькая женушка.

Затем он взял руку куклы и обвил ею мою шею — они поворачивались на шарнирах, и она позволяла этому мошеннику делать с ней все, что угодно. После этого он назвал мне такую неслыханную цену, что я вышел, хлопнув дверью. Где это видано, чтобы капитаны торговых судов, курсирующих между Шанхаем и Ливерпулем, могли выбрасывать на свои прихоти сотню долларов?

Но на следующий день я прибежал на улицу Бабочек с сотней долларов в кармане. Еще спокойнее, чем вчера, ста-

рый мошенник заявил мне, что теперь цена поднялась вдвое, потому что утром к нему приходил второй любитель.

На этот раз я действительно взбесился. Но китаец упорно стоял на своем. Наконец, не в силах выдержать больше, я бросил ему деньги, толкнул его, схватил свое сокровище и выбежал с ним на улицу. Там я подозвал рикшу и, посадив куклу рядом с собой, велел везти меня в гавань. Эта поездка по улицам Шанхая на вызвала никакого удивления со стороны прохожих: на Востоке никто не обращает внимания на пустяки.

Китаец выбежал на улицу вслед за мной и, грозя кулаком, принялся выкрикивать какие-то слова на ломаном английском языке. Из его слов я понял, что эта кукла принесет мне несчастье и тому подобное. Вместо ответа я только подтолкнул рикшу ногой в спину — немой язык жестов вполне заменял мне незнание китайского языка.

Когда мой помощник увидел меня с куклой в руках, поднимающегося на борт, он загородил мне дорогу, широко раскинув руки.

— Пардинг, — сказал я ему, — тысяча чертей и один дьявол, на какой калоше вы плавали, если забыли, что такое дисциплина? Пропустите меня, эта малютка довольно тяжелая.

Пардинг неприятно засмеялся.

— Если вам продали эту штуку за новую куклу, капитан, — сказал он, — то вы здорово сели в лужу. Она известна по всему Тихому океану тем, что погубила уже достаточно моряков. Двадцать лет я на море, и в течение этого периода мне пришлось уже три раза плавать на корабле с этой деревянной дамой. Не спорю, наше судно отслужило свой век, и мы гружены только хлопком, но...

Он поднял руки к небу.

— В конце концов — умереть можно только один раз.

Я принес куклу в мою каюту и посадил на диван. Старик Робертсон, заглянувший ко мне через несколько минут,

до того удивился, увидев ее, что поскользнулся в луже масла — в них не было недостатка на корабле — и сломал себе ногу. Пришлось спешно отправлять его в госпиталь на берег.

Вернувшись обратно на борт, я был поражен второй неприятной новостью: Пардинг списался на берег. Он давно говорил мне, что собирается уйти, но до сих пор только говорил, но никогда не приводил угрозу в исполнение.

Теперь же он, ничего не сказав, внезапно ушел.

Новый помощник, которого я нанял на следующий день, был молод. Несмотря на это, он казался вполне надежным. По всей видимости, он дезертировал с какого-нибудь военного судна. Он, по-видимому, принадлежал к тем, у которых мать всегда оказывается маркизой или, по меньшей мере, аристократкой, а они только по несчастному совпадению обстоятельств вынуждены заниматься грязной работой.

В тот же день мы подняли якорь и вышли из Шанхая.

Обычно думают, что на море все дни одинаковы: неправда. У каждого из них есть свои недостатки, и самое главное, — скука. Люди надоедают: думать можно не все — есть такие мысли, которые лучше прятать в самом сокровенном уголке мозга. Поэтому-то на кораблях и бывает столько работы: то красят, то чистят, то скребут. Но хуже всего приходится капитану: для него физическая работа исключается.

Если капитан скучает, то ему остается только одно: пить. Тоска по родине сильнее всего по воскресеньям. Каждый моряк вспоминает в этот день о Боге, хотя бы в обычное время на берегу он гораздо чаще заходил в таверну, чем в церковь. Так как следующий день выхода в море было воскресенье, я прочел команде несколько псалмов, и они пели их, но потом выпили и начали петь уже другие песни.

Обычно я уходил на весь остальной день в свою каюту, где смотрел на портреты давно умерших людей. Я почти не

помню их больше, но они единственное, что связывает меня с родиной.

Однако, после того, как у меня появилась китайская кукла, я перестал интересоваться ими. Я мог разговаривать теперь только с моей изящной пассажиркой. Я считал ее как бы своей невестой и подарил ей решительно все, что у меня было собрано красивого во время моих скитаний по белу свету. В ее красивые черные волосы я воткнул булавки из эмали с бутонами, птицами и бабочками. Я подарил ей сандаловые ожерелья, зеркальце в оправе из слоновой кости, филигранные браслеты. И, кроме того, я подарил ей еще одну реликвию, тоже из Китая, но которую я не покупал...

Этот последний подарок был воспоминанием о боксерском восстании, о походах и кровавых карательных экспедициях. Это платье я снял с одной девушки. А девушка...

Нужно понять меня: я был молод, и лучшие мои товарищи падали вокруг меня, сраженные таинственными пулями. Нам сказали: «Идите смело вперед, деревня брошена». И мы безропотно пошли, но из покинутых фанз нас встретили залпом, и эта девушка, стоявшая за углом дома, держала в руке ружье.

Эта девушка, лицо которой я забыл, но о которой вспоминаю слишком часто, была одета в удивительно красивое платье из тяжелого шелка, вышитое золотом. Я до сих пор храню это платье у себя. На груди у него небольшая, обожженная по краям дырка.

Но лучше не вспоминать о таких вещах...

Моя малютка чувствовала, как я ее балую, и у нее был вполне довольный вид. Когда же я пил — а это происходило часто — то слушал ее немые рассказы.

Ее глаза были устремлены куда-то далеко и казалось, что они смотрели сквозь стены, рассказывали мне много удивительных и странных историй гораздо понятнее, чем если бы я слышал их из ее уст.

— Капитан...

Я никогда не забуду лица моего помощника — его звали Рафль, — когда, открыв дверь каюты, он увидел мою подругу. Он даже рот раскрыл от удивления.

— Ба, мой мальчик, — сказал я, — если она тебе мешает, поставь ее в шкаф.

Он поднял ее на плечо, но ее рука качнулась вперед и так обвила его горло, что я должен был помочь ему освободиться. Казалось, что она чувствует к нему отвращение. Нехорошо, если кукла так походит на живого человека, особенно на море.

Я вынул из шкафа все мои костюмы, но, несмотря на это, куклу можно было устроить только стоймя. Однако, сознание этого близкого соседства мешало мне оставаться в моей каюте. Я стал спать на палубе, хотя этого совсем не рекомендуется делать в этих широтах, где по утрам падает роса, вызывающая воспаление легких.

Наконец, я не выдержал.

— Рафль, — сказал я, — мне не нравится, что в моем шкафу стоит эта дама. Мне некуда вешать мои костюмы и в каюте полный беспорядок. А кроме того, я кажусь себе какой-то Синей Бородой.

Он скептически посмотрел на меня.

— Кроме того, — продолжал я, — когда корабль слегка качает, она колотить ручкой в дверцу шкафа.

Рафль посмотрел на наполовину осушенную бутылку виски на столе и сочувственно покачал головой.

— Итак, Рафль, будьте добры освободить местечко в своем шкафу, куда вы поместите эту пассажирку.

Он колебался.

— Выньте ее отсюда сами, капитан, — сказал он.

— Ладно, — заметил я, — ладно...

В тени шкафа она как будто улыбалась.

— Пойди сюда, дорогая, — сказал я.

Но в следующее мгновение я испугался. Сильным движением поддавшись вперед, она с размаху бросилась мне на шею. Она была довольно тяжелой. Я покачнулся, но вместе с кораблем снова обрел равновесие.

Я принудил себя рассмеяться. Однако, Рафль был серьезен и принялся внимательно разглядывать куклу.

— Она покрылась потом, — сказал он.

— Рафль, не говорите глупостей. Дерево не может потеть.

— Я видел подобные вещи в Испания, — заметил он. — Статуя Христа, обтянутая человеческой кожей...

Я провел ногтем по ее лбу: он оставил легкий вдавленный след.

— Рафль, — прошептал я.

Он расстегнул вышитое платье, приподнял ожерелье: около ее уха виднелся тонкий, чуть заметный надрез кожи, терявшийся в волосах. Как я раньше не обратил внимание на эти веки, на эту слишком естественную кожу!

— Хорошая работа, — заметил Рафль, вытирая выступивший теперь у него на лбу пот. — Похоже, что вы везете с собой мертвую, капитан...

Мы быстро обменялись взглядом.

— Нет, — сказал Рафль, — если бросить ее в море, она будет плавать. Ведь внутри она из дерева. Лучше всего было бы бросить ее в топку.

— В топку? — взревел я, — вот как? Разве вы не слышали, что я вам приказал? Возьмите ее на плечи и положите в свой шкаф.

— Нет, капитан, — твердо сказал Рафль.

Я подскочил к нему, но он быстро открыл дверь каюты. Собравшаяся команда насторожила глаза и уши. Я разогнал их, дав несколько, противоречивых приказаний, и с досадой вышел на палубу, где нервно начал курить свою трубку.

В Сингапуре мы простояли два дня. Я немедленно же съехал на берег, предоставив смотреть за погрузкой судна своему помощнику. В маленьком грязном отеле я встретил старого приятеля. Понятно, мы с ним здорово выпили, и он рассказал мне интересные новости о старых товарищах. Поздно ночью мне вздумалось пригласить его к себе, и мы нашли китайца, который отвез нас на лодке. Подняться по

трапу было довольно трудно, но мы подталкивали друг друга и, наконец, очутились в моей каюте. Он сразу же заинтересовался куклой, усадил ее к себе на колени и стал что-то нашептывать на ухо.

— Она напоминает мне одну малютку, которая украла у меня бумажник в Гонконге, — сказал он. — Такая же подлая маленькая кошечка.

Да, в лице куклы было, действительно, что-то хищное и подлое. Казалось, что порок наложил на нее неизгладимую печать. Но меня обидело такое отношение. Я выкинул его на палубу, и он едва не скатился в воду.

На заре я проснулся, — я всегда просыпаюсь рано, даже если я всю ночь пил. Кругом шелестело море, как рвущийся шелк. Взглянув на барометр, я убедился, что он упал чрезвычайно низко.

На мостике я наткнулся на Рафля, который не разбудил меня во время. Мы крепко поспорили с ним. Я откровенно высказал ему свое мнение и вел себя, как настоящий осел. Но ругань не помогала: туман не рассеивался. Все кругом было покрыто разбавленным молоком, и мы с трудом различали сирены пароходов, грозивших нас потопить то с одного борта, то с другого.

К полудню туман немного рассеялся. Показалось солнце, похожее на разбитое яйцо. Я отправился в каюту немного вздремнуть. С тех пор, как я в море, я привык к разным его видам, и мне очень не нравились маленькие водовороты на волнах, окаймленные клочками пены.

— Пусть меня повесят, — сказал я Рафлю, — если эту ночь мы сможем спокойно спать.

В каюте было невыносимо жарко и душно. Виски не утоляло жажды. Я проснулся от неприятного, хорошо знакомого чувства: море танцевало, как будто собираясь на бал. Запертый в трюме баран жалобно блеял. Барометр продолжал падать.

Я вышел на мостик. Спустилась ночь. На небе показались были звезды, но сейчас же закрылись несущимися ту-

чами. Море продолжало волноваться, грузно поднимаясь и опускаясь в самую свою глубину. Странные зарницы тускло освещали поднимающиеся валы.

Рафль пришел ко мне на мостик, и мы первыми увидели его — громадный вал, который шел на нас. Судно напрягло все свои силы, чтобы удержаться, на секунду, казалось, повисло в воздухе. Палубу окатило скользкой пеной.

А потом начался бал. С неба низвергались столбы воды, и при свете молний мы видели, как море во что бы то ни стало пожелало слиться с тучами. Когда мы попали в это могучее объятие, то вообще перестали различать что-либо. Машины останавливались вместе с нашим дыханием, когда корабль, взлетев на верхушку вала, стремительно падал вниз. Волны давно уже хозяйничали на палубе, как у себя дома. Я с трудом мог открыть глаза, но чувствовал рядом с собой руку Рафля, державшегося за поручни.

Вдруг Рафль сорвался с места и бросился вниз, крикнув мне на ходу:

— Я сейчас, капитан...

— Рафль, — крикнул я в ответ, угадав его намерение, — ради Бога...

Но он уже рванул дверь моей каюты. Она сорвалась с петель и его, вместе с дверью в руках, отбросило волной за борт прежде, чем я успел крикнуть. Я подбежал к самому борту, но внизу за ним не было уже ничего, кроме крутящейся пены.

Тогда я вспомнил его намерение, и я решил, что надо обязательно его осуществить, если только я не хочу погубить и судно, и людей. Я, кое-как надев на себя спасательный круг, спустился в свою каюту.

Палуба стояла почти вертикально, и каюта была наполовину полна водой. Поверх нее плавала, как и предсказывал Рафль, китайская кукла. Я схватил ее за волосы и вышел на палубу, намереваясь выбросить ее в море.

И вот в эту минуту произошло нечто кошмарное. Палуба поднялась стоймя, корабль стал вдруг громадным, как собор, выросший над пучиной моря, и я стал глотать воду, как будто собирался выпить весь Тихий океан.

Я был подобран германским пароходом. Очень славные и честные парни, эти немцы, но ничего не пьют, кроме пива. Может быть, поэтому я так долго и болел.

— От вашего судна ничего не осталось, — сказал мне капитан. — Несколько досок, несколько пустых бочек и ни одного человека команды. Только вот эта штука, которую, быть может, вы хотите сохранить для воспоминания.

Он подал мне голову и грудь моей китайской куклы, оторвавшиеся от туловища и все еще одетые в обрывки вышитого золотом платья, которое я снял с убитой девушки.

Море не хотело скрыть этой улики: на маленькой груди куклы, обтянутой высохшей кожей, виднелось такое же отверстие с обожженными краями, как на шелке платья.

Но капитан не задавал мне вопросов. А я не спрашиваю вас, какого вы об этом мнения...

Шарль Дэ

КРОВАВЫЙ РУБИН

Мы сидели молча, мой друг Андре Жемми и я, на террасе, крытой полотняным навесом. Тропические сумерки промелькнули так быстро, что мы едва успели их заметить, и густая бархатная ночь надвинулась сразу со всех сторон, как будто она неслышно поджидала момента, когда раскаленное, сплющенное солнце скроется за фиолетовой линией моря.

Папироса, которой время от времени затягивался Жемми, горела в темноте, как рубин. Мой друг заворочался на соломенном шезлонге, заскрипевшем под его грузным телом, и сказал:

— Еще одна пасхальная ночь на этом проклятом Цейлоне...

Я ничего не ответил. И без его слов, меня угнетало сознание, что мне приходится уже пятый раз проводить эту ночь под чужим небом, под ненашими звездами. Я никогда не был религиозным, но привычки детства и далекие воспоминания оставили в моей душе неизгладимый след; пасхальная ночь неизменно связывалась в моем воображении с образами навеки ушедших дней молодости, с торжественным ночным богослужением в суровой нормандской церкви, с голубым дымом паникадил и с тонким, веселым перезвоном деревенских колоколов на заре весеннего дня...

Андре Жемми, которого, по-видимому, занимали те же мысли, что и меня, вдруг опросил:

— Знаешь ли ты, что здесь, на Цейлоне, я пережил в одну пасхальную ночь самое ужасное приключение моей жизни?

Я знал, что мой друг, обычно молчаливый и сдержанный, иногда, без всякого внешнего повода, может рассказать вещи, которые таит в себе годами, и что в эти минуты внезапной откровенности к нему не следует <приставать> с расспросами. Поэтому я ограничился неопределенным мычанием...

Жемми, закулив новую папиросу и усевшись удобнее в своем кресле, начал свой страшный, фантастический рассказ.

В ту пору я находился далеко отсюда. Поднявшись вверх по течению Балава-Ганга, я исследовал восточный массив горной цепи Нейра-Элиа: как тебе известно, там разбросано много развалин старинных городов и буддийских храмов. Затем я возвратился в Канди, прежнюю столицу Цейлона, привел в порядок собранные материалы и собирался выехать в Европу.

В один прекрасный день ко мне явился незнакомец, назвавший себя Луиджи Мантини. Я до сих пор не знаю, было ли это его настоящим именем. Без обиняков, он обратился ко мне со следующей речью:

— Господин Жемми, вы, несомненно — человек, лучше всех знающий Цейлон и его тайны. Кроме того, вы сейчас бедны. Не хотите ли вы войти со мной в компанию, чтобы сообща отыскать огромное богатство и обследовать развалины храма, вам еще неизвестного?

— Позвольте...

— Дайте мне договорить. Знакома ли вам Анурадапура?

— Конечно, знакома. Это — священный город, от которого ныне остались одни развалины. В отдаленную эпоху в нем хранился священный зуб Будды; если я не ошибаюсь, там еще можно видеть фиговую пальму, в тени которой сживал сам Брами. В 1848 году, во время цейлонского восстания против англичан, развалины Анурадапуры служили убежищем для повстанцев...

— Все это правильно, но вы не знаете одного: места, где находится подземный храм и статуя бога о 24 руках. Между тем, я обладаю пергаментом, на котором начерчен план храма, таящего несметные сокровища. Я отыскал также факира, которому некогда я спас жизнь и который берется проводить меня к развалинам.

— В таком случае не понимаю, зачем я вам нужен?

— Скажу вам откровенно: вы — единственный человек, могущий расшифровать некоторые непонятные для меня места манускрипта. Кроме того, вы отлично знаете устройство буддийских храмов и можете быть мне чрезвычайно полезным.

Видя на моем лице колебание, незнакомец поспешно добавил:

— Чтобы дать вам представление о размерах богатств, заключенных в храме, скажу вам только, что гигантская статуя бога сделана из массивного золота, инкрустированного жемчугом и бриллиантами. Посреди лба Будды вделан рубин невиданной величины и блеска. Я предлагаю вам половину сокровищ, а себе беру другую половину и рубин. Вот подземелья, вот опись сокровищ... Подумайте и дайте мне завтра ответ.

* * *

На следующий день я подписал с Луиджи Мантини формальный договор, а восемь дней спустя мы выехали в глубь Цейлона.

Нас было трое: Луиджи, факир и я. Не могу сказать, чтобы мой компаньон мне очень нравился: во мне сразу возникло к нему какое-то инстинктивное недоверие. Факир — бронзовый человек невероятной худобы — разговаривал весьма мало и был занят все время распознаванием дороги. Я ему несколько раз оказал в пути мелкие услуги, и он под конец стал поглядывать на меня более дружелюбно.

На 29-й день ходьбы факир остановился на вершине холма и показал рукой на расстилавшиеся внизу развалины города:

— Это и есть Анурадапура, но храм расположен гораздо дальше, вот там...

И он протянул свою костлявую руку в направлении леса, темная масса которого закрывала горизонт направо от города.

Несмотря на то, что до леса было, как нам казалось, рукой подать — томительное путешествие продлилось еще 11 дней. Мы пробивались сквозь девственную чащу тропических деревьев, подвигаясь с чрезвычайной медлительностью. Наконец, к вечеру одиннадцатого дня, изнеможденные и

оборванные, с расцарапанным телом, обросшие, как звери — мы вышли на поляну, центр которой занимал каменный пьедестал, изъеденный временем. На нем возвышалась статуя слоненка, обросшая мхом.

— Это здесь, — сказал факир лаконически.

* * *

Ввиду позднего времени, мы расположились на полянке, решив продолжить экспедицию на следующее утро. Луиджи, всю ночь просидевший перед костром, сказал мне внезапно:

— Мы здесь живем, как в другом мире. Знаете ли вы, что там, на нашей родине, сегодня — пасхальная ночь?

Мое сердце сжалось от воспоминаний. В этот миг наше пребывание посреди тропического леса, чувства жадности и наживы, руководившие нами, и все наше предприятие показались мне ненужными и отвратительными. Луиджи заметил впечатление, произведенное на меня его словами, и больно хлопнул меня по плечу:

— Перестаньте хандрить! Теперь не время сентиментальничать! Вы будете думать о пасхе, когда вернетесь в цивилизованные страны...

Остаток ночи прошел в молчании. Едва только забрезжил рассвет, как Луиджи, дав нам знак следовать за собой, отправился к статуе слоненка.

Он нажал на левый клык животного, и каменная плита пьедестала медленно повернулась на своей оси, открыв темный вход в подземелье. Во мраке блестели мраморные ступени уходящей вниз лестницы.

Луиджи обернулся ко мне лицом: его глаза сверкали от радости и жадности. Потом он приказал факиру:

— Иди первым!

Не успел индус ступить на лестницу, как Луиджи молниеносным ударом воткнул ему кинжал между лопатками. Старик рухнул, как сноп. Я испустил крик ужаса. Убийца

сказал хладнокровно:

— Что хорошо для двоих, то плохо для троих. Вам, конечно, нечего опасаться. Идите за мной...

И он медленно исчез во мраке подземного хода.

Я бросился к несчастному факиру, приподнял его и растер ему виски алкоголем из походной фляги. Он открыл глаза:

— Это ты... Я так и знал, ибо ты добр. Да охранит тебя Шива! Перестань заботиться обо мне, все бесполезно: мои времена сосчитаны.

Он дышал с трудом и сделал последнее усилие, чтобы снять со шнурка, висевшего на его шее, тяжелое золотое кольцо, на котором были начертаны непонятные мне знаки. Надев кольцо мне на палец, факир произнес:

— Не снимай его никогда. Оно...

Факир не закончил своей фразы. Сильная конвульсия потрясла его тело, он выпрямился, как жердь, и умер.

В эту минуту меня охватило неописуемое чувство злобы к моему компаньону. Сначала я хотел бросить его и возвратиться обратно. Однако, я сообразил, что один человек не может пробраться собственными силами сквозь тропический лес; кроме того, во мне горело любопытство исследователя, и я не мог отказаться от наслаждения взглянуть на подземный храм, о существовании которого никто не подозревал до сих пор. И, наконец — нужно сознаться, меня преследовала мысль о несметных сокровищах... Прикрыв труп факира зелеными ветвями, я стал спускаться по лестнице.

Я насчитал 99 ступенек, покуда достиг песчаной почвы. Там, в конце длинной галереи, я увидал Луиджи, который при свете факела рассматривал план.

Я вам расскажу подробнее в другой раз, что мне пришлось видеть в подземном храме; быть может, я даже соберусь написать об этом книгу. Мы проходили, одну за другой, огромные залы, пол которых состоял из мраморных плит. Вдоль стен стояли статуи животных, которые, казалось, глядели на нас своими аметистовыми глазами. Благодаря подробному плану, находившемуся в руках Луиджи, мы без труда находили все тайные пружины, открывавшие

двери подземных комнат, и без труда дошли до гладкой стены, посреди которой выступала огромная голова слона. Луиджи остановился на мгновение; я заметил, что он побледнел от волнения. Затем, собравшись с духом, он подошел к стене и изо всех сил ударил рукояткой кинжала между глаз слоновьей головы. Голова сдвинулась с места, и за ней открылось отверстие, достаточное, чтобы сквозь него мог пройти человек. Луиджи проскользнул сквозь него, как ящерица. Я последовал за ним.

Не успели очутиться по ту сторону стены, как раздался сухой треск. Я обернулся и увидел, к своему ужасу, что слоновья голова автоматически возвратилась на свое место. Мы были отрезаны от выхода...

Луиджи, не обращая никакого внимания на это трагическое обстоятельство, испустил крик радости и бросился вперед. Невольно я последовал за ним и застыл в удивлении и восторге, забыв в свою очередь о нашем положении.

Мы находились посреди огромной, круглой залы, в которой царил легкий полумрак. Вокруг нас высились статуи гигантских слонов с золотыми бивнями и глазами из драгоценных камней. Насколько мог хватить взор, видны были бесконечные ряды этих животных, поддерживавших своими спинами балюстраду из резного камня. В воздухе носился приятный, но странный запах, от которого у меня начала кружиться голова.

Однако, не эти бесценные художественные сокровища привлекали внимание Луиджи. Он дотронулся рукой до моего плеча и показал мне на центр залы. Я взглянул в этом направлении и не мог удержать крика изумления.

Вся середина храма была занята круглым водоемом, в котором вода отливала металлическим блеском, наподобие ртути. Посредине бассейна, на цоколе из массивного золота, возвышалась золотая же статуя Будды с 24 руками. Грудь божества была усыпана бриллиантами и жемчугом, равных которым, вероятно, нет во всем свете. Однако самым необычным зрелищем был огромный рубин, сверкавший кроваво-пурпурным блеском во лбу Будды.

Луиджи дрожал, как в лихорадке. С его уст срывались невнятные слова:

— Какие сокровища... Какие богатства... Мы богаты... Но этот рубин принадлежит мне! Я хочу его взять!

Я был также охвачен неописуемым волнением, к которому примешивался непреодолимый суеверный страх. Мне казалось, что аромат, носившийся в воздухе, усиливается, что беловатый свет, исходивший неизвестно откуда, принимает мрачный фиолетовый оттенок и что вокруг меня чувствуется чье-то незримое присутствие. Невольно я дотронулся до кольца, данного мне факиром, чтобы убедиться, что талисман не потерян...

Между тем, Луиджи успел добежать до бассейна. Не раздумывая, он бросился в воду, в мгновение ока добрался до цоколя, обхватил одной рукой статую и протянул дрожащую от жадности кисть к кровавому рубину...

В этот миг по залу разнесся густой металлический звук гонга. Я услышал мерный скрип, исходивший как бы от скрытого механизма, и, похолодев от ужаса, увидел, как одна из 24 рук Будды медленно сгибается в локте, прижимая святотатца к металлической груди бога...

Луиджи, почувствовав опасность, пытался освободиться от страшного объятия, но было поздно: между рукой и телом Будды не оставалось достаточно места, чтобы выбраться...

Когда мерное и неумолимое движение металлической руки остановилось, весь цоколь со статуей стал медленно опускаться в воду. Спуск этот прекратился в момент, когда Луиджи оказался наполовину окунутым в бассейн.

Я стоял, как окованный страхом. У меня не было и мысли броситься на помощь моему компаньону, приведшему в действие роковой механизм. Тяжелый аромат почти совсем лишил меня сознания. От красного рубина исходил кровавый блеск, который, казалось, ослеплял меня. В изумрудах, заменявших Будде глаза, ходили зеленые отсветы. Бриллиантовые глаза слонов тоже сверкали, как живые. Мне почудилось, что вдоль каменной балюстрады появились белые фигуры браминов, молча глядевших на разыгрываю-

щуюся драму. Потом в моих ушах зазвучало пение... Я явно начинал галлюцинировать.

Меня привел в себя нечеловеческий крик, донесшийся с бассейна. То, что я увидал, превосходило в своем ужасе всякое воображение...

На поверхности воды показались какие-то омерзительные животные, напоминавшие крабов, каракатиц и морских пауков. Со всех сторон к несчастному Луиджи потянулись щупальцы, лапы и клешни... Через минуту все его тело было покрыто отвратительными хищниками, раздиравшими его на куски. Из этой массы до меня доносился вопль, постепенно переходивший в стенание:

— На помощь! Жемми, стреляйте в меня, убейте меня!..

У меня не хватило силы пошевелить рукой. Я потерял сознание.

* * *

Когда я пришел в себя, я находился среди развалин Анурадапуры: кто меня пронес сквозь чащу леса, я не знаю и, вероятно, никогда знать не буду. Возле меня лежал мешок средней величины, наполненный драгоценными камнями. Но талисмана на моем пальце не оказалось...

С той поры я богат. Но каждый год, когда наступает пасхальная ночь — годовщина того ужасного события — я не могу отогнать от себя страшного, незабываемого видения: кишущей, шуршащей груды тварей, из-под которой несется все слабеющий человеческий крик. И мое богатство меня не радует...

Мой друг замолк. На нас глядело тропическое небо, в котором горел Южный Крест.

Клод Фаррер

ИДОЛ

Идол, о котором идет речь, — это индусская фигурка из слоновой кости, которую мне продал когда-то один сингалец за тридцать рупий, в Монте-Лавинии на Цейлоне, на террасе знаменитой гостиницы, где едят лучшее в мире карри. Вещица эта представляет собой толстую женщину, которая сидит на корточках и, жестикулируя, потрясает шестью головами, сжимая их за горло своими руками. Она имеет вид своего рода Танагры*, в азиатском вкусе — в достаточной мере устрашающей. Но я полагаю, что вы несколько не верите в рассказы о переселении душ и метемпсихозах.

В таком случае, бросьте думать о моем идоле: в плоскости *рациональной* он не имеет никакого отношения к приключению, которое я собираюсь рассказать.

Приключение это произошло тринадцать лет тому назад, точнее говоря — в понедельник 2 марта 1903 года, в Салониках, в Македонии, в одном тупике верхнего еврейского квартала. Ни за что в жизни не предал бы я его гласности при жизни Шурах-Сунга, который был его героем наряду со мной. Но Шурах-Сунг умер до войны в своей Сахараджонпурской столице, — умер бездетным.

Стало быть, не все ли равно, хранить ли молчание или нарушить его?

Шурах-Сунг, как это знает всякий, был перед своей кончиной рао Сахараджонпура под суверенитетом короля Индии. Но в 1903 году он был еще только наследным принцем и в моем обществе совершал путешествие по Европе. Мы сблизились шестью годами раньше, на Цейлоне... А ведь вправду, это случилось в тот самый день, в Монте-Лавинии, когда я купил идола... За завтраком Шурах-Сунгу, имевшему изящный вид в костюме путешествующего принца и узорчатом тюрбане, не удавалось сговориться с туземными метродотелями, растерявшимися и озадаченными.

* Речь идет о древнегреческих терракотовых статуэтках изящной работы; центром их производства был городок Танагра.

— Рао Сахиб, — сказал я на наречии урду, — не нужен ли вам переводчик?

Он расхохотался и ответил мне по-английски:

— Разумеется, нужен! Я ведь пенджабец: я не знаю жаргона этих южных дикарей. Но, клянусь Юпитером, вы, очевидно, говорите на всех языках?

Так мы познакомились. Часом позже я купил идола. И тут уж он, в свою очередь, услужил мне своими познаниями.

— Смотри-ка! — сказал он, взглянув на фигурку, — смотри-ка! Моя бабушка!

— Ваша...?

— Конечно, сударь. Это — Кали, шестирукая богиня. А мы, рао Сахараджонпура, происходим от Кали по прямой линии. Хотя, как видите, мы дегенераты.

Он хлопнул себя, смеясь, по плечам, с которых свисали две очень мускулистые руки, но, разумеется, только две.

Это был индусский принц, каких много: воспитанник Сэндхерта, английского офицера; лакированный с ног до головы на английский образец. Вполне индус, тем не менее, вполне; но в смысле внутреннем.

К делу! 2 марта 1903 года, в восемь часов вечера, Шурах-Сунг и я вышли из своей гостиницы на Параллельной улице в Салониках, чтобы пойти на обед к генералу, командовавшему международной жандармерией. Прибыли мы в Салоники двумя днями раньше, после того как за наш общий счет совершили экскурсию в округ Митровицы. Восстание комитаджей* было в разгаре. Это весьма прожженные бестии, судьбу которых оплакивала Европа, когда у нее еще были слезы в запасе. Во всяком случае, мои статьи, уже появившиеся в «London Herald», привели к тому, что во время этой экскурсии я получил дюжину угрожающих писем и в двух дюймах от меня просвистала ружейная пуля, пущенная из-за одного забора: комитаджи не переваривали тех истин в сыром виде, которыми я угостил их в «Herald». После ружейного выстрела я предложил Шурах-Сунгу отде-

* Восстание против турецкого владычества на Балканах в 1900-х гг.

литься от столь опасного спутника, каким я был. Ну и отчитал же он меня за это:

— За кого вы меня принимаете, душа моя? Клянусь Юпитером! Я — джентльмен, смею полагать.

Бранился он всегда по-английски, разумеется... И надо сказать, он был действительно джентльменом безупречным, англичанином, как я уже говорил, до кончиков ногтей, но индусом в душе, индусом до мозга костей.

Итак, в этот вечер мы шли рядом сначала по Параллельной улице, вымощенной широкими плитами, затем по небольшим улочкам, ползущим на верхнюю часть города, вымощенным острыми булыжниками. Вокруг было чернее, чем в аду — под низко нависшим небом и при полном отсутствии фонарей. Я приблизительно знал дорогу. Но люди, бывавшие в Салониках и знающие, какой это лабиринт, легко поймут, каким образом, полчаса проблуждав на ощупь и вслепую, я заблудился.

— Шурах-Сунг, — сказал я, опешив, — я совсем перестал понимать, где мы находимся. Нам, пожалуй, лучше всего вскарабкаться на верхние террасы, откуда мы увидим город.

— Что ж, давайте карабкаться, клянусь Юпитером! Досадно, что мы опоздали на обед.

И вправду, нам было суждено опоздать. Когда мы пробирались наудачу по одной улочке, которая была темнее и извилистей норы крота, мне сзади был нанесен сильнейший удар по затылку, и я, не пикнув, растянулся во всю свою длину!

Пятью минутами позже я пришел в себя и сразу заметил, что все еще нахожусь на мостовой, на том же месте, но перевязан, как колбаса; и когда я открыл рот, чтобы крикнуть, огромный детина со зверским лицом болгарского типа поднес мне к горлу острое превосходно отточенного ножа. Я умолк.

Я лежал на правом боку, а мой палач сидел на корточках перед моим лицом. Таким образом, я не видел ничего, кроме свирепой морды и ножа. Да, по правде сказать, мне больше ничего не нужно было видеть; я ни секунды не сом-

невался, что попал в руки комитаджей, и нисколько не обольщался насчет своей участи; я ускользнул от них на македонских дорогах, но тут они меня держали цепко, и мне было не ускользнуть.

Прошло четверть часа. Послышались приближающиеся шаги, и свет фонаря отразился на лезвии, все еще упиравшемся в мою шею. Чьи-то руки схватили меня и прислонили к стене. Первое, что мне бросилось тогда в глаза, — это был Шурах-Сунг, связанный, как я, и, как я, прислоненный к стенке. Он присел на корточки и — так как его индусская природа освободилась внезапно от английской оболочки, что всегда случается в минуты сильного волнения, — сидел, раздвинув колени, скрестив под собой ноги, как умеют сидеть одни только азиаты, — точь-в-точь, как сидит мой идол...

Я не имел времени как следует об этом поразмыслить. Человек с фонарем осветил мое лицо. А другой — их было всего не то восемь, не то десять — взгляделся в меня. Этот последний был не так грязен, как его сподвижники, и, по-видимому, больше заботился о соблюдении инкогнито: отлично прилаженная черная маска оставляла открытыми только глаза.

В продолжение одной бесконечной минуты он рассматривал меня в молчании. Затем внезапно достал из кармана два номера «London Herald» и, развернув их, ткнул пальцем в мою подпись.

— Вы Гарольд Форс? — спросил он на дурном английском языке.

Я не ответил ни да, ни нет. Он заржал; этого ему было, по-видимому, достаточно. Другой негодяй подошел к нему и показал на Шурах-Сунга. Пожав плечами, он произнес несколько слов, которых я не понял, но сопровождавший их жест был ясен. К тому же, для полной достоверности наш приговор был нам объявлен по-английски. Человек в маске кое-как прочитал, запинаясь:

— Болгарский комитет в Салониках приговорил вас к смерти. Вы будете казнены.

Нож продолжал мне колоть кадык. Кричать было явно бесполезно. К тому же дома, окружавшие нас, черные сверху донизу и заставленные решетками, словно крепости, устранили всякую надежду на какую-либо помощь. Говорят, что неминуемость смерти обостряет нашу мозговую деятельность. Возможно. Я, во всяком случае, не сделал в этот миг такого наблюдения. Я ощущал скорее тупую и косную примиренность. Помню, что я почувствовал резкий холод в пояснице, затем пришла в голову мысль, что англичанину, которого убивают, как меня, надлежало бы дать убийцам урок мужества и умереть презрительно, с высоко поднятой головой. Наконец, пронеслись в мозгу какие-то толчкообразные, ничем не мотивированные и совершенно бессвязные воспоминания о вещах и людях: о моем отце, умершем в постели, о взморье в Брайтоне, о партии в покер, которую я выиграл третьего дня, и — не знаю почему — об идоле...

Еще одна последняя мысль озарила меня в ту минуту, когда две грубых руки бросили меня на колени. И мне, по видимому, припомнилось что-то давно прочитанное, потому что так бывает обычно в книгах: я повернул голову к Шурах-Сунгу.

— Рао Сахиб, — сказал я, — простите ли вы меня за то, что я был причиной вашей смерти?

Он мне ничего не ответил. Я взглянул на него: он не лишился сознания. Я видел его глаза — черные зрачки на белом фоне, странно поблескивавшие во мраке. И услышал, как он бормочет какую-то непонятную молитву на одном из тех священных наречий Северной Индии, которые понятны одним только тамошним жрецам и царям.

Вдруг его схватили палачи. Они собирались его убить первым. Он все еще сидел на корточках, выпрямив стан, похожий, до полного тождества похожий на моего идола. Два человека держали его за плечи. Третий подошел с ножом в руке. Человек в маске, остававшийся зрителем, приблизился, чтобы лучше видеть...

И тут произошла вещь таинственная и страшная.

Два человека, державшие Шурах-Сунга, внезапно его выпустили и каждый схватился руками за собственное гор-

ло, как если бы хотел оторвать от него незримые когти. В тот же миг они закричали, но голосом уже придушенным и хриплым, перешедшим вскоре в дикое бурчание. Человек в маске и человек с ножом отбивались от такого же нападения — уместно ли тут слово «нападение»? — и, дергаясь, хрипели. Казалось... да... Казалось, что Шурах-Сунг своими руками задушил четырех головорезов. Но я видел, однако, видел собственными глазами его руки, его *две* руки, привязанные к туловищу!..

Четыре подергивающихся гримасы лица застыли, затем почернели. Четыре судорогой схваченных тела рухнули на землю всей тяжестью. Я видел, как они упали — трупами. Остальные бандиты уже задолго до этого убежали, воя от страха.

И в сверхъестественной тишине, какая вслед за этим наступила, помню, я слышал, как стучат мои собственные зубы.

Нас развязал часом позже ночной сторож. Мы были целы и невредимы. Так как нашим приятелем был генерал, командовавший международной жандармерией, то никакого следствия не было произведено: мертвецы оказались четырьмя известными комитаджами, которых разыскивала полиция.

Шурах-Сунг никогда ни одной живой душе не рассказывал об этом приключении. И если я его рассказываю вам, то потому, что Шурах-Сунг ныне умер, умер бездетным, так что род Сахараджонпурских рао пресекся и, следовательно, не существует больше ни одного потомка Кали.

Клод Фаррер

ТРИ КАПЛИ МОЛОКА

Это мне едва не пришлось выпить эти три капли молока. Мне, д'Артигу, тому самому д'Артигу, который рассказывает вам этот анекдот сегодня вечером, здесь, сидя в комфортабельном кресле клуба, со стаканом виски с содой в руке. В тот день, господа, не могло быть и речи ни о клубе, ни о виски, ни о камине. То было 15-го марта прошлого года. Я только что отправился в это разбойничье гнездо, которое называется Ин-Саффра, которое так называли в тот же вечер мои спаги, мои стрелки. Но — мы вычеркнули его из числа живых городов. Там не осталось камня на камне.

Как сделали свое дело орудия, как стрелки бросились через пролом в штыки, как враг, вчетверо сильнее нас, был все же выбит из своего логова, выгнан из домов, расстрелян на улицах и, в конце концов, изрублен в долине бойниц — все это совсем неинтересно и, может быть, ужаснет вас... да... если бы я рассказал вам подробности этой бойни, вы сочли бы меня канныбалом. Битва в Сахаре — это не для Парижа.

Итак. Я ворвался в пролом, как я имел уже честь вам сказать. И тотчас выстрел с близкого расстояния уложил моего скакуна. Стрелки, бросившиеся вслед за мной, стащили меня с седла; я неловко упал, мой сапог был защемлен. Я оказался невредим, с саблей в одной руке, револьвером — в другой. За валом открывалась улочка шириной с пожарный рукав, извилистая, как змея. Стены арабских домов в синей известке казали свои окованные железом двери и бойницы в решетках. Нависающие террасы сходились. Казалось, была ночь. Мы едва сделали десять шагов, как орда бурнусов, выскочившая из какой-то двери, тотчас захлопнувшейся, принялась обрабатывать нас ятаганами. Двое из моих людей упали. Я воткнул свою саблю в чью-то грудь и трижды выстрелил в осужденного. Тела падали. Около меня один стрелок склонился к раненому, прикончил и, следуя местной моде, изувечил его. Я хотел пройти мимо, когда из-за одной решетки раздался выстрел.

Выстрелы сзади и выстрелы из дома — самые раздражающие. Инстинктивно я бросился к двери, и трое еще живых из моих стрелков последовали за мной. Дверь была крепка.

Но высадил бы, думаю, и стену: так я был взбешен. Железные оковы поддались, и первый и на этот раз я оказался в мавританском дворике, совсем пустом. Раздался второй выстрел. Пуля растрепала мою бороду. Негодяи — они нас обстреливали сверху! Но лестница была тут же, забаррикадированная только несколькими досками. Мои люди их разобрали, и вот мы взбираемся наверх, прыгая сразу через четыре обитые ступени. На этот раз я не был первым, меня опередил здоровенный детина, окровавленный от тюрбана до гетр. Наверху нас встретили душераздирающим криком. Неясная группа людей металась в комнате, откуда не было выхода. Мой окровавленный стрелок выстрелил первым, я выпустил три последние заряда, прежде чем сообразил, что убиваю женщин и детей... В доме не было мужчин; это женщины стреляли по нам, и женщины лежали теперь здесь мертвые... Гм!.. Что я говорил? Вот вы и называете меня каннибалом! О, бедные вы люди! Во время атаки никто не смотрит перед собой, честное слово. Через шесть секунд в доме никто не кричал. А на моих сапогах было столько крови, что на лестнице, когда я сходил вниз, мои подошвы скользили, словно ступени были только что намылены.

Тут во дворе и случилось происшествие. Я хотел выйти из дверей и снова пуститься в путь по городу, когда совершенно случайно я увидел вторую лестницу, уже первой и совсем темную. Машинально я ткнул саблей в пространство. Рычание ужаса ответило на мою атаку, и женщина, скатившись сверху, бросилась к моим ногам. Сабля только оцарапала ее. То была, если не ошибаюсь, кабийская рабыня — белей и не столь стройная, как арабские девушки. Но у меня не было времени изучать расовые черты субъекта. Мои стрелки уже подбежали со штыками наперевес. Тогда, обезумев от ужаса, женщина разодрала сверху свою одежду, обнажила очень полную грудь и, сдавив ее пальцами, заставила брызнуть молоко. Три капли этого молока попали мне в лицо. На моих сухих губах, на моих губах солдата, в битве я почувствовал, мне показалось, вкус этого материнского молока, молока, выплеснутого в меня, как несказан-

ная мольба, как последний крик этой несчастной матери, заклинавшей меня спасти не так ее, как ее маленького — ее кормленыша.

Что я сделал? Я сказал стрелкам :

— Кру... гом! Стадо болванов! Ступайте громить арабов! — И я сам повернулся кругом... Каким бы ни быть диким зверем, есть все же предел... Теперь я не поручусь, что потом какой-нибудь парень, несколько возбужденный...

И во всяком случае, когда в тот же вечер Ин-Саффра, обильно политый керосином, горел, как факел, весьма возможно, что молодая женщина с такой полной грудью сама сдалась, чтобы легче спастись.

Клод Фаррер

ДЕСЯТЬ СЕКУНД

Оливье де Серр, мичман и помощник заведующего движением порта Сафи в Марокко, вскочив от послеобеденного сна, натянул холщовые брюки, форменный пиджак и выбеленные мелом туфли, надел каску, взял револьвер и спустился на берег. Было три часа: жар солнца постепенно уменьшался, и туземные рабочие приступали к обычному труду — выгрузке баркасов. На рейде раскачивались три парусных судна, привязанных цепями. В обязанности Оливье де Серра входило наблюдение за таможенной, нагрузкой и разгрузкой баркасов порта Сафи. В то же время, он нес службу полицейского чиновника. Под его безразличным взглядом ловкие матросы проворно подтягивали суда к берегу. А он равнодушно глядел на знакомую картину, расстилавшуюся перед ним.

Два утеса, врезавшиеся в синий рейд, как две обнаженные челюсти, вырисовывались причудливыми узорами на ярком небе. За величавой зазубренной стеной город раскинулся арабскими террасами. У подножья бастионов и башен золотой ковер берега спускался к сверкающей, белой пене волн.

Благодаря цепи утесов, вдающихся в море, незащищенный с виду порт легко выдерживал напор валов, непрерывно бьющихся о мароккские берега. Баркасы чуть двигались вдоль набережной под крики выгрузчиков. Кучи оборванцев волновались вокруг мешков и сундуков, спущенных на берег. Серые куртки, темные бурнусы, голубые кафтаны и белые тюрбаны мелькали в этой куче.

Несмолкаемый крик, крик специфически мусульманский, острый, гортанный, раздражающий, поднимался из толпы вместе с густым облаком пыли и песка. И, стоя во весь рост на куче брезента и нагроможденных канатов, Оливье де Серр кашлял и тер глаза, задыхаясь от ослепляющего и удушающего облака.

Вдруг крик арабов удвоился и стал более ожесточенным. Серр, удивленный, спустился и, толкая плечами не сразу расступавшихся перед ним людей, пробился вперед и очутился посреди шумящих.

Вот что представилось его глазам.

Два длинных деревянных сундука, окованных железом, только что выгруженных на берег, показались подозрительными чиновникам мароккской таможни. Получатель этих сундуков, европеец, видный негодант, с выпуклыми бессмысленными глазами под золотым пенсне, протестовал и угрожал, помахивая документами, которые, как он уверял, были в полном порядке. Оливье де Серр услышал конец его пылкой речи:

— Я — «сид» Герман Шластер из Императорского Консульства Его Величества Германского Султана, Любимца Аллаха, Защитника истинной веры. Ты же неверная собака, сын собаки. И твоя проклятая рука иссохнет прежде, чем коснется моих товаров.

Он говорил на чистом арабском языке. Преисполненная почтения толпа волновалась. Испуганный таможенный чиновник не знал, как поступить.

Имея некоторую смелость и хитрость, нетрудно нарушить закон в стране Марокко. По-видимому, «сид» Герман Шластер знал это.

Но как раз сегодня сид Герман Шластер не предвидел появления начальника. В ту минуту, когда инцидент казался уже законченным в пользу европейца, Оливье де Серр, с папироской в углу рта, подошел вплотную к немцу.

— Милостивый государь, хотя вы и немецкий чиновник, — сказал он очень вежливо по-французски, — вы не должны протестовать против исполнения законов этой страны. Что касается меня, — я нахожусь здесь специально, чтобы следить за их неукоснительным исполнением. Я уполномочен моим государством с согласия Мароккского правительства. Извиняюсь, но я обязан защитить этого чиновника от вашего несправедливого гнева. Ваши сундуки будут вскрыты.

Апоплексически красный немец отступил.

— Милостивый государь, — начал он шепотом, — берегитесь, милостивый государь...

Он говорил тоже по-французски, почти без акцента, и его голос дрожал от плохо сдерживаемой злости. Серр бесстрастно повернулся к нему спиной:

— Откройте сундуки.

Туземный солдат в красной одежде подошел, чтобы исполнить приказание. В руках у него были ножницы и молоток. Он ударил в щель между двумя досками. Но при первом же ударе немец, более прыткий, чем этого можно было ожидать по его круглому животу, вскочил на сундук и протяжно крикнул:

— О, братья...

Он протянул руки к толпе. И Оливье де Серр, уже удалявшийся, круто остановился. Он тоже недурно говорил на арабском языке и прекрасно понимал его. И он превосходно знал, что в Африке всякий оратор с здоровыми легкими может найти себе большую аудиторию, заранее с ним согласную.

Поэтому он понял, что немец надсаживает грудь не напрасно.

— О, братья, смотрите, вот тирания, идущая к вам с севера, чтобы придавить вас. Вот ужасный трехцветный флаг, который развевается над Могребом, как сеть охотника над гнездом соколов. Потерпите ли вы, чтобы мусульмане согнули спины под палками гяуров?

Молоток солдата равномерно постукивал по уступающим доскам:

— О, братья! Посмотрите на этот сундук, который открывают благодаря дерзости христианина. Конечно, он полон не мукой, как сказано в бумаге. Но что же в нем? Оружие, братья мои. Оружие для вас, мусульмане. Ружья, хорошие ружья, которые мой господин султан Вильгельм посылает вам тайно, чтобы снабдить вас ими. И вот этот гяур, сын шакала и собаки...

Внезапно его патетически-завывающий голос оборвался. Оливье де Серр вскочил на полуоткрытый ящик рядом с сидом Германом Шластером. Холодно, без единого лишнего жеста или слова, он приставил револьвер к груди оратора:

— Замолчите, — сказал он совершенно спокойно.

Измученный Герман Шластер замолк на полсекунды. Но затем, набравшись воздуха, он крикнул с новой силой:

— Братья, братья... Смотрите... Слушайте...

Они стояли лицом к лицу — французский офицер и германский контрабандист. Один — бледный, тонкий, немой, один — против всех. Другой — огромный, багровый, кричащий заодно с толпой, которую он взбунтовал, с толпой, уже угрожающей и страшной. С каждой минутой она становилась плотнее и свирепее. Осторожный мароккский солдат улизнул с таможенным чиновником, предчувствуя драку и убийство, без зазрения совести покидая своего начальника.

Теперь немец, первое движение которого было ретироваться, осмелел, чувствуя за собой силу, и кричал во весь голос. А француз — один против толпы — колебался, или только казалось, что он колеблется, не выпуская револьвера из рук.

Наконец, заговорил и француз. Он заговорил своим спокойным, холодным голосом. И сид Герман Шластер не смог не прервать потока своей речи, чтобы услышать короткую угрозу этого бледного, тонкого человека. Он был один, но он не отступал.

— ...Я вам даю десять секунд, чтобы вы замолчали. Если вы не замолчите, когда истечет десятая секунда, я вас убью...

Так сказал Оливье де Серр с револьвером в руке. И он начал считать, не торопясь, но не колеблясь...

— Раз, два, три, четыре...

Кровь отхлынула от красных, как сырое мясо, щек тевтонца. И сид Герман Шластер стал бледен, как полотно. Но, опомнясь, он снова закричал:

— Братья, братья. На помощь... Именем Аллаха...

Холодный и сухой голос продолжал:

— Пять, шесть, семь...

Арабские «братья» колебались.

Тогда Герман Шластер в отчаянии повернулся к французу:

— Милостивый государь, не забываетесь. Я канцлер императорского консульства. Я — дипломат, германский дипломат.

Убийственно бесстрастно, не обращая внимания, человек считал:

— Восемь...

Немец испуганно озирался. Толпа, готовая броситься, не бросится, конечно, о, конечно, раньше, как через две секунды. Между тем, в ушах Германа Шластера предпоследняя секунда звучала, как похоронный звон.

— Девять...

Тогда немец тревожно заглянул в стальные серые глаза француза. Десятая секунда ползла медленно, как целый век. И немец беспокойно замигал в предчувствии неминуемой смерти, перед взглядом непреклонных глаз.

Тысячи мыслей пробегали в их глубине. Тысячи и десятки тысяч... Но эти мысли могли прочесть только другие такие же глаза; другие глаза той же расы, которые никогда не мигают и не опускаются и умеют тем же взглядом смотреть в лицо смерти и жизни.

Оливье де Серр, с револьвером в руке, готовый убить, был сам как умирающий. Потому что для смелого человека все равно, когда близка смерть, кого она выберет, его самого или врага. Оливье де Серр, готовый убить, готовый быть убитым, не все ли равно? — понимал, в эту десятую секунду, все роковые последствия неизбежного выстрела.

Видения ужасного кошмара...

Поля, покрытые солдатами... поля, покрытые трупами... Кровь, ручьи крови... реки крови... Выигранные, проигранные сражения... Свежая рана в груди отечества, рана, из которой уходит жизнь, миллионы жизней...

Война неизбежна. Война, чтобы отомстить за смерть дипломата-чиновника, убитого хладнокровно должностным лицом, даже справедливо убитого.

Война неизбежна...

Но надо убить. Надо убить, рискуя убить Францию тем выстрелом, который уничтожит ее врага...

Надо убить, потому что честь дороже жизни.

Оливье де Серр убьет.

— Десять.

Палец касается курка.

Но уже, не дожидаясь выстрела, Герман Шластер падает на колени и кричит:

— Пощады.

Мгновенно успокоенная толпа громко хохочет. Она презирает побежденного и рукоплещет победившему.

Дрожащий «сид» Герман Шластер все еще на коленях.

Мичман Оливье де Серр мгновение смотрит на него. Затем, опустив револьвер в карман, не произнеся ни слова, он поворачивается и уходит, заложив руки в карманы.

Клод Фаррер

САМОУБИЙЦА

Часы на Сен-Рош пробили восемь. Два часа подряд Жеф Герцог, не отрываясь, читал Платона. Теперь участь его была решена: он покончит с собой. Ничего более разумного ему не оставалось: без денег, без возможности их заработать, без вкуса к жизни Жеф считал необходимым и строго логичным раскланяться с жизнью и уйти от нее в смерть.

Он поглядел на лачугу, служившую ему до сих пор жилищем, нашел ее еще более уродливой, чем когда-либо. «Умереть здесь?... Ни за что». Жеф Герцог накинул пальто, надел шляпу, удрал. Улица Сент-Оноре визжала. Жеф Герцог повернулся к ней спиной и помчался к Сене. В Тюльери мужчины и женщины подстерегали друг друга. Какой-то нищий протянул ему свою деревянную чашку. Жеф Герцог остановился перед этим нищим и довольно высокомерно поглядел на него.

— Вы не предпочли бы околоть? — спросил он.

— Не трудитесь беседовать со мной, черт бы вас драл, — нежным голосом ответил нищий.

Жеф Герцог продолжал свой путь. У Королевского моста он облокотился на перила. Протекающая Сена явно была слишком холодна.

Человек, решивший умереть, подумал: «Покончить с собой? Хорошо, это решено, но способ?..»

Он вполне естественно предпочитал абсолютно не страдать и, кроме того, прежде всего не делать из этого спектакля. Решение этой двойной проблемы давалось не без некоторой трудности; но вдруг Жеф Герцог хлопнул себя по лбу.

«И подумать только, что я не вспомнил об этом... Если когда-нибудь медицина годилась на что-нибудь...»

Немедленно решившись, он добрался до улицы Бак. Здесь жил его друг, совершенно исключительный невропатолог.

Час спустя друг-невропатолог, опершись локтями на стол, внимательно перечитывал письмо, законченное и подписанное Жефом Герцогом:

«Дорогой старина, прости меня: я кончаю жизнь самоубийством у тебя, рискуя доставить тебе массу всевозможных неприятностей. Но ты знаешь меня: я всегда питал слабость

к декоруму. Так как мое жилище не достаточно элегантно, я пользуюсь твоим. Не сердись на меня. Итак, вскоре меня найдут здесь мертвым. Мне пришлось взломать твой шкаф с ядами; я сожалею об этом, но что же мне было делать? Огнестрельное оружие, река, веревка и уголь мне отвратительны. Само собой разумеется, ты так же не повинен в моей смерти, как самый молодой из новорожденных агнцев. Это письмо послужит доказательством этого, если бы таковое потребовалось. Итак, не сердись на меня и забудь обо мне как можно скорей. Такова моя последняя воля. На этом прощай.

Подписываюсь:

Жеф Герцог, самоубийца.

Р. S. Наконец, так как ты доктор. завещаю тебе мой труп. Режь его по своему усмотрению».

— Ну? — спросил кандидат в самоубийцы.

— Ну что ж, — ответил невропатолог, — ладно... С этой штукой на руках я лично рискую немногим. И если ты решил... что называется, решил... решил бесповоротно...

— Вот именно.

— Ну что ж!... В таком случае, я не вижу причин отказать тебе в этой маленькой услуге...

Он встал. Открыл скрытый в стене шкаф. Выстроенные в ряд, на полке стояли всевозможные пузырьки. После сравнительно долгого колебания он остановился на одном из них.

— Вот, — сказал он.

Жеф Герцог взял пузырек и недоверчиво поглядел на него.

— Вот это? — спросил он.

— Да, — подтвердил невропатолог. — Вот это. Гром и молния в бутылке. Хорошее лакомство, не так ли?

— Действует быстро?

— Десятую долю секунды.

— Безболезненно?

— Гарантирую.

Жеф Герцог приподнял стеклянную пробку.

— Послушай, — сказал невропатолог, — будь осторожен! У тебя еще есть время для размышления... Если ты поднесешь горлышко к носу и чересчур глубоко вдохнешь...

— Вот так?

Жеф Герцог решительно поднес к ноздрям открытый пузырек. Невропатолог попытался сделать жест протеста и довольно вяло сказал:

— Берегись, старина!

Жеф Герцог отстранил от себя пузырек, чтобы успеть отчетливо произнести:

— Прощай!

И снова он вдохнул в себя смертельный запах...

Момент смерти — действительно любопытный момент. По-прежнему кабинет друга-невропатолога был очерчен точными и ясными линиями. На столе, прямо перед ним, в каких-нибудь двух шагах от него, ваза из-под цветов вздымала дрожащие розы; за ними персонажи на вышитом ковре тускнели поблекшими красками. Неожиданно все это пошатнулось. Воздух между букетом роз и глазами умирающего, казалось, сгустился, уплотнился в зеркальную массу, непроницаемую, непреодолимую. Одновременно потолок открылся в голубое, головокружительное пространство, и в черную бездонную дыру провалился пол. Между ними не очень высоко порхал Жеф Герцог. Его личность все еще оставалась его личностью, абсолютно живой, более живой, чем когда-либо... несмотря на то, что уже все его чувства и его плоть погибли... Затем...

Затем Жеф Герцог умер. По крайней мере, он думал, что умер. Из его сознания ускользнуло последнее ощущение, — то, которое неведомо никому, то, о котором еще никто не сумел рассказать, раз испытал его.

Он думал, что он мертв. Но он не был мертв.

Он не был мертв, так как два часа спустя, придя в себя, вновь очутился в том же кабинете того же друга-невропатолога, перед теми же розами.

— Что это? — спросил он, заикаясь.

Невропатолог опрометью бросился к нему.

— Не волнуйся, — вскричал он, — ты не умер, но ты умрешь. Будь спокоен. Миллион извинений, старина: я не думал, что ты придешь в себя; как раз в этот момент я собирался тебя прикончить. Пойми, я не убил тебя сразу, я только усыпил тебя. Я хотел произвести очень любопытный опыт вивисекции, опыт громадного научного значения... Так как ты бесповоротно решил исчезнуть, я воспользовался этим и произвел его на тебе... Но ты не волнуйся... Я повторяю тебе, что это лишь отсрочка, и ровно через пять минут...

Он снова открыл стенной шкаф и взял оттуда еще один пузырек — не прежний, а другой. И тогда, машинально опустив глаза, Жеф Герцог увидел, что обе его ноги ампутированы — одна до колена, другая до половины бедра.

Он чуть не задохнулся от бешенства.

— Проклятье! — прорычал он.

Невропатолог поспешил возразить:

— Я уже говорю тебе, что здесь дела меньше чем на пять минут или даже, чем на пять секунд. — И он сунул ему под нос второй пузырек, пузырек с синильной кислотой — с настоящей смертью на этот раз.

— Но я не желаю! — запротестовал Жеф Герцог, отбиваясь с дикой энергией человека, упорно отстаивающего свою жизнь.

Невропатолог чуть не уронил свою синильную кислоту.

— Как? — спросил он. — Ты не хочешь околевать?.. Ты не хочешь теперь?..

— Нет, конечно! — Подвергнутый вивисекции больше не хотел умирать. И он весь кипел от ярости.

— Подлец, — вопил он. — Гнусный мерзавец! Живодер! Ты сделал... ты осмелился...

Тот, удрученный, извинялся:

— Ну, конечно, раз ты хотел исчезнуть... раз ты уже был, так сказать, мертв. Я не понимаю, какой вред это могло тебе причинить... Я сожалею только о том, что ты пришел в себя... Ты не хочешь, чтобы я тебя прикончил?...

Но Жеф Герцог уже не слушал. Он смотрел на свои отрезанные ноги и по-прежнему рычал:

— Бандит! Каналья! Убийца! Каннибал!

...Жеф Герцог никогда больше не изъявлял желания, чтобы его прикончили. Он живет и по сию пору. И я рассказал вам его историю в таком виде, в каком он сам рассказал ее мне однажды, когда я подал ему милостыню: теперь он тоже — нищий в саду Тюльери.

Клод Фаррер

ДАР АСТАРТЫ

— Если ветер... зимой здесь жестокий... он срывается в бухту с Раза, с тех вон обрывов, так внезапно — и так за века много захлестнул здесь и опустил на дно кораблей — как раз тогда, когда уже перелетели с них душой на близкий берег... Так вот. Если этот ветер не вымел из-под моего черепа пыль минувших времен, пожалуй, этой осенью минет семь лет с тех пор, как я в первый раз поднимался по Римской лестнице, ведущей к Пропилеям афинского Акрополя... В то время я был моряком, морским офицером, да, офицером. Вас удивляет это? Что делать, это так. Почему сейчас я не офицер? Почему я стал тем, что я есть... таким, каким вы меня видите? Собирателем водорослей и обломков погибших кораблей. Опустошителем этой бухты усопших. Однако, сударыня... Не слишком ли вы любопытны? Все это мое... не ваше дело.

Бухта?.. Да, по-видимому, она все также хороша. Почему — «по-видимому»? Потому, что увидеть ее сейчас я попробовал вашими глазами. Совсем еще молодыми... Эту бухту, наверное, по-прежнему любят все, кто еще жив душой, все, кто — любит! И вот... В те ночи, когда светит молодая луна, здесь так много лодок с молодыми, с влюбленными... Но и тем, на дне бухты, что лежат под саваном липких водорослей, становится скучно лежать неподвижно, и они начинают шевелиться... поднимаются, vyplывают на поверхность и окидывают взглядом лодки, укачиваемые волной, лодки с живыми людьми, которые через миг станут мертвыми... Как только опрокинутся — лодки!.. Что ж, в других местах случаются вещи и похуже. Да... Уже семь лет исполнится осенью. Я тогда служил на «Коршуне» — яхте французского посла при Османской Порте. Я был счастлив в то время. Или воображал себя счастливым — в конце концов, это одно и то же — ибо я был молод!

...Это теперь «Коршун» на дне неизвестной гавани, как в могиле. И женщина, которую я любил... И которая любила... да, да, сударыня, и она любила меня... умерла тоже. Если хотите взглянуть на ее могилу, поезжайте в Боканьяно, на Корсику. Там есть кладбище... Сейчас же у входа — черный камень под кипарисом... Высечено на нем... Нет, не мо-

гу выговорить — слишком нежное для меня имя. Для меня?.. Но почему его не оставить — живым? Да, да, вы правы: вам это надо знать, вы живы и молоды. Хотя, может быть, тем хуже это для вас... Но вы все-таки хотите знать? Что ж, слушайте. Садитесь вот здесь: я при этом хочу видеть ваше лицо... глаза... Да, так. Солнце тогда светило так...

Да, случилось это осенью, днем. Было еще жарко, хотя ветер изо всех сил дул на Афины. В воздухе носились тучи меловой пыли, и от нее стелился по городу туман. На Римской лестнице нам пришлось бороться с ветром, чтобы сохранить равновесие. Я шел первым. Клод шла позади меня, держась обеими руками за мою талию. Несколькими ступеньками ниже подымался Артус, он смеялся и, подшучивая над нами, говорил, что мы непристойно ведем себя: из-за ветра наша одежда тесно облегала наши тела... Артус был моим другом и другом Клод. Нашим общим другом. Другом — и только. Артус был благородным человеком, а Клод меня любила.

Наверху Римской лестницы нас встретили Пропилеи, похожие на прекрасных, позлащенных солнцем весталок, собравшихся у порога священного алтаря.

Акрополь... Вы знаете его музей? Восточней всех храмов — маленький музей, где мирно покоятся останки лучших произведений древности, вырытых случайно из земли того же Акрополя, когда производили раскопки под плитами Парфенона. Вы это знаете? Хорошо. Но под этими плитами была сделана таинственная, чрезвычайно таинственная находка: двадцать две статуи, большие, почти невредимые, все статуи женщин, все из терракоты, все раскрашенные, все одухотворенные красками жизни... Двадцать две женщины воскресли из мертвых, с улыбкой на устах вышли из своих могил, засыпанных землей и песком. Но эти женщины не были ни богинями, ни королевами: они не были покрыты тканями, как Гера или Афина, они не были обнажены, как Афродита: они были одеты, они были в элегантных костюмах, сделанных по последней моде эпохи... Да, ни малейшего сомнения — они были причесаны, завиты, нарумянены, под глазами синева, губы красные,

ни диадем, ни корон, ни скипетров... Это были простые смертные, женщины и только, такие же, как та, что слушает меня... Светские дамы... красивые, очень красивые... посмотрите как-нибудь — они стоят этого... да очень красивые... манящие, увлекающие, умеющие любить и того, кто любит, и того, кого любят, прекрасные любовницы, нежные возлюбленные... словом, парижанки, парижанки первобытных Афин. И эти прелестные дамы, в возрасте около двух тысяч лет, казались живыми: их чувственный ротик смеялся прямо в лицо смущенным археологам... Что делали эти разодетые афинянки под священной землей Акрополя? По какому праву они находились там?

Предполагали, что эти двадцать две статуи просто-напросто — портреты двадцати двух женщин, которые пришли с мольбой к Богине и в благодарность за милость, оказанную им, — по обету, как говорится у нас, принесли ей в дар свои изображения. В самом деле, все двадцать две статуи протягивали вперед правую руку, как будто предлагали свой дар навсегда. Предполагали, что некогда в этих протянутых руках лежали ожерелья, браслеты, кольца и золото и тысячи разных сокровищ, которыми покупали благосклонность Астарты... Да, той самой... Богини любви у древних финикийян, дочери рожденного их же молитвами астрального божества Аштарта. Да, да, его... «Порога жизни»! Что-бы она — родилась... упростили они Аштарта вступить в брачный союз с Венерой. Но... Бог смерти в любви мог помочь людям лишь тем, чем они в любви были сами... Хотя потом эллины и призывали Астарту покровительствовать материнству — хотели так, по-земному, преодолеть в любви Аштартов порог... Но эти статуи, эти двадцать две дамы, видимо, пришли просить Астарту о другой любви. Не для материнства... Помните, как они одеты? Ну прямо — «дамы полусвета», прелестницы, гейши...

Ого... Вас удивляет, что я, морской крот, знаю все эти вещи?.. Да, знаю. Слишком любопытны, сударыня... Тем хуже для вас...

Но когда Клод, Артус и я сам проникли в музей Акрополя, двадцать две статуи, кружком расставленные в зале,

лукаво посмотрели на нас своими бойкими глазами... И от взгляда их... как странно... всем нам стало страшно.

Артус первый преодолел свой страх. И, приблизившись к самой большой из статуй, возвышавшейся над ним со своего пьедестала, он мигнул ей глазом, прямо посмотрев ей в лицо, странное, насмешливое, сладострастное... Но через секунду Артус отшатнулся от нее:

— Она дышит!..

Клод задрожала. Я обнял ее. Мы подошли. Правда, статуя дышала. Я видел отчетливо, что ее изящные груди колышут ткань... Не ткань, конечно, а терракоту... Да, я видел это, как вижу теперь зеленых утопленников, vyplывающих в новолуние на поверхность воды из бухты Усопших. Но помню, что в те времена мне мало было видеть: я не верил своим глазам. Я искал объяснения.

— Игра света... Солнечные лучи падают на нее из окна... это ясно.

Но Артус прервал меня:

— Нет, дорогой... Она жива. Это значительно яснее всех твоих объяснений. Богиня в благодарность за приношения, которые давала ей рука, вдохнула в нее бессмертие. И, смотрите, вот доказательство: приношения нет уже в правой руке, богиня его взяла!

Он приблизился на шаг к статуе...

— Как бы то ни было, — сказал он, — ты, услышанная некогда Астартой, помолись теперь за меня, за меня, ныне взывающего к тебе самой... Вот мой дар, удостой меня, прими его в твою протянутую руку и поднеси богине. Пусть она дарует мне, что некогда даровала тебе: любовь всех существ, которых коснется мое желание.

И, сняв с руки турецкое *tesbi* — мусульманские четки — в тридцать три крупных зерна — сняв это тесби, сделанное из перламутра и купленное им неделей раньше в Чарчи Стамбула, — он опустил его нежно в руки статуи. Тесби из перламутра упало в ее нежную ладонь и заиграло своими переливами в ее тонких накрашенных пальцах.

Тому прошло семь лет, а я все еще помню, с каким непониманием пожал я тогда плечами...

Солнце стало клониться к закату, мы спускались с лестницы вниз. И, не знаю почему — нами овладело молчание, всеми тремя. Точно печать легла на наши уста.

Снизу мы видели Огненного Колченосца и его смертоносные стрелы, видели, как он надел свою красную маску, как зашел за вершины холмов и как погрузился в море.

Гребни аттических гор четким пепельным силуэтом выступали на фоне кровавого неба. И вдруг ночь одним прыжком перескочила через сумерки из Азии в Европу и повисла над Грецией.

Ночь не была, конечно, черной: стало сине, светло-сине кругом; наступила греческая ночь, ночь озаренная...

Смотрите, смотрите: вот вода у подножья Раза — она зеленая, она черная. А там вода цвета неба, а небо цвета молока... Я это видел, я... Собственными глазами, а теперь...

Мы уже пообедали, но молчали, как немые... Статуя, несомненно, обрекла нас на молчание... Я вспомнил, что сегодня полнолуние и что в первый же день нашего прибытия в Афины мы решили в лунную ночь осмотреть Акрополь. Для этого необходимо особое разрешение, выдаваемое не знаю кем. Но в гостиницах имеется всегда целый запас подобных разрешений, предназначенных для туристов. Я поднялся из-за стола, чтобы купить такое разрешение в конторе гостиницы. Клод и Артус остались.

Когда я вернулся, они все еще сидели. Мне показалось, что их стулья не находились на прежних местах. Но не придал особого значения.

Мы вышли вместе.

Луна стояла уже высоко, яркая... яркая... старый мрамор, более белый, чем под лучами солнца, отражал переливы лунного сияния. Театр Диониса приковал нас к месту... Античные ложи, расположенные полукружием перед опустевшим оркестром, казалось, поджидали слушателей «Орестей» или «Прометей»... Быть может, сейчас начнется представление далеких призраков... Быть может, тени актеров времен Эсхила, на один вечер поднявшись из глубин Гадеса, перескажут сейчас зрителям, что теплые лучи солнца нежат лаской и что мертвый Ахилл не стоит живого погонщика волов.

Мы зашли на минуту. Клод села в одну из лож. Артус сел рядом. Я стоял. Над нами высилась гигантская масса Акрополя. Подняв голову, я заметил колоннаду Парфенона, венчающую крутой утес.

И в этот момент я подумал, как легко, перегнувшись оттуда, проследить всех, кто был здесь, кто вступил в театр Диониса, подглядеть малейший жест сквозь ночной покров, более блестящий, чем дни нашей Бретани.

Посмотрите, посмотрите, как чернеет вода в подножии Раза...

Да, я подумал, что это будет легко... Подумал без всякой задней мысли... Откуда могла взяться задняя мысль?

Но, когда я захотел выйти из театра Диониса, спуститься по Римской лестнице и подняться к храмам, Клод сказала, что она устала, и Артус сказал тоже, что он устал... Они остались сидеть на прохладных мраморных скамьях, хотели отдохнуть, поджидая моего возвращения. Я продолжал путь один.

Внизу сторож открыл мне решетку и, с трудом шагая, пошел за мной. Это был жалкий нищий, с седой бородой, со сгорбленной спиной. Из жалости я бросил драхму в его шапку. Он решил, что я хотел остаться один, чтобы по обычаю украсть какой-нибудь обломок капители или карниза. Он почтительно поклонился мне, стараясь беззубым ртом изобразить улыбку благословляющего сообщника, и спустился.

Меня встретил Пропилей, похожий на весталок, залитых лунным сиянием и собравшихся на пороге темного алтаря... Но ночью они казались печальными. И белоснежный мрамор их плакал незримыми слезами...

Я пошел вперед... Бескрылая Победа... Эрехтейон, более древний, чем Гомер... Парфенон, божество...

А потом музей... маленький музей... восточней всех храмов. Я вошел в музей... зашел в его залу... Честное слово, я не думал ни о чем, ни о чем... я все забыл...

Но статуи сейчас же поглядели на меня. И я увидел их глаза, светившиеся, как фосфор. Самая большая статуя насмешливо захохотала. Я услышал этот хохот, видел, как вол-

нуется ее шея. А когда луч лунного света вошел за мной и заиграл на ее изящных грудях, я заметил, как мерно колыхался от дыхания ее корсаж. Была ночь, и на этот раз я не пожимал плечами. Правая рука статуи все еще держала в своих изящных, накрашенных пальцах тесби Артуса... перламутровые зерна переливались странным светом...

Я не двигался. Страх медленно разливался по всему моему телу. Мне казалось, что зерна тесби время от времени позвякивали, ударяясь друг о друга... позвякивали так, как будто статуя, довольная подарком, благосклонная к дарителю, подбрасывала их и снова сжимала, наслаждаясь лаской прохладного перламутра.

Тогда холодная дрожь пробежала по моему телу. В один миг, в ничтожную долю секунды, жуткая уверенность проникла в мой мозг — уверенность, что Астарта услышала и вняла мольбе Аргуса: уверенность, что Артус в эту минуту, когда позвякивают перламутровые зерна его дара, получает все, что просил, получает вопреки, быть может, своей воле, — он, мой верный друг, от моей Клод — от той, кого коснулось его желание несколько часов назад, когда дул ветер, а он поднимался за нами по Римской лестнице и — видел ее, Клод, облепленной одеждой так, будто она была обнажена... Обнажена — для него!

А... Смотрите, смотрите: вот зажигаются маяки на берегу, на вершине утеса... Смотрите. Смотрите! У подножия Раза поднимается туман, туман, который сейчас же погасит огонь маяков... Ага. Сегодня ночью будут гибнуть корабли: туман сгущается, ночь темнеет. Какая черная ночь!

А над Акрополем ночь была светлая, светлая...

У колоннады, на краю утеса... я перегибался все больше и больше... Подо мной, в темной бездне ночной равнины, театр Диониса сиял, как белый полудиск луны... И я увидел...

Я увидел Клод и Артуса, они были друг подле друга... Я видел, как переплелись их руки и соединились их уста. Страшный магнит притягивал мои глаза, мои плечи, все мое тело... и тянул вниз, за перила, с утеса, в ночную бездну, в мрачную пропасть... тянул с непреодолимой силой.

Вас удивляет, конечно, что я не упал?.. Меня также. Но, видите, я перед вами.

...Почему все потом так случилось?.. Быть может, потому, что, когда я скользил уже вниз... Я услышал... я услышал за спиной... насмешливый хохот... Да, хохот, сударыня... Хохот статуи! Тогда я повернулся и побежал в музей... Я понял... наконец.

Тот же луч луны ласкал изящные груди, и так же колыхалась ткань от бессмертного дыхания... В протянутой руке по-прежнему звенели перламутровые четки. Но я ударил своей палкой эту руку. Я вырвал у нее злополучный дар. А из своего кармана я вытащил другое тесби... из слоновой кости, вот это... Мое тесби, купленное мной, мной самим, в Чарчи Стамбула — купленное для Клод, и бросил его в пустую ладонь, не говоря ни слова. Ибо, клянусь вам, я хотел, да, я хотел молить Астарту, но не мог; сдавило горло, ни звука не вылетало...

Все... Уходите.

Что еще? Вы спрашиваете, что было дальше? Вы хотите знать? Это все.

Внизу Римской лестницы я увидел Клод. Она была одна, шла мне навстречу... бледная, испуганная, потому что Артус... Конечно, Артус простудился в театре Диониса, схватил лихорадку и лежал там без сознания. Пришлось послать в гостиницу за людьми и носилками...

А когда много времени спустя он пришел в себя, он и часа не захотел оставаться в Афинах, уехал. Может быть, он жив и сейчас. Кто знает...

Перламутровое тесби?.. Что случилось с ним? О, тесби это спит мертвым сном... вот тут... в этой черной воде у подножия Раза... под цепким саваном морских трав... И зеленые утопленники в лунные ночи позвякивают его зернами... Я слышу, как они звенят... Да, слышу... Ведь я собиратель водорослей и обломков. Я — опустошитель «бухты Усопших»...

Ганс Бетге

РУКА ДИАНЫ

Семейство Сербельони принадлежало к старейшим и благороднейшим фамилиям Ломбардии. Среди их многочисленных поместий особенной красотой выделялась окруженная широким, гористым парком вилла на озере Комо, в окрестностях Белладжио.

Вилла Сербельони и по сию пору служит любимым местом для экскурсий многочисленных туристов. С холмов ее садов открывается чудесный вид на одну из прелестнейших местностей Италии, возможно, и всего света. Причудливо изгибающиеся рукава фиалкового озера, могучие цепи Альп, пестрые, отливающие солнечными, веселыми красками многочисленные селения на берегу, — надолго очаровывают путешественника.

В садах этой виллы отзвучал однажды последний аккорд единственной в своем роде любви.

Молодой Антонио Сербельони был мечтательным, легко увлекающимся полетом своей фантазии человеком. Больше всего в мире любил он изящные искусства. В дни пребывания в Милане он предпочитал вращаться в кругах писателей, самоотверженно и с тонким пониманием погружаясь в бессмертный мир классической поэзии. Сокровенной мечтой его честолюбия было желание стать самому когда-нибудь поэтом и ощутить на своем лбу прикосновение лавровых листьев славы. Его часто видели блуждающим по парку старинной виллы или сидящим с книгой в руках на одной из тех каменных скамеек, с которых открывался сказочный вид на озеро и окрестные горы.

В одном из отдаленнейших уголков парка посреди блестящей, словно лакированной зелени засаженной камелиями лужайки возвышалась большая мраморная статуя Дианы. Ея творец остался, к сожалению, неизвестным, но все посетителя парка сознавали, что перед ними один из лучших образчиков старинной скульптуры. В легких, развевающихся одеждах, приоткрывавших изумительную линию плеч, задумчиво стояла мраморная девушка. Колчан за ее спиной указывал, что это богиня Диана.

Будучи еще мальчиком, Антонио часто просиживал вечерами у ее подножья, а с наступлением возмужалости, он ув-

лекался ею все больше и больше, пока, однажды, все его существо не охватила чисто языческая, безграничная любовь к строгим законченным линиям мраморной красоты. Он всей душой полюбил Диану, словно она была живым человеческим существом. Ночью она проносилась в его сновидениях, а днем его охватывало безграничное чувство счастья при одном взгляде на целомудренно белевшую среди темных камелий статую. Часами просиживал он на скамейке против статуи, глядел на нее и обращался к Диане с нежнейшими словами любви, остававшимися, к его глубокому огорчению, — неотвеченными.

Он любил класть цветы на цоколь мраморного изображения, словно жертвенную дань своей преданности... А в серебристые, лунные ночи, которые в этой местности полны сказочных волшебных чар, он, будучи уверен, что никто за ним не наблюдает, взбирался легкими шагами на цоколь и касался руками холодного, бесчувственного камня, сам весь горя и вздрагивая от нараставшего трепета радости.

Его друг Фредерико, молодой, талантливый живописец, часто гостивший на вилле у озера Комо, с возраставшим изумлением наблюдал за поведением своего друга и неоднократно предостерегал его:

— Берегись, — говорил он, — опасно дарить свое сердце мраморной статуе: она тебе его не вернет!.. Разве мало в Милане красивых девушек?? Отчего бы тебе не увлечься одной из них...

— Оттого, что ни одна из них мне не нравится! — возражал Антонио со счастливой улыбкой. — Я счастлив, и мне ничего иного не надо!.. Найдется ли среди них хотя бы одна, обладающая осанкой моей богини? Ни у одной из них не встретишь этого божественно-гармоничного ритма линий. Моя Диана совершенна, Фредерикс!..

Антонио писал пламенные стихи, обращенные к далекой возлюбленной. Этой таинственной возлюбленной была — Диана. И сердце, и жизнь свою посвятил он ей, бесплотной и бездушной, ее холодной, бескровной, каменной красоте. Прекрасные черты Дианы одаряли его экстазами безграничного счастья, но они же низвергали его своей не-

движностью в мрачные бездны отчаяния.

Но вот однажды отец призвал его к себе и высказал твердое желание, чтобы Антонио помолвился с молодой, прекрасной Лизой Мельци.

Семейство Мельци мало чем уступало Сербельони в знатности и древности рода. Будучи ближайшими соседями Сербельони, они владели обширными поместьями в окрестностях Белладжио, на другом берегу озера.

Антонио и Лиза были дружны уже с самого детства. Вместе бегали они и шалили в тенистых садах родительских вилл, часто осыпали друг друга цветами камелий или катались, откинувшись на подушки гондол, по фиалковому зеркалу озера, забавляясь струйками воды, пробегавшими между опущенными в воду пальцами. Когда они подросли, их отношения сохранили товарищескую непринужденность и простор детства.

Прошли года, они стали встречаться реже, но каждый раз при этом ощущали порыв взаимной симпатии. Лиза, пожалуй, чувствовала нечто большее, чем симпатию, но об этом она пока ничего не говорила.

Для Антонио желание отца не явилось поэтому чем-то неожиданным. Он задумчиво выслушал его спокойные, заботливые слова, сознавая их правоту, и лишь попросил несколько дней для принятия решения.

Когда он обратился за советом к своему другу Фредерико, тот со вздохом облегчения приветствовал мудрое решение отца.

— По-моему, это прекрасное предложение и наилучший выход из того положения, в которое ты попал и которое вскоре стало бы тебе самому невыносимым, — сказал он искренним голосом. — Лиза Мельци красивая, жизнерадостная, приветливая девушка: какие здесь могут быть вообще колебания? Ты будешь ей благодарен до конца твоих дней за то, что она освободит тебя от роковых чар богини, овладевшей твоими помыслами и сковывающей твою жизнь.

Антонио молча выслушал его и рассеянно кивнул приятелю, — он был слишком занят своими собственными мыслями. Образ Лизы Мельци был настолько прелестен, что,

казалось, действительно был способен вырвать его из рокового круга очарования. Она сияла чистотой и целомудрием души, — он помнил по сказкам детства, что только такие девушки и способны преодолеть чары злых волшебниц. Все ее существо наполняло его чувством ясности, спокойствия. Она была дивным контрастом к демоническим чарам мраморной богини... Да, действительно, отец прав!...

В тот же день Антонио сообщил родным о своем согласии.

Старый Сербельони торжествовал, Фредерико был крайне обрадован, а Лиза Мельци почувствовала, как ее окутало белоснежное облако счастья.

Помолвку праздновали в голубой весенний день на террасах виллы Мельци, в присутствии съехавшихся на торжество многочисленных соседей. Молодежь танцевала, звуки небольшого сельского оркестра разносились по аллее парка. С наступлением сумерек все общество отправилось к озеру, где вскоре зазвенели весенние песни и заскользили украшенные венками и гирляндами гондолы.

Все последующее время Антонио был счастлив. Он радостно ощущал при встречах с Лизой ее нежную заботливость, и с каждым днем чувствовал, как его увлечение становилось все глубже и искреннее. Он тщательно избегал посещения статуи, избегая ненужного искушения и опасности подпасть под былые чары. Несмотря на возраставшие надежды на освобождение, у Антонио все еще не было полной уверенности в себе.

Свадьба была назначена на раннюю осень. За несколько дней до нее, покинув виллу Мельци в разгар радостных хлопот по подготовке к бракосочетанию, Антонио, проходя мимо ограды своего парка, решил в этот вечер окончательно и навсегда проститься с мраморной богиней. Уступая смутному, безотчетному томлению, разлитому в теплой светлой ночи, он захотел еще раз увидеть статую, чтобы от всего сердца поблагодарить ее за былые минуты счастья. Темная глубина парка дышала ароматом отцветающих роз. Антонио медленно проходил по тенистым аллеям. По мере приближения к лужайке камелий, его волнение нараста-

ло... сильнее, чем он предполагал...

Последний поворот — и перед ним открылась знакомая лужайка. Жадно устремил он свой взгляд в глубину сумерек; на низком цоколе по-прежнему белела его Диана, невозмутимая, величественная, в совершенстве божественной красоты. Знакомое ему чувство безграничного очарования снова охватило его... Казалось, что ее улыбка сияла в эту ночь яснее, чем когда-либо. Широко раскрыв глаза, он, порывисто дыша, остановился перед статуей. Антонио ясно ощущал, что какое-то могучее, сверкающее пламя вновь вспыхнуло в его душе.

— О богиня... Диана!.. Как мог я подумать, изменить тебе!.. Забыть твоё совершенство?..

Долго простоял Антонио недвижно, в молчаливом восхищении, сам словно обратившись в статую. Затем он встрепенулся, подбежал к кусту роз, нарвал целую охапку цветов и опустил их с ними на каменную скамью против статуи.

— Тебя, только тебя!... — тихо шептал он, нежно свивая желтые розы в венок. Радостным движением забрался он на цоколь и увенчал чело богини цветами. Улыбаясь, словно в полузабытьи, он снял обручальное кольцо и молитвенно надел его на палец мраморной статуи. Затем он снова соскочил и, отойдя несколько шагов, преклонил колени. Вновь очарованный, поднял он счастливый взор к незабвенным чертам мраморного лица.

Через некоторое время он привстал с тяжелым вздохом.

— Пора проститься и уйти...

С трудом передвигая ноги, подошел он к богине, чтобы снять кольцо с ее пальца.

Внезапно он содрогнулся от ужаса: палец богини был согнут!.. Снять кольцо было невозможно!..

Антонио сам стал белее мрамора. Ему казалось, что весь мир рушится.

— Ты живешь?! — иступленно крикнул он. — Ты не хочешь, чтобы я ушел к освободительнице?.. Отдай мне кольцо!..

Но палец Дианы не разгибался...

Словно помешанный, побежал Антонио по направлению

к домику садовника. У его дверей он нашел топор и, схватив его, вернулся к богине, желая, в припадке отчаяния, отрубить ей руку.

Что это??.. Мраморный палец Дианы снова выпрямился, но — кольца на нем больше не было!..

Взрыв бешеной злобы ослепил Антонио. Привстав на цыпочки, он изо всех сил размахнулся топором, — еще немного, и божественный мрамор разлетелся бы на бесформенные куски.

Но слабое человеческое сердце не выдержало. Не доведя своего иступленного взмаха до конца, Антонио, как подкошенный, упал на лужайку. Еще мгновение, — и в темной блестящей листве камелий лежал бесконечно спокойный, недвижимый труп молодого человека. Лезвие топора глубоко врезалось в влажную землю.

И тут свершилось новое чудо: венок желтых роз, украшавший чело Дианы, стал медленно распадаться. Лепестки цветов тихо падали, покрывая лицо и грудь мертвого Антонио последней, таинственной лаской его божественной возлюбленной...

В ту же ночь, слабо освещенный первым зеленым сиянием брезжащего рассвета, старый Сербельони долго стоял перед трупом сына, тяжело опираясь на свою любимую палку черного дерева. Он попеременно глядел то на украшенное желтыми розами распростертое тело, то — на мраморные, застывшие в загадочной торжествующей улыбке черты богини.

— Ты не пожелала освободить его! — тоскливо шептали бескровные губы.

Затем, не сдерживая слегка смягчавших его горе слез, он наклонился, целуя бледный висок сына.

— Бедный Антонио!..

Ганс Бетге

КОЛДУНЬЯ ИЗ ФЛОРЕНЦИИ

Легенда

Без сомнения, она была самая красивая! Вся Флоренция лежала у ее ног! Хотя в средневековой Флоренции не давали воли нежным чувствам, но здесь, подобно снегу в солнце, таяла грубость нравов. Красивой Розауре Монтальбони все выказывали любовь и преданность, и при встрече с ней зарождалось большое, светлое чувство в сердце даже самого неотесанного пария.

Розаура всех очаровывала. Стоило ей только показаться на балконе своего дворца, как тут же собирались кучки людей, с восхищением глядевших на нее. Стоило ей появиться на улице, как толпа народа следовала за ней по пятам. Большинство поселения покупало там, где покупала она. Она улыбалась, и все чувствовали себя счастливыми. Если же черты ее омрачала печаль, то все, видевшие ее, впадали в тоскливое настроение.

У Розауры были золотистые косы. Когда она их расплетала, то, ниспадая, волосы укутывали ее, подобно золотой мантии. Она почти всегда ходила одетая в парчу. Стан ее был стройный, как у молодого кипариса, а в голубых глазах, казалось, блестела небесная лазурь.

Она жила на правом берегу Арно. В окрестности ее дворца появлялось много новых домов, так как всякому хотелось жить по соседству с ней. Даже рыбаки, жившие на левом берегу реки, переехали на правый. Молодые люди из городской знати наперебой добивались ее благосклонности, но она никого не любила.

Юноша из семейства Строцци, краса и гордость своих родителей, от отчаяния бросился в Арно, так как Розаура не захотела выслушать его признания. Однажды ночью нашли на улице, против ее дворца, остывший труп молодого Лоренцо делла Спина. Причина трагедии — Розаура не отвечала ему взаимностью, и молодой юноша отравился. Одно время казалось, что она благоволит молодому Андреа ди Кради. Но через некоторое время после поездки в Сеттиньяно, — обнаружили отсутствие этого счастливицы, — вскоре его нашли заколотым в лесу. Его убила рука завистливого соперника.

Даже отцы семейств разорялись на нее. Они покупали драгоценные камни и жемчуга, отбирали украшения у своих жен и посылали Розауре Монтальбони, надеясь этим добиться ее благосклонности. Случалось, что из за Розауры молодые люди пускали по ветру все отцовское наследство. Но все напрасно! Розаура оставалась непреклонной!

Из-за нее началось волнение среди жителей Флоренции. Родители некоторых обманутых в своих надеждах сыновей пожаловались в суд, что она чересчур красива. Суд эту жалобу признал неосновательной и отклонил.

Наступил голод, народ требовал хлеба и возмущался тем, что во дворце Розауры все еще подавались на стол изысканные блюда. Все знали, что Розаура купается то в молоке, то в вине и что даже ее собаки едят лучше, чем горожане. Наконец, долго сдерживаемое недовольство вырвалось наружу, и было произведено нападение на ее дворец. Сломали ворота, связали слуг, и толпа с шумом заполнила двор. В это время на ступеньках широкой лестницы показалась Розаура; на ней было платье из золотисто-красной парчи и распущенные светлые волосы закутывали ее стройный стан. Мило улыбаясь, она спускалась по лестнице. Толпа оцепенела, лица просветлели, самые громкие крикуны низко склонили свои головы. Очарованная ее улыбкой, толпа очистила ее двор — и продолжала голодать.

Но вот случилось нечто, положившее внезапный конец пребыванию красавицы в городе. Случилось нечто ужасное!

Джиованни, видный муж из знаменитого семейства Пацци, долгие годы был городским казначеем. Он пользовался неограниченным доверием флорентинцев. Случайно обнаружилась крупная растрата, — оказалось, что он истратил на Розауру большую часть общественных денег; после этого Джиованни повесился у себя в саду.

Розаура предстала перед судом, постановившим заклеить ее плечи раскаленным железом и изгнать из Флоренции. Во время оглашения приговора судьи закрывали рукой глаза, чтобы не потерять стойкости перед красотой девушки.

На обширной ратушной площади Розауру привязали к позорному столбу. На лицо ее надели черную маску, так как опасались, что народ, подкупленный ее красотой, может освободить ее. Палач приблизился, чтобы заклеить ее. Сорвав с нее платье, поднял раскаленное железо, и... пораженный совершенной красотой обнаженной спины, тут же опустил его. Он наклонился к ней и запечатлел горячий поцелуй на нежной коже

Палач отказался заклеить Розауру, и этот отказ ему пришлось искупить смертью. Не нашлось никого, кто бы рискнул поднять на нее раскаленное железо.

Не снимая черной маски, ее посадили на телегу и повезли из города. Казалось, что она совершает триумфальное шествие по улицам города. Все провожали ее восхищенными взглядами, охваченные пламенным волнением. Молодые люди шли следом за телегой и распевали любовные песни.

Розаура Монтальбони поселилась в одном селении у знакомых, недалеко от Сьены.

Ей было запрещено вернуться обратно во Флоренцию. Опасались ее красоты!

Анри де Ренъе

ТАЙНА ГРАФИНИ БАРБАРЫ

Человек, странную исповедь которого вы сейчас прочтете, был из хорошего венецианского дома. Я говорю «был», потому что за несколько недель до того, как я познакомился с настоящим документом, автор его умер в госпитале острова Сан-Серволо, где он находился в заключении несколько лет.

Без сомнения, это обстоятельство побудило любезного директора лечебницы для душевнобольных г-на С. познакомиться меня с этой симптоматичной галиматьей; правда, я имел наилучшие рекомендации к г-ну С., и психомедицинские исследования, ради которых я явился в венецианский маникомио*, служили гарантией моих намерений. Он знал, что я не злоупотреблю признаниями его покойного пансионера. Поэтому он без всякого колебания разрешил мне снять копию с помещаемого ниже документа, который я теперь публикую.

Впрочем, я это делаю без всякого опасения, потому что события, в нем излагаемые, относятся ко времени двадцатипятилетней давности. И ровно двенадцать лет прошло с тех пор, как наблюдения, занимавшие меня тогда и позже мною оставленные, привели меня в Венецию. В те годы они до того увлекали меня, что мне не приходило в голову наслаждаться поэтичными и живописными красотами Города дождей. Я кое-как, наскоро осмотрел его памятники и ни на минуту не подумал о том, чтобы вкусить отдохновение, которое предлагает этот единственный в мире город, где можно почти всецело забыть современную жизнь.

Среди стольких прекрасных вещей, которые я видел впервые в своей жизни, я был занят лишь своей работой. Сейчас я смотрю на вещи иначе и не без некоторого презрения вспоминаю о былом посетителе Венеции, который жил в ней как в любом городе, для которого базилика Святого Марка была лишь одним из множества мест и который окидывал Дворец дождей небрежным взглядом. Да, я довел мое безразличие до того, что поселился рядом с вокзалом! Выбирая это жилище, я принял в соображение лишь его

* Manicomio — клиника для душевнобольных, сумасшедший дом (*ит.*).

удобство и недорогую цену. Из этих признаний явствует, что чувство красоты было в те годы совершенно во мне атрофировано до такой степени, что самыми интересными для меня местами в Венеции были кафе «Флориан», шербет которого я очень ценил, Лидо, где я любил купаться, и остров Сан-Серволо, где любезный директор, заинтересованный моими исследованиями, давал мне свои просвещенные указания.

Ах, что за милый человек был этот синьор С.!... Я сохранил чудесное воспоминание о наших беседах в его рабочем кабинете на острове умалишенных. Окна этой комнаты выходили на террасу с тремя разного роста кипарисами, откуда открывался широкий вид на лагуну в направлении Маламокко и Кьоджи. Мы часто располагались на ней, чтобы поговорить. Там царила удивительная тишина, лишь изредка прерываемая криком, доносившимся из помещения буйных больных, или, в часы отлива, скрежетом крыс, бесчисленная толпа которых копошилась в тине у подножия стен.

В одну из таких бесед на террасе вручил мне г-н С. Документ, который вы сейчас прочтете и который я перевел с моей копии.

*Маникомио на Сан-Серволо
12 мая 18... года*

«Теперь, когда я прочно и окончательно признан сумасшедшим и заперт в этой лечебнице, по всей вероятности, до конца моих дней, ничто больше не мешает мне рассказать правдиво и со всею точностью события, которые повлекли за собой мое заключение. Пусть, однако, тот, кто, быть может, станет читать эти строки, не думает, что имеет дело с одним из маньяков, сочиняющих бесконечные жалобы на врачебную ошибку, жертвой которой они оказались, или избобличающих мрачные семейные интриги и интимные драмы, имевшие для них последствием утрату свободы. Нет, я далек от мысли жаловаться на мою судьбу и протестовать против принятых в отношении меня мер! Ни разу с тех пор,

как я здесь, план бегства не приходил мне в голову. Наоборот, моя келья на Сан-Серволо для меня — не темница, а прибежище. Она обеспечивает мне безопасность, которую я нигде больше не найду, и я не имею ни малейшего желания покидать ее. Я благословляю толстые стены и крепкую решетку, оградившие меня, притом навсегда, от общества людей, в особенности тех из них, чья профессия состоит в том, чтобы судить человеческие поступки.

И в самом деле, если даже эти строки попадутся на глаза властям, они не будут иметь для них значения и для меня не представляют опасности по той простой и вполне достаточной причине, что я медициной и судом зачислен в сумасшедшие. Это положение дает мне полную возможность говорить свободно. Мое сумасшествие служит мне охраной. Потому-то, в момент прибытия сюда, я сделал все нужное, чтобы подтвердить мое состояние. Я катался по земле, делал вид, что хочу задушить служителя, нес чепуху с добросовестным старанием и ловкостью, способною обмануть меня самого. Не должен ли я был хорошенько укрепить свое положение, чтобы спокойно пользоваться даруемым им преимуществом?

Ибо вы уже угадали, я в этом уверен: я вовсе не сумасшедший, но лишь жертва ужасного приключения, одного из тех приключений, которым люди отказываются верить и которые все же достоверны, хотя они и не вмещаются в наш слабый разум. Выслушайте же мою историю, а потом судите.

Первым несчастием моей жизни было то, что я родился бедным, вторым — то, что природа создала меня ленивым. Мои родители происходят из хорошего рода, но фортуна им мало благопритствовала. Тем не менее, они дали мне превосходное воспитание. Я был помещен пансионером в одно из лучших заведений Венеции. В нем были многие сыновья знатных фамилий. Там-то и познакомился я с графом Одоардо Гриманелли, о котором будет речь дальше.

Наши успехи в занятиях были посредственны и, когда я закончил кое-как свое ученье, мои родители потребовали, чтобы я избрал себе профессию. В этот момент во мне заговорила моя лень. Она оказалась непобедимой, и в

этом отношении я — истинный венецианец. К чему родиться в прелестнейшем городе мира, если нужно работать, как всюду? Венеция сама по себе была для меня достаточным занятием. Я любил наслаждаться ею в ее настоящем и в ее прошлом. Я охотно проводил бы свое время, роясь в ее древних исторических архивах, но для этого нужны были деньги, а я был лишен их в полном смысле этого слова. Как помочь нищете, являвшейся препятствием моему влечению к бесцельным прогулкам и любительским занятиям историей?

Однажды, когда я размышлял об этих трудностях, меня внезапно осенила мысль, которая и привела меня сюда. Я зашел в собор Святого Марка. Сев на скамью, я погрузился в созерцание драгоценного мрамора и мозаик, украшающих это чудо искусства. Все золото, там разлитое, вся эта сверкающая роскошь, превращающая внутренность церкви в грот, полный волшебства, меня гипнотизировали. При виде этого ощущение моей бедности подавило меня, когда внезапно, сам не знаю почему, мне припомнилось содержание старых городских документов, которые я в это самое утро перелистывал в архиве. Это был доклад инквизиторов по поводу некоего немецкого авантюриста, Ганса Глуксбергера, который утверждал, что обладает искусством превращать металлы. Он приехал для занятия этим в середине XVIII века в Венецию, где нашел много последователей!..

Тотчас же словно молния озарила мою мысль. Золотые своды Святого Марка завертелись надо мной, и я почувствовал головокружение. Если эта чудесная тайна была раньше известна, то почему ей быть утраченной сейчас? Она, наверное, имела своих хранителей. Возможно было отыскать их следы, сблизиться с ними и быть ими также посвященным в искусство обогащения.

Мною было немедленно принято решение. Я добился от своих родных новой отсрочки и погрузился в лихорадочное изучение трудов по оккультизму и алхимическим трактатов. Вскоре я убедился, что возможность добывать золото отнюдь не была басней. Ганс Глуксбергер, без сомнения, владел этой тайной. Он, наверное, передал свою формулу кому-нибудь из его венецианских учеников. Эта уверенность

удвоила мои силы. Я продолжал свои разыскания. Внезапно обнаружился след.

Среди учеников немца упоминалась некая графиня Барбара Гриманелли. Эта дама, по свидетельству современников, личность выдающегося ума, в течение нескольких лет восстановила сильно расшатанное благосостояние своей семьи. Это она отстроила заново дворец Гриманелли и украсила его фресками Пьетро Лонги. Для меня не оставалось больше никаких сомнений. Внезапным своим обогащением графиня Барбара была обязана обладанию чудесной тайной, живым наследником которой был ее правнук Одоардо!

О, да ведь лицо этой графини Барбары было мне хорошо известно! Я его отлично помнил, помещенное в центре композиции, где Лонги изобразил нескольких членов семьи Гриманелли за карточными столами. Сцена была занимательна и полна жизни, с ее фигурами в натуральную величину и обстановкой, до иллюзии, передававшей действительность. Посреди игроков стояла графиня Барбара. Это была высокая женщина с жестоким и надменным выражением лица. Ее рука развертывала лист бумаги с каббалистическими знаками. Как эти знаки не натолкнули меня раньше на верный путь?

И не сразу ли теперь объяснился образ жизни, который вел Одоардо по достижении совершеннолетия? Всем было известно, что отец Одоардо умер, растратив свое состояние; между тем вот уже два года, как Одоардо позволял себе огромные расходы. Дворец Гриманелли был отремонтирован и великолепно обставлен. Одоардо совершал дорогостоящие поездки в Лондон и Париж. Не было ли это доказательством того, что он также обладал тайной графини Барбары и Ганса Глуксбергера, чудесной тайной, в которую и я хотел проникнуть?

Ибо этой тайной я хотел завладеть во что бы то ни стало. Мог ли Одоардо отказаться со мной ею поделиться, если моя проницательность открыла ее существование? Но как добиться моей цели? Первым условием было повидаться с Одоардо. Он был в то время в Венеции, и на следующий же день я отправился во дворец Гриманелли. Меня провели в

ту самую галерею, где находилась фреска.

Так как Одоардо медлил выйти ко мне, я имел время хорошенько рассмотреть произведение Лонги. Лишь одна фигура интересовала меня, фигура графини Барбары. Я был поражен ее жестоким и угрожающим выражением. Ее рука, казалось, с гневом сжимала тайнопись, все равно другим недоступную, желая скрыть ее от нескромных взоров.

Приход Одоардо прекратил мои размышления. Одоардо принял меня очень любезно. Он стал мне рассказывать о своем последнем пребывании в Лондоне, потом дружески спросил меня о моих делах. Решился ли я наконец избрать какое-нибудь ремесло? Я ответил на его вопрос уклончиво; в оправдание моей нерешительности я сослался на свою любовь к архивным занятиям.

Одоардо выслушал меня сочувственно. Очевидно, для него путешествия, игра и женщины были единственными возможными занятиями; правда, я понимал его, но и ученые разыскания также имеют свой интерес. Так, например, на днях я открыл любопытный факт, касающийся его прабабки, графини Барбары. Говоря это, я указал на ее портрет. Одоардо проявил некоторое смущение, затем шумно расхохотался.

— Рассказывай! Я уверен, что ты тоже обнаружил какие-нибудь проказы моей почтенной прабабушки. Ах, господа ученые, вы всегда одинаковы! Вообрази, в Париже вышла брошюра одного молодого французского исследователя, утверждающего, что он нашел корреспонденцию самого компрометирующего свойства между графиней и авантюристом Казановой де Сенгальтом.

И он поглядел на меня искоса. Я тоже принялся смеяться.

— О, мой дорогой Одоардо, это бы меня не удивило! Весьма возможно, что именно Казанова посвятил твою прабабку в алхимические процедуры и магические операции. Венеция того времени была полна каббалистов. Они приезжали туда даже из-за границы.

Одоардо больше не смеялся; им овладело явное замешательство, и он резко перевел разговор на другую тему. Он

снова заговорил о необходимости для меня избрать скорее карьеру. Он даже предложил мне помочь своими связями. Если в этом явится необходимость, он всецело в моем распоряжении. Продолжая разговаривать, он тихонько позвякивал червонцами в жилетном кармане.

Бедный Одоардо, не этого я от тебя хотел! Мне нужна была чудесная тайна добывания золота, и я твердо решил вырвать ее от тебя, лаской или силой. Мне оставалось лишь найти способ, как вырвать у тебя уговорами или насильем таинственную и несравненную формулу!

Я потратил несколько недель на обдумывание разных средств. Ежедневно я проводил долгие часы, раздумывая о них, в золотом гроте Святого Марка. Часто я нанимал гондолу и уплывал на ней в самую пустынную часть лагуны. Тишина ее немых вод благоприятствует работе мысли. Однажды вечером, когда моя гондола скользила вдоль старых стен острова Сан-Серволо, я остановился на следующем плане: я попрошу у Одоардо свидания наедине, и тогда, как только мы останемся с глазу на глаз, я сумею заставить его заговорить. Я обладал незаурядной физической силой и готов был на все, лишь бы достичь своей цели.

Мне пришлось дожидаться возвращения Одоардо, который поехал в Рим, чтобы посмотреть какое-то театральное представление. Наконец роковой день настал. Одоардо согласился принять меня в шесть часов. В половине шестого я направился к дворцу Гриманелли.

Все приготовления были сделаны. В кармане у меня был кляп и крепкая бечевка, причем я не забыл захватить и револьвер. Я был очень спокоен. Единственная мысль занимала меня: примет ли Одоардо меня в своей курительной комнате или в галерее с фресками? Я предпочел бы курительную, более уединенную, но готов был примириться и с галереей. Как бы там ни случилось, я уверен был в успехе. Одоардо не окажет мне большого сопротивления, и после того как я завладею тайной, он, быть может, даже простит мне прямоту моих действий.

С такими мыслями я достиг дворца Гриманелли, и меня провели в галерею. Наверху лестницы слуга, сопровож-

давший меня, удалился. Я тихо вошел. Одоардо стоял как раз около фрески Лонги, которую рассматривал с таким вниманием, что я успел подойти к нему незамеченным. Прежде, чем он успел издать крик или сделать движение, он уже лежал с кляпом во рту на полу. Я отер свой лоб, вынул револьвер и принялся объяснять ему, чего от него требовал. По мере того, как я говорил, Одоардо все более и более бледнел. Казалось, он меня не слушал, и глаза его были прикованы к одной точке на стене. Машинально я проследил за его взором. То, что я увидел, было так страшно, что револьвер выпал из моей руки, и я оцепенел от ужаса.

На фреске Лонги медленно, но упорно графиня Барбара таинственно оживала. Сначала она пошевелила одним пальцем, потом всей кистью, потом рукой, потом другой. Вдруг она повернула голову, ступила вперед одной ногой, затем другой. Я видел, как заколыхалась материя ее платья. Да, графиня Барбара покидала стену, где в течение полутора лет ее неподвижный образ пребывал плененным под краской и грунтом. Не оставалось сомнения. На том месте, которое она занимала на фреске, образовалось большое белое пятно. Графиня Барбара сошла сама на защиту тайны, за которую некогда, без сомнения, она продала душу дьяволу. Теперь она была в двух шагах от меня. Внезапно я почувствовал на своем плече ее тяжелую ледяную руку, меж тем как глаза ее смотрели на меня долгим и повелительным взором.

Когда я пришел в себя, я лежал на кровати, привязанный к ней крепкими ремнями. Одоардо беседовал с седобородым господином. Это был милейший директор лечебницы на Сан-Серволо. Отец и мать плакали у моего изголовья. На маленьком столике лежали кляп, бечевка и револьвер. К счастью, я был отныне признан сумасшедшим, иначе эти вещественные доказательства могли бы мне причинить большие неприятности.

Все равно, я был очень близок к обладанию великой тайной, и если бы не эта проклятая графиня Барбара...»

Уже много времени прошло с тех пор, как я засунул среди своих бумаг признания пансионера с острова Сан-Серволо, когда в прошлом месяце я приехал провести две недели в Венеции.

Однажды, прогуливаясь по площади Святого Марка, я встретил моего друга Жюля д'Эскулака.

— Пойдемте, — сказал он мне, — взглянуть на фрески дворца Гриманелли, которые мне предлагают купить. Граф Гриманелли умер недавно в Лондоне, и наследники продают его фрески Лонги. Они вроде тех, что находятся во дворце Грасси.

Гриманелли. Это имя привлекло мое внимание. Где я его слышал?

Я последовал за моим другом д'Эскулаком, который продолжал:

— Досадно только, что живопись очень попорчена и на ней недостает одной фигуры. Кажется, это случилось лет двадцать тому назад. Стена не то треснула, не то облупилась. Эти венецианцы так небрежны, и к тому же граф давно не жил в своем дворце!

Мы пришли во дворец Гриманелли. Он находится в Сан-Стаэ, совсем неподалеку от Гранд-канала. Сторож провел нас наверх.

Фреска Лонги занимала целый простенок галереи. На ней были изображены люди, сидящие за карточными столами. В середине было в самом деле большое белое пятно.

Тогда я вспомнил. Здесь помещалось когда-то изображение графини Барбары...

И в то время, как Жюль д'Эскулак разговаривал на местном наречии со сторожем, я испытал перед лицом этого удивительного случая необыкновенное смущение и жуткое чувство.

Арвитар

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ



I

Доктор Фиденциус сидел на балконе своего дома, выходящем в сад, и размышлял о последнем опыте в лаборатории, который дал блистательный результат.

Возле него сидела молодая женщина; ее можно было назвать прекрасной — смуглая, большеглазая испанка с пурпурными губами и черными, как крыло ворона, волосами.

У доктора Фиденциуса было выражение сосредоточенной задумчивости, глаза его еще сверкали молодым огнем; только во всех движениях его было стариновское спокойствие, но и молодая женщина точно так же была спокойна. Она тоже таила в себе какую-то мысль, стремившуюся наружу и не находившую еще воплощения, тоже прекрасную, как ей казалось, и великую.

Перед их глазами расстилались дали, зеленые, голубые и, наконец, исчезающие на горизонте, где возвышались цепи подобных облакам белых гор.

Оба — и старик, и молодая женщина — думали свою думу и пока не говорили между собой о том, что их больше всего занимало; они говорили о мелочах жизни: о хозяйстве, о газетных новостях, о последнем постановлении кортесов, о покушении на короля, о будущем урожае винограда.

Вдруг доктор произнес, выкурив сигару:

— Диана, ты скучаешь?

Она нежно посмотрела на него и робко сказала:

— Неужели я изменилась? По моему лицу заметно?

— Да, что с тобою? Ты расскажи лучше. Откройся, что такое?

Она смутилась и отвечала:

— Ничего.

— Ты всегда была правдива, — продолжал старик, — почему же теперь скрываешь? Скажи мне, доверься...

— Я ничего не скрываю, учитель, — возразила она.

— Значит, я ошибаюсь?

— Возможно!

— Но мне казалось, что ты с некоторых пор изменилась. Просто скучаешь вечно сидеть со мною?

— С вами, учитель?! — с живостью вскричала молодая женщина. — Да я с вами готова прожить хоть тысячу лет!

В глазах ее загорелось пламя.

Доктор Фиденциус потряс головой.

— Так-то так, — произнес он, — но у тебя в сердце какая-то заноза. Ты не удовлетворена жизнью. Что-то тебя томит.

— Нет, нет! Уверяю вас, — дрожащим голосом сказала Диана, — уверяю вас, я такая же самая, как и прежде.

На глаза ее навернулись слезы, она склонилась к нему, взяла его руки и поднесла их к своим губам.

— Вот это уж что-то новое, — сказал старик. — Ну, ну, Диана, открывай сердце. Что у тебя такое? О чем плачешь? Я еще не видел на твоих глазах слез с тех пор, как мы живем вместе.

Потом он замолчал. Она держала его руки в своих, и он чувствовал, как в его жилах распространяется томное чувство, и сердце его испытывает утешение, которое доставляла ему всегда близость Дианы.

II

Она была добрая, предупредительная. Относилась она к нему, как дочь, как мать, как сестра. Каким образом сложилось у него к ней чувство, которое он считал огромным, потому что оно охватывало все его существо и с каждым днем разрасталось, он не знал.

Глядя на ее склоненную темноволосую голову, доктор Фиденциус невольно переживал прошлое.

В его воображении вставляли трагические картины.

Когда-то у него был сын Октав, который убежал из родительского дома еще шестнадцати лет. Его влекла таинственная жизнь, исполненная приключений и борьбы с препятствиями. Он вступил в общество людей, которые ненавидели собственность и разрушали государственность. Впрочем, политических убеждений у них не было, они были разбойники, воры, грабители, которые построили лишь свое общество по тому типу, по которому организовались и организуются социалистические и анархистские заговоры, и называли себя «Рыцарями Солнца».

Октав скоро выдвинулся из среды товарищей — стал коноводом шайки.

О его удали быстро сложились целые легенды и, так как он был красавцем, женщины мечтали о нем и вешались ему на шею. Октав сошелся с Дианой, мечтательной, сумасбродной, страстной девушкой. Она отдалась ему и сделала членом шайки, которая из-за нее чуть не погибла. Предводитель другой воровской банды влюбился в Диану. Началась вражда между «рыцарями» обоих «орденов».

Рыцари «Солнца» дали формальную битву рыцарям «Черной руки» и победили их, но Октав, который был силен и которого все боялись, пал — пробитый кинжалом. Прибежала полиция, но подобрала только нескольких раненых и мертвых. Октава не нашли, его успели унести в безопасный дом, и там, у изголовья умирающего, сидела Диана несколько дней, пока еще была надежда. Когда же пришла смерть, он сказал, чтобы она отправилась к его отцу, доктору Фиденциусу, и попросила его приехать к нему.

Доктор Фиденциус был тогда хранителем большой общественной библиотеки и жил одиноко, весь отдавшись своим алхимическим изысканиям.

Он не верил тогда ни в любовь, ни в семейные радости, ни в сыновью преданность, — он во всем разочаровался. Женщина, на которой он женился, изменила ему через несколько месяцев после венца и умерла, родивши сына... но чей был ребенок? Все-таки доктор признал его своим, привязался к

нему, стал его воспитывать и хотел сделать из него доброго гражданина...

Юноша — увы! — жаждал золота, как и доктор Фиденциус; но он думал, что уже обладает философским камнем — кинжалом, и лабораторией — большой дорогой.

Когда Диана рассказала доктору о том, в каком положении его сын, он не колебался ни минуты и последовал за ней. Он все забыл — и как сын вымогал у него деньги, и как покушался на его жизнь. Страшно поразил его вид умирающего сына. Молодой человек указал на Диану и произнес слабым голосом:

— Хочу, чтобы она осталась у тебя и не попала в другие руки. Я слишком люблю ее и ревнивое чувство к ней уношу с собой за гроб.

Доктор похоронил сына и поселил молодую женщину у себя в доме.

III

— Могу ли я сказать вам несколько слов, учитель? — спросила Диана.

— Говори, разумеется. Ты можешь все мне сказать, что у тебя па душе.

— Мне тоже кажется, что вы испытываете какую-то тревогу. Что с вами?

— Со мной ничего, дорогая Диана, — сказал старик. — Хорошо было бы, если бы я мог прожить тысячу лет вместе с тобой, потому что наши года тогда сравнялись бы. Между нами разница была бы не очень велика, во всяком случае. Кроме того, я мог бы вдоволь насладиться, вместе с тобой, тем открытием, которое я, кажется, сделал. Мало завести виноградник, надо воспользоваться и виноградом.

— А какое открытие вы сделали, учитель?

Она называла его «учитель», потому что молодые люди, приходившие по утрам в официальную лабораторию доктора, обращались к нему тоже со словом — «учитель».

— Открытие, которое я сделал, должно произвести мировой переворот. Ты никогда не слыхала о превращении одних тел в другие? — спросил он ее с улыбкой.

Диана отвечала:

— Слыхала. Об этом существует очень много легенд. Люди обращаются в зверей, а звери в людей. Разве нет обратней? Кроме того, под влиянием огня какие чудеса совершаются на кухне!

— В известной степени ты права, и я одобряю точку отправления твоих рассуждений. Я никогда еще не видел обратней и не думаю, чтобы они существовали. Но есть люди, которые из дурных делаются хорошими. Это я наблюдал в своей жизни. А то, что ты наблюдала на кухне, пожалуй, может быть тоже названо химическим процессом и, следовательно, алхимическим. Ах, милая Диана, превращения, над которыми я работаю, гораздо удивительнее. Сегодня ты поможешь мне сделать заключительный опыт и, если тигель выдержит, увидишь, как из простого металла делается золото. Ты увидишь! — с уверенностью сказал доктор Фиденциус.

Глаза Дианы широко раскрылись.

— Золото? — спросила она.

— Настоящее золото, ничем не отличающееся от того, из которого чеканятся монеты, даже гораздо лучше, потому что в монеты примешивается медь. Мягкое, чудное, великолепное золото, поддающееся молотку, растягивающееся в бесконечно тонкую проволоку... И, может быть, мы будем... властителями земли!

— Учитель, какие ты слова говоришь! — затрепетав от радостного смеха, сказала Диана. — Я бы хотела только одного: жить в Мадриде, и каждый раз, когда бывает бой быков, иметь свою ложу и корзину с розами, чтобы бросать в тореадоров.

— У тебя будет столько денег, что, если бы ты захотела, то могла бы даже упразднить бой быков, что было бы гораздо гуманнее, — сказал доктор Фиденциус.

— Я готова сделать все, что тебе приятно, учитель, и удивляюсь, что ты называешь себя стариком. У тебя очень жи-

вые глаза и, когда я дотрагиваюсь до твоих рук, я чувствую, что у тебя еще крепкое тело. Восемь лет я живу в твоём доме, и ты ни разу не приласкал меня иначе, чем ласкают дочь.

У нее слезы стояли в глазах.

— Если ты, — продолжала она, воодушевляясь, — изобретешь золото и будешь ждать тысячу лет, пока мы сравняемся годами, то, правду сказать, я не поздравляю тебя. Тебе следовало бы воспользоваться хоть теми минутами, которые еще в твоём распоряжении и пока мне нет даже тридцати лет!

Она сжала его руки и положила их к себе на колени. Была она полна, как распутившаяся роза, роскошная, зрелая женщина.

Доктор Фиденциус в первый раз почувствовал упругую теплоту ее тела, и та горячая томность, которая стала волновать его сердце, широкой волной захлестнула его. Он вскочил и сказал:

— Ночью я сделаю золото, и ты будешь моей!

Она побледнела, остановила на нем яркие глаза и повторила:

— Я буду твоей, учитель. Теперь ты узнал, какая заноза в моем сердце? — спросила она, приближаясь к нему и кладя руки на его плечи.

— Да, да, — повторила она. — Тебе незачем ждать тысячу лет, мы можем сравняться теперь же, а пусть тысяча лет будет у нас впереди!

IV

Доктор Фиденциус ушел в верхнюю лабораторию приготовить все, что нужно для опыта, а Диана отправилась на свою половину.

С тех пор, как она поселилась у доктора, в доме завелся необыкновенный порядок. Диана наполнила жизнь доктора мелочами, которые разнообразили ее, придавали ей поэ-

тический и счастливый оттенок. Он думал о Диане, а мысль о философском камне и о золоте окрыляла его душу, заставляла с юношеской силой трепетать его сердце, возбуждала в нем чувство, которое он в другое время считал бы для себя уже мертвым, и какая-то горделивая радость поднималась у него в душе при мысли о том, что дурная девушка, какой казалась Диана, преобразилась в его доме. Не под влиянием ли того философского камня, каким, в данном случае, являлся его ум в соединении с его добротой и честностью?

После скромного, но вкусного ужина доктор Фиденциус и Диана, оба с волнением, вошли в таинственную лабораторию.

Это была обширная комната, посередине которой стоял стол, заваленный бумагами и книгами, стеклянными и фарфоровыми сосудами, а вокруг, на других столах, поменьше, разложены были реторты, колбы всевозможных размеров, груды металлов, реактивы в стоянках с притертыми пробками, замысловатые инструменты, алембики, химические печи; большой горн, стоявший отдельно в углу, за асбестовой перегородкой, был зажжен, голубоватый свет распространялся от него, и воздух был напоен каким-то острым запахом.

— Вот наша надежда, — таинственно сказал доктор, останавливаясь с Дианой перед пылающим горном.

Первый раз он ввел Диану в «свою» лабораторию. Никогда еще нога ее не переступала через порог этой комнаты. Никто не бывал в его алхимической лаборатории, ни один ученик. Это было признаком высшего доверия и любви. Восьмилетнее испытание сделало свое дело. Свинцовая душа Дианы превратилась в кристаллическое золото; земное стало небесным.

— Знаешь, как это называется?— спросил он у нее.

— Что? — точно во сне сказала Диана, с испугом и любопытством, широко раскрытыми глазами глядя на окружающие ее странные предметы.

— Этот горн, горящий голубым огнем, называется атанором.

— Атанором?..

— Подожди.

Он подошел к сосуду, который был наполовину открыт, заглянул внутрь и с такой же предосторожностью закрыл его.

— Подвигается дело. Все идет благополучно, — сказал он голосом, задрожавшим от удовлетворения.

— Все идет благополучно, — как эхо, повторила она.

Доктор на минуту остановился, созерцая лазурный цвет горна, и сказал:

— Открытие! А сколько дней прошло, сколько мучительных ночей, ужасных тревог!

— Так здесь золото? — вздрогнув, спросила она и протянула руку.

— Рук не надо протягивать, — сказал доктор и взял се за открытый локоть. — Это — философский камень, пока золота нет.

— Что значит «философский камень»?

— Философским камнем можно превращать одни тела в другие.

— А любовь в ненависть можно обратить?

— Зачем же в ненависть? Обратный процесс более желателен. Ненависть обращать в любовь — вот цель алхимика, который посвятил бы себя морали.

Диана задумалась.

— Бывает, — сказала она, точно погружаясь в далекие воспоминания, — когда любишь и ненавидишь, и когда ненавидишь и любишь.

— Слушай, Диана, — сказал доктор, не придавая значения ее словам и думая о своем философском камне. — Философский камень — продукт атанора, поразительный по своим свойствам, а действие его просто: он разлагает простые тела. Ты не понимаешь, что такое «простые тела»? Это свинец, олово, железо, сера, ртуть... Раз удалось приготовить философскую серу и ртуть и философскую соль, то легко приготовить и философский камень. Он в том сосуде, который называется «философским яйцом». Все остальные металлы состоят только из этих трех: серы, ртути и фило-

софской соли. Соль и кислород сливаются и дают гниение и разложение — или жизнь, потому что жизнь обновляется разложением, то есть философской солью и ртутью — или углем и водородом. А теперь они в таком состоянии и доведены до такой точки, что должны образовать фермент, вроде металлических дрожжей. Без этих дрожжей ничего нельзя было бы сделать. Прибавивши к ферменту, изобретенному мной, таким образом, немного золота, я должен получить философский камень. Да я его и получил уже. И то, что теперь мы будем делать, только проверка сделанного. А затем, моя милая, я буду в состоянии превратить в золото все металлы, какие я только захочу. Ты увидишь, — продолжал старик: — на этот раз мой философский камень, кажется, обладает громадной силой. Я не ошибаюсь. И прежде я владел тенью открытия, но приготавливал дрожжи слишком слабые. Не было той силы, моя милая, но этот философский камень производит частичное преобразование, подобно тому, которое имеет место в органических телах, когда они приводятся в брожение дрожжами. Например, я волью в огнеупорный тигель свинец, который заставлю кипеть, и стану бросать в эту массу мой философский камень. И он переделает свинец в золото, подобное тому, которое, ты видишь, лежит вот здесь, на этом столике... Я добыл его вчера ночью!

— Учитель!

— Не веришь?

— Я верю! Но какое блестящее будущее нас ожидает!

— Будущее? Блестящее будущее ожидает только тебя, — с улыбкой сказал доктор. — Что же касается меня, то ты права, я ограничусь блаженством нескольких мгновений: настоящее — мое!

— О, учитель, как ты можешь говорить так спокойно! Я не могу представить себе, что я расстанусь с тобой когда-нибудь.

— Заранее можешь не представлять. Это случится само собой. Ну, так вот, Диана, слушай. Свинец — металл низкий, неблагородный, он беден солью и кислородом, но я приведу его в соприкосновение с ферментом, он облаго-

родится, станет богат солью, атомы, его составляющие, претерпят изменения — и тогда он сделается золотом. Вся материя — едина, и из нее получаются три элемента: уголь, водород и кислород — сера, ртуть и соль. Соединяясь с ними, азот образует органические тела. В металлах всегда находится большее или меньшее количество кислорода и соли. Золото же — самый металл. Таким образом, если металл, бедный солью и кислородом, насытить последними, выйдет золото. Ты поняла?

— Да, я поняла. Я теперь ясно поняла, — отвечала Диана. — Но отчего ты раньше никогда не говорил мне об этом, учитель?

— Я говорил тебе, что работаю наверху. Ты хорошо знала это. Нет, я не потому скрывал от тебя свою тайну, что хотел ее скрыть. Я давно увидел, что ты достойна общения со мной, но я еще не обладал тайной. Я только недавно, вчера, почувствовал трепет обладания ею!

— Учитель, мне кажется, что я сплю, — со слезами сказала Диана.

Он засмеялся, подошел к атанору и снова заглянул в кипящий тигель; великое удовлетворение, как луч, засверкало на его лице. Губы его сложились в ироническую улыбку.

— «Философский камень — греза, ложь, обман, сумасбродство». Посмотрим, как-то вы примете его! Атанор, совершенный, чудесный атанор!

Диана рискнула спросить:

— А ты, учитель, расскажешь другим о своем открытии?

— Я объявлю, что совершено открытие, но не расскажу о нем. Мы только вдвоем будем знать, как делается золото. Что такое другие? Кто они? Мы, только мы!

Сердце Дианы тревожно билось, она побледнела и чуть слышно спросила:

— Как, учитель, в самом деле, для меня одной? Это все для нас? Никто не узнает? Я буду богаче всех женщин в мире!

— Всех цариц! — сказал доктор. — Для тебя одной я работал. Разве ты не заметила, как я тебя люблю? Повторяю: для тебя одной я работал. Я об этом мечтал дни и ночи. Ко-

гда я увидел, что ты — прекрасная душа, спокойная, любящая, и как вспыхивают твои глаза при встрече с моими, как дрожит твоя рука, когда касается моей, я решил, что открытие мое будет чудесной наградой для тебя. Для тебя одной я создал золото, я вознесу тебя над всеми людьми, над всем человечеством, одна ты будешь царить в мире.

Он стоял неподвижно, с глазами, устремленными на горн атанора.

Диана в восторге видела перед собой золотые сны. Вся в золотых браслетах, в золотых монетах, в бриллиантах, в кружевах, кругом букеты роз, тореадоры, убивающие быков, процессии монахов со сверкающими иконами, статуями Мадонны!..

— Мы будем счастливы! — как бы проснувшись, вскричала она. — Для нас, только для нас! Никто не будет знать! Какое блаженство! Мы построим себе золотой дом с бриллиантовыми окнами!

Доктор лихорадочно произнес:

— Ну, еще нечего спешить, еще возможна ошибка, мелочь, ничтожная разница в температуре.

Тень пробежала вдруг по его лицу; он спросил:

— Ты не слышишь? Атанор гудит?

Диана насторожила слух.

— Да, учитель. Как будто звенят пчелы.

— Или поют шмели. Приближается страшная минута, — побледнев, объявил доктор. — Послушай, Диана, — тревожно сказал он, — через час я приду к тебе. Я объявлю тебе, что случилось. Уйди — я боюсь за тебя.

— Что ты боишься, учитель? — наивно спросила Диана.

— Философский камень развивается в философском яйце и может взорваться.

— Ну и что же?

— Он в таком огромном количестве заготовлен мной, что его должно хватить на несколько миллиардов золота.

— Боже мой, учитель!

— Да, дочь моя. Уйди же!

— Я не уйду от тебя. Что случится, если горн взорвется?

— Погибнешь. Слышишь, как страшно гудит? Уже не пче-

лы поют. Это ревет бык.

Он взял Диану за талию и повернул ее к двери. Но она не хотела уходить.

— Уходи! — грозно сказал он. — Еще три минуты, и бык или упадет на колени, или подымет нас на рога.

Но Диана взглянула в глаза доктору Фиденциусу, которые горели странным, нестерпимым блеском, и не успела взяться за ручку дверей и в последний раз оглянуться на доктора, как раздался взрыв.

В облаке ярко-лазурного, сверкающего блеском молнии пара замигали красные искры, загремел гром, и доктор Фиденциус с криком упал на пол.

VI

Сама Диана едва устояла на ногах. Но она не была ранена. Поскорее открыла она окна и, когда рассеялся пар и погасло пламя атанора, Фиденциус пришел в себя. Он получил тяжкие ожоги руки и плеча и принужден был лечь в постель. Он ничего не говорил, ни на что не жаловался, только молчал. Диана ухаживала за ним.

На другой день он сказал ей:

— Никому не говори.

— Нет.

— В маленьком хрустальном шкафчике лекарство. Принеси.

Диана смотрела, как он лечится, весь израненный, слабый, сконфуженный, и ей было жаль его. Она не смыкала глаз над ним, подавала ему пить, сварила куриный бульон и заставляла его есть и пить, как ребенка.

— Бедный ты, — говорила она. — Ах, учитель, какой ужас!

— Ничего, деточка, — стал утешать ее старик. — Я, кажется, слишком рано открылся тебе и поманил золотыми перспективами; но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы атанор удался. Полградуса ниже, и все было бы спасено.

— Учитель, когда ты выздоровеешь, опять примешься за работу?

— Неужели ты думаешь, что я брошу свою лабораторию!

— Ты опять уйдешь в свои опыты и забудешь обо мне?

— Нет, Диана, я не могу тебя забыть. Если я работаю, — то для тебя. Помни это.

— Пройдет тысяча лет... — с огорчением сказала она, припадая своей пышной головой к его подушке.

Он погладил ее по волосам.

— Через месяц ты будешь самой богатой женщиной в мире.

Диана вздохнула.

— Чего ты вздыхаешь? Неужели ты думаешь, что я стал холоден к тебе только потому, что разбился и охладел мой атанор? Знай, что я никого не люблю, кроме тебя. Я презираю людей. Они представляются мне зверями, ленивыми, праздными, обреченными со дня своего рождения на животное состояние. Нет, только ты одна! И не бойся, что пройдет тысяча лет. Мне скоро шестьдесят, но сердце мое бьется, как у тридцатилетнего. Я люблю тебя, — продолжал он и еще раз сказал: — я люблю тебя.

Жажда жизни и работы так была велика у доктора Фиденциуса, что выздоровление его совершилось в несколько дней. Диана вышла приготовить завтрак и, вернувшись, уже не застала доктора в постели; он сидел в лаборатории. В горн был вставлен новый тигель. Все, что уничтожено было взрывом, мало-помалу было восстановлено. Больше, чем когда-нибудь, погрузился в алхимические занятия доктор Фиденциус. Диана только на короткие мгновения видалась с ним; он почти не ел и не пил, глаза его ввалились и горели фанатическим огнем.

Предоставленная самой себе, Диана гуляла по саду, спускалась по отлогому холму в долину и смотрела по целым часам, как убегает на дне русла извилистая речка в бесконечную даль, смотрела на облака, на горы и вздыхала.

Прошел месяц. Однажды Диана шла задумчиво по берегу реки и, когда она повернула к дому, из-за столетнего, ветвистого пробкового дуба вышел молодой человек в серых штанах, унизанных пуговицами, в бархатной куртке, в широкой шляпе и с черными, красиво вьющимися усами. Он подошел к девушке.

— Что угодно вам? — спросила она и отступила шаг назад.

— Я «рыцарь Солнца», — проговорил он.

Она побледнела, а он засучил рукав и показал ей на коже руки синий рисунок — эмблему солнца с девизом: «Вечный свет».

— У тебя такой же точно знак, — сказал молодой человек, без церемонии взяв Диану за руку, и поднял ее рукав.

— Да, — сказала она.

Мгновенно пронеслось у нее воспоминание о прежней жизни.

— Я была тогда девочкой, — прошептала она. — С тех пор прошло много времени.

— Ты стала женщиной, но узы, которые связывают тебя с орденом, не могут быть порваны никогда, и ты приобщилась к «вечному свету». Я требую, чтобы ты не прогоняла меня.

— Я стала теперь совсем другая. Я не помню тебя.

— Я Марсель, по прозвищу «Маркиз семи фонтанов».

— Уйдите отсюда, — сказала Диана.

— Тебя когда-то прозвали «Ласточкой». Не будь же душой, «Ласточка».

— Я дочь доктора Фиденциуса.

— Дочь, или невестка, а, может быть, и что-нибудь другое, — мне все равно.

Она вздохнула. На нее точно навалилась какая-то мрачная туча. Вынырнуло прошлое и вплотную подошло к ней.

— Чем же ты опечалена? Разве старого друга не приятно встретить? Дурного в этом ничего нет. Вечный свет, — веч-

ная дружба, вечная взаимная зависимость.

Он близко заглянул ей в глаза, увлек ее под тень дуба и обнял.

Она вся дрожала и просила отпустить ее.

— Неужели ты думаешь, что я воспользуюсь твоей слабостью? Я напоминаю тебе только то, что ты должна сама знать. Да, сам я теперь другой. Я не бандит больше.

— Кто же вы такой? Уйдите, ради Бога!

— Не могу уйти, потому что, когда я увидел тебя, опять полюбил тебя. Я ведь прежде любил тебя, но издали. Я думал, что страсть моя погасла, но она вспыхнула с новой силой. О, если бы ты знала, как я полюбил тебя, как я сейчас сгораю страстью к тебе!

Он снова обнял ее, а она стояла, очарованная, неподвижная, растерянная. Он прижимал ее к себе. Начинало смеркаться. В огромном дупле дуба можно было укрыться вдвоем.

Марсель сказал Диане:

— Я требую, чтобы ты сейчас же стала моей, и ты должна мне повиноваться. Я не простой бандит. Я теперь глава шайки.

Слезы потекли из глаз Дианы, но она, словно охваченная пламенем какого-то нового атанора, не могла оттолкнуть от себя молодого человека.

Но едва она опомнилась, как убежала со всех ног на ферму, к доктору Фиденциусу.

Всю ночь ее била лихорадка, она не могла заснуть и сидела на лестнице, у входа в лабораторию. Сердце ее сильно трепетало, ей было стыдно себя; она хотела во всем признаться доктору, рассказать и покаяться.

Доктор вышел на рассвете из лаборатории и, увидев Диану, стал ее журить за то, что она не спит; язык ее не повернулся, она ни слова не могла сказать, она только поцеловала руку у доктора.

— Ты боишься, что со мной что-нибудь случится, — сказал он, — пожалуйста, этого не делай. Иди сейчас же спать. Не бойся!

Диана повиновалась и ушла в свою комнату, не произ-

неся ни слова.

На другой день она старалась рассеяться, забыть то, что с ней произошло. В лаборатории доктора дела шли успешно, опыт был налажен и обещал дать хорошие результаты; все было предусмотрено, и доктор стал позволять себе некоторую роскошь — жареных цыплят и вино. За завтраком, за обедом и за ужином Диана весело болтала, рассказывала доктору Фиденциусу анекдоты, сообщала все слухи, которые ходят в окрестностях об их доме и о них самих.

— Отчего ты сегодня не гуляла?—спросил ее доктор.

— Не хочу, — сказала она, — я теперь гулять больше не буду. Когда я уйду далеко, я сиротею. Я отрываюсь от тебя, учитель. У нас хороший сад. Зачем мне далеко уходить?

Сама она постлала доктору постель. Он пожелал Диане спокойной ночи и крепко пожал ее горячую руку.

Она ушла к себе с веселой улыбкой на губах; но, как только осталась одна, тоска охватила ее. Она вспомнила знойное прошлое, молодого бандита под пробковым дубом. Неистребимое чувство роптало в ней. Она думала о том, кто уже овладел ей.

А утром она вскочила с кровати, и ей стало досадно, что жаркие грезы не давали ей спать. Ей больно было смотреть на доктора Фиденциуса, который бодро ходил по саду с ней и рассказывал, как подтвердился его опыт.

Потом он ушел в лабораторию. Со сверкающими глазами вышел он к завтраку и опять заговорил о любви своей к Диане. Он несколько раз поцеловал ее в лоб. В ответ она поцеловала его в губы. Тогда какая-то нежная тень пробежала по его лицу и в глазах блеснуло чувство, как зарница.

Диана испугалась своей измены.

«Что, если доктор Фиденциус захочет теперь быть моим мужем? Надо ему все рассказать», — решила она, — и не могла раскрыть рта. А доктор, увлекаемый своей грезой о золоте, выпрямился, слегка отстранил ее от себя и ушел.

Диана весь день бродила по саду. Раза два она выходила из калитки, делала несколько шагов и возвращалась назад.

Минул день, минул другой. Постепенно излечивалась Диана от своего кошмара. Но когда на третий день она си-

дела на террасе, вдруг из-под лестницы, которая вела в верхнюю лабораторию, вышел Марсель, как привидение, улыбаясь, и прямо направился к ней. Она оцепенела, задрожала от страха. Он обнял ее и стал говорить, что она прекрасна, что он стосковался по ней, что никогда еще она не была так достойна его любви.

— Уйди, Марсель, — прошептала она.

— Пойдем в твою комнату, — предложил он.

В смертельном волнении она смотрела на него и чувствовала себя его рабой.

Доктор заработался в лаборатории и забыл об ужине; он удивился, что Диана не напомнила ему об ужине: обыкновенно она стучала в дверь. Было уже поздно; Диана спала. Доктор не стал ее беспокоить и без ужина бросился в постель и заснул.

Марсель стал обычным гостем Дианы. Он всегда, как призрак, являлся. Вечером, когда, простившись с доктором, она приходила в спальню, она заставала уже там Марселя.

— Скажи, пожалуйста, Диана, — начал однажды Марсель, обнимая молодую женщину в темноте теплой осенней ночи, — я вижу, что ты любишь меня, поэтому пора приступить к серьезной стороне дела. Как богат доктор Фиденциус?

Диана привстала на постели.

— Но ты сам богат! — с изумлением вскричала она. — Что тебе за дело до богатства доктора?

— У старого черта должны водиться деньги. Согласись сама, если он делает золото, то не из стружек же. Золото можно сделать только из золота.

— Чего же ты хочешь?

— Обокрасть его. Он только даром землю бременит. Ты на себе должна была убедиться, что перемены для нас нет. Мы — «рыцари Солнца» — всегда останемся одними и теми же — вечный свет! Может быть, сам я буду загребать золото лопатой, а все-таки тянет меня к золотому мешку, если он плохо лежит. Ты жила в довольстве, как настоящая барыня, и от тебя зависело выйти замуж за доктора; стала ты чиста, как лилия, а увидала меня, и куда девалась твоя чи-

стота? Захочу, и ты, как собачонка, побежишь за мной и брошишь своего доктора.

Она в ужасе замолчала, подавленная его словами.

Оставшись одна, она всячески боролась против наваждения, охватившего ее, ей хотелось стряхнуть и сбросить с себя ненавистное иго.

Кстати, Марселю она, по-видимому, надоела; он все реже и реже заходил к ней. Раз он не был у нее две недели сряду. Она тосковала, что его нет, ругала себя за то, что она такая нехорошая, неблагодарная, гадкая; и чем больше она себя ругала и сознавала свою порочность, тем нежнее становилось ее обращение с доктором и тем очевиднее было для нее, что алхимик только силой воли удерживал свою страсть к ней. Она трепетала при мысли об этом.

Прошло еще две недели. Диана стала рано уходить спать, и доктор заметил это. В этот вечер она опять ушла, едва они поужинали. Глаза ее были печальны, руки дрожали, у нее был жар.

Доктор Фиденциус не сомневался, что Диана любит его. Он посмотрел ей вслед. Сердце его сжалось. Проходят дни, месяцы, пролетят годы... Конечно, «тысяча лет» слишком большой срок!

Он был в прекрасном настроении. В лаборатории совершились чудеса. Философское яйцо удалось, как никогда. Охладив золотые дрожжи, он убедился, что они обладают цветом, какой надо. Взрыва теперь не будет.

Может быть, если бы он не привел тогда в лабораторию Диану, которая отвлекла его уже тем, что он засмотрелся на ее лучистые глаза и заговорился с ней, — атанор уцелел бы. Он решил довести до конца свой последний опыт в полном одиночестве.

Заперевши дверь на замок, он раскалил горн. Атанор зажужжал, как пчела, как шмель, заревел, как бык. В кипящий свинец был брошен философский камень. Долго следил доктор за термометром, смотрел на часы, считал минуты и секунды. Оставался еще час. Атанор стал стонать, точно умоляя о пощаде.

Доктор Фиденциус погасил огонь.

Крышка была снята с тигеля. Страшный жар распространился в лаборатории.

Серый металл стал желтым.

Доктор Фиденциус завыл, как сумасшедший. Взявши щипцы, он схватил кусок металла и бросил его в холодную воду. Проба убедила его, что перед ним настоящее золото.

— Диана! — закричал он. — Диана! Я сделал золото!

Быстро отпер он дверь и спустился по лестнице. Сердце его чуть не разрывалось от счастья. Он весь мог отдаться Диане и положить к ее ногам миллиарды.

Он знал, что было очень поздно. Но ему захотелось прийти к Диане, поделиться с ней своим счастьем и своей любовью— светлым праздником души.

Вбежав с нечеловеческой радостью в комнату Дианы, он закричал:

— Диана! Милая Диана! Моя царица! Наконец!..

Но слова застыли на его губах, глаза его широко раскрылись. Кровь внезапно застыла в сердце. Диана, превращенная философским камнем его любви в непорочное существо и долженствовавшая разделить вместе с ним славу его гениального открытия, была в объятиях какого-то молодого человека, который крепко спал.

Диана проснулась и со страхом увидела учителя; а он, бледный, с головой, опущенной на грудь, повернулся и, не говоря больше ни слова, поднялся опять по лестнице и заперся в лаборатории. Глухие рыдания потрясли его грудь.

— Ах! — вскричал он. — Если Диана опять стала тем же созданием, каким была до встречи со мной, то на что мне и ей золото? Пусть и это золото станет тем, чем оно было. Измена в начале жизни, измена в конце. Не существует блаженства в мире!

Несказанная грусть терзала доктора, он неподвижно просидел у стола, охватив руками голову.

Начинало светать. Поднялось солнце. Только тогда он пришел в себя.

В раскрытое окно он смотрел на лучезарный горизонт; далеко на зеленых полях уже работали крестьяне, склонившись к земле. Какое жалкое зрелище — зрелище челове-

ской бедности и рабства!

Дверь открылась. Вошла Диана, с лицом, измученным от бессонницы, и бросилась к его ногам. Он не оттолкнул ее, он продолжал смотреть в окно.

— Учитель, я недостойна твоего прощения, — начала Диана, обнимая его колени, — позволь мне умереть.

Он почувствовал к ней бесконечное сострадание. Оно было гораздо больше того, которое он только что испытывал к работающим крестьянам.

Доктор положил руки на голову Дианы.

— Я открыл золото, — сказал он ей, — я сделал золото. Опыт удался. Возьми его и унеси с собой, и уходи из моего дома. Будь счастлива и богата с тем, кого ты избрала. Я устал, я бесконечно устал жить и верить в людей. Никогда больше ни один фунт золота не будет сделан в моей лаборатории.

Максим Формон

НЕДОСТРОЕННЫЙ ЗАМОК

Не доезжая Позилипп, неаполитанец остановил экипаж и, указывая кнутом на мрачное сооружение, поднимающееся над морем, сказал:

— Замок донны Анны!

Эта простые слова заинтересовали обоих путешественников. Замок донны Анны! Это звучало таинственно. Кто же была донна Анна? Принцесса, чья-нибудь знаменитая возлюбленная, героиня поэтической или кровавой легенды? Замок донны Анны! Без видимой причины эти слова вызвали в воображении трагическую историю. Казалось, за этими потемневшими от времени стенами бродит по большим, богато убранным залам высокая женщина с гордой осанкой и бледным лицом инфанты Веласкеса. Комнаты молчат, а зеркала вздрагивают, принимая ее отражение в холод своего стекла.

— Замок донны Анны.

Неаполитанский залив под голубым небом синел двумя неравными цветами. Одна часть его была цвета бирюзы, другая бархатистая, темно-синяя. Дрожь пробегала по воде, как по женскому телу, и покрывала ее перламутровой рябью. У подножия Везувия белели города, обрисовывались силуэты Сорренто, Капри и вытянувшейся во всю длину Искии...

— Этот замок никогда не был достроен, — сказал *vetturino**.

Это было видно. Таинственное жилище казалось прекрасным неоконченным произведением. Но в таком виде оно больше говорило душе, чем развалины. Среди красот природы это сооружение представляло как бы символ человеческих судеб, такое же неоконченное, как наша жизнь. Взгляду невозможно было оторваться от него. Забывался блеск дивной природы Неаполя, гор, грезящего залива ради этого мертвого замка, готового рухнуть в море, как тяжесть темного прошлого.

Но почему же он недостроен?

* Кучер, возчик (*ит.*).

Путешественники были захвачены этой картиной. В особенности леди Клэр. Со склоненной вперед головой она точно прислушивалась к чему-то. Слышала ли она зов, быть может, самой донны Анны из глубины этого мертвого жилища?

— Милый, я бы хотела, чтобы этот замок был моим, — сказала она мужу.

Лорд и леди Клэр совершали свадебное путешествие по Италии. Их шотландский замок казался им недостаточно прекрасным для их любви. А между тем, он был окружен прелестными озерами, тенистыми лесами, горами, на которых возвышались древние развалины.

Но все это было им слишком знакомо. Их обновленные души искали перемены. Они видели Венецию — город мечты и Равенну — город смерти, наслаждались прелестью Умбрии и дивным часом Ave Maria во Флоренции. Очарованные величием римской Кампании, они, наконец, приехали в Неаполь. Здесь они жили уже неделю, наслаждаясь звуками серенад. Опыненные светом, ароматом и звуками, они теперь чувствовали потребность отдохнуть. Прелестные виллы, сады которых каскадами спускались к сверкающему морю, не удовлетворяли их избалованного вкуса. Слишком были эти роскошные гнездышки похожи одно на другое.

Но они увидели недостроенный замок, выступавший из моря, подобно призраку, замок донны Анны, похожий на склеп. Леди Клэр вдруг почувствовала то странное обаяние, какое все грустное имеет для счастливых людей, и сказала:

— Я хотела бы, чтобы этот замок был моим.

* * *

Это было много веков назад. Испанцы царили в Неаполе. Представителем Филиппа II был герцог Медина-Сидония, друг и любимец министра Оливареса. Медана, по любви или из политических соображений, попросил руки знатной неаполитанки, донны Анны Караффа. Она ответила со-

гласием, полная гордости стать женой вице-короля, и отказала своему бывшему жениху, у которого не было ничего, кроме его любви. Герцог был горд и прекрасен. Он притеснял народ большими налогами, но зато украшал город: построенные им триумфальные ворота до сих пор вызывают восхищение иностранцев. Чтобы свадебный подарок был достоин его невесты, он решил выстроить для нее замок на берегу моря и работали над ним четыреста рабочих. Быстро поднималось над морем здание, и этот каприз влюбленного принца поражал весь Неаполь своей красотой. Чтобы отпраздновать открытие замка, не стали дожидаться окончания постройки. Герцог пригласил весь двор и неаполитанскую знать, как только были окончены парадные залы. Сама вице-королева открыла бал. Под ярким светом люстр сверкали драгоценные камни. Казалось, в Неаполь была перенесена ночь Эскуриала. Медина был подобен богу на Олимпе и опьяненная исполнением своей мечты донна Анна торжествовала.

Все это длилось недолго. Оливарес пал, а с ним и его любимец. Надо было ехать в Испанию, чтобы оправдаться перед королем. Донна Анна осталась с родными. Пышные покои не подходили к ее настоящему положению, и она покинула недостроенный замок, бывший, быть может, причиной катастрофы. Народ не мог помириться с роскошным замком, построенным на его кровные деньги, и его жалобы дошли до короля. Дойна Анна уехала в Портичи, но прожила там всего несколько месяцев. От горя и унижения она скоро умерла жертвой проказы, от которой умер позднее сам Филипп II.

Развенчанная королева! Разбитые мечты! Недостроенный замок!

* * *

Желание леди Клэр исполнилось: она стала хозяйкой фатального для бывших владельцев замка. Лорд Клэр радовал-

ся, что ей чего-нибудь хотелось — это случалось так редко. Красивая, богатая, любимая, она равнодушно отдавалась течению жизни. Казалось, само счастье ей в тягость и она в этой жизни только мимоходом. Кроме любви мужа, она не видела и не искала ничего. Ее равнодушие ко всем радостям жизни смущало лорда Клэр. Он видел в этом печать, налагаемую на существа, остающиеся недолго на земле и как бы хранящие свои страсти и мечты для другой жизни. Доктора определяли ее состояние более здраво: по их мнению, у Джорджины был порок сердца. Они утешали испуганного мужа, что с этой болезнью живут очень долго, но он постоянно опасался за жизнь любимой женщины. Поэтому желание Джорджины было для него дважды свято. Он сейчас же вступил в переговоры с неаполитанским банкиром, владельцем замка. Этот очень скоро согласился на его предложение, так как бедняки, ютившиеся в королевских хоромаш, не приносили ему больших доходов. В один сентябрьский вечер леди Джорджина переехала с мужем в замок донны Анны.

Они пообедали в большой, зале, освещенной свечами в массивных канделябрах. Летучие мыши, возбужденные жгучим сирокко и ослепленные ярким освещением, кружились у окон, стучаясь тяжелыми мягкими крыльями. Из соседнего кабачка, где пировали рыбаки, доносились звуки музыки. После обеда леди и лорд Клэр отправились в спальню. Ее стены были голы, веяло запустением могилы и запахом плесени все еще держался в воздухе. Кроме большой кровати и кресел шестнадцатого столетия, здесь не было никакой мебели. Любовь была заключена здесь, как в склепе, и ласки становились еще более жгучи. Звук прибой напоминал вздохи груди, стесненной приближением грозы.

Море тихонько укачивало замок и слишком широкое и торжественное ложе супругов. В сумерках сна леди Клэр, спавшей рядом с мужем, понемногу начал обрисовываться силуэт женщины. Тяжелые ткани роскошной одежды точно давили ее плечи, и она медленно шла по огромным залам, вверх и вниз по лестницам. На застывшем лице ее было выражение бесконечной горечи. Казалось, ее глаза, пол-

ные невыплаканных слез, скатятся по щекам, как растаявший жемчуг. Донна Анна... Она вдруг остановилась около леди Клэр и сказала с упреком:

— Зачем ты здесь? Зачем завладела моим домом? Этот недостроенный замок был могилой моей гордости и любви. Я любила возвращаться сюда в час, когда около окон кружатся летучие мыши. Я была рада, что мой замок остался пустым и безмолвным. Разве ты не знаешь, как ревнивы мертвые? А ты, гордая, пришла сюда со своим счастьем. Я мирилась с бедняками, ютившимися по щелям стен, как замёрзшие насекомые — их я не замечала. Но тебя, счастливую, красивую и богатую, я не потерплю в моем замке. Я не хочу, чтобы ты спала в комнате, где мы с Мединой любили друг друга, я не хочу, чтобы ты сидела у окна, через которое я смотрела, как уходят королевские корабли под звуки пушек. Я не допущу, чтобы ты разбудила замок, который должен остаться мертвым после моей смерти. Замок, которым я владела неоконченным, не достроит другая. Ты мечтала об этом святотатстве. Ты умрешь.

Донна Анна подняла прозрачный палец, украшенный рубинами.

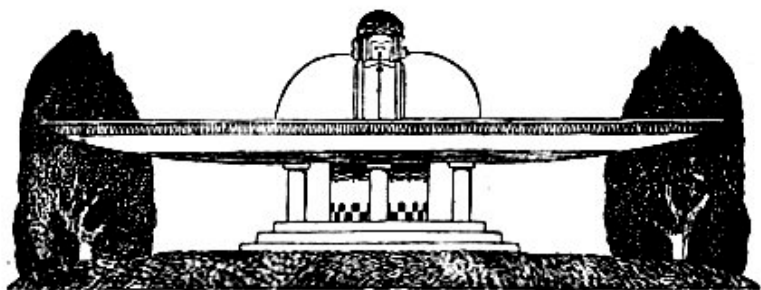
Палец дотронулся до груди леди Клэр в том месте, где билось ее сердце и, точно огненный, вонзился в нее.

Проснувшись, лорд Эдвард Клэр нашел Джорджину холодной, как лед. Она умерла, пока он спал.

— Разрыв сердца, — определили доктора.

Рихард Фосс

МЕРТВАЯ СОПЕРНИЦА



МЕРТВАЯ СОПЕРНИЦА.

Следует ли мне писать предисловие к этому рассказу?

Нахожу, что нет, так как сам по себе он и есть предисловие.

Он вводит нас в тот таинственный, неразгаданный нами мир, о котором мы ничего не знаем—«ничего не можем знать».

Если же кому-нибудь из нас все-таки удалось бы приоткрыть эти мрачные двери, если б удалось уловить момент, когда темная, таинственная завеса чуть-чуть приподнимется и молния откровения на мгновение осветит непроглядную тьму, тогда поскорее закройте глаза, отступите в ужасе, отвернитесь от страшного зрелища...

Я лично тоже хотел отвернуться, но не смог и успел заглянуть в мир мертвецов, привидений и ужасов...

Сделал я это, однако, не безнаказанно, и этим я приобрел себе право посоветовать, предостеречь: не пытайтесь проникнуть в тот таинственный мир, отойдите, бегите!

Что касается медиума, названного мной в этом моем рассказе Ассунтой де Марчис, то считаю нелишним упомянуть, что с этим именно, медиумом у меня связан ряд воспоминаний о происшествиях, крайне необыкновенных, сверхъестественных, невероятных. То, что я пережил, нужно именно «пережить», поверить, а потому я и не удивлюсь и пойму, если мне ответят: «Я этому не верю», разве только на будущее время не осмелюсь поднести моим уважаемым, милым, не верящим мне читателям вторую, а тем паче третью «страшную историю».

Рихард Фосс

Замок Лабер, близ Мерана, весной 1908 г.

Случилось это в очень далекие времена, в Риме, — где я часто и охотно посещал местную скандинавскую колонию. Познакомился я и с Ибсеном, подружился и со Стефаном Синдингом*, но особенно привлек меня молодой блондин-датчанин. Звали его Гаральдом. Он был сыном гениальной матери, гениального отца, да и сам он был художником и музыкантом; но все это духовное наследие родителей легло на него каким-то проклятием.

Чувствительность и нервность его доходили до чего-то патологического; скажу более: во всю свою жизнь он ни на один день не был вполне здоров. С сурового севера он отправился на юг, ища там облегчения, только облегчения, а не исцеления, так как на него он не надеялся.

Вспоминая о нем теперь, через много, много лет, я не могу не признаться, что он был одной из милейших личностей, когда-либо встречавшихся мне.

Да и сама внешность его была в высшей степени привлекательна: высокий, стройный, словно молодая береза, береза его далекой северной родины.

Все на нем было светло: и волосы, и лицо, и глаза, и душа...

Особенно хороши были его глаза: большие, ясные, мечтательные глаза художника, а душа у него была детская, еще не тронутая людской пошлостью, но изведавшая и страданий, и печали, и горя. Над всей этой светлой личностью носился какой-то таинственный, необъяснимый призрак тоски и меланхолии. Видно было, что он пережил что-то тяжелое, что-то такое, что не забывается во всю жизнь; что-то, от чего захворала его душа, и захворала неизлечимо. Весь он производил впечатление прислушивающегося к мелодиям каких-то незримых хоров внутри себя. Нельзя было не любить его... Женщины не могли не любить его, а между тем, казалось, он их и знать-то не хотел.

Слушать его игру я мог, не отрываясь, часами; его музыка — была его речь; его музыка была воплощением его

* С. Синдинг (1846-1922) — норвежский и датский скульптор, работавший в основном в Дании.

самого. Даже руки его были самыми необыкновенными руками из всех виденных мною артистических рук: стройные, нервные, страдальческие, бледные — они производили впечатление бескровных. На безымянном пальце правой руки он носил тоненькое золотое кольцо с огромным, великолепным рубином, красневшим на его бледной руке, словно капля крови.

Гаральд был в Риме впервые, и, казалось, красоты Рима его совершенно опьянили. Все было чудно, великолепно: и маститая, величественная красота этого города, и солнце его, и небо Рима, и цветы его, и любезность и привлекательность его жителей, жизнерадостность и свободная простота римских художников, словом — все восхищало его. Восхищало бы, быть может, и более, не носи он в сердце своем неутомимую печаль, печаль, составлявшую тайну для всех, даже для меня, человека, с которым он был почти неразлучен.

Обратил я внимание и еще на одну странность: при моих посещениях я постоянно находил у него в чудной венецианской граненой вазе — ветку дивных белых роз. Этот бледный цветок как нельзя более подходил к мистической музыке, к бледным, прозрачным рукам Гаральда, к его таинственной печали. Это был, именно, — *его* цветок. «Вечный город» в то время уже не был «папским» Римом, но в то же время не успел еще сделаться модным, так называемым «*Roma nuova*». В то время между Тибром и Монте Марио тянулись зеленые луга, на которых римляне справляли свои сельские праздники; в то время на амфитеатре Колизея еще росли кусты диких роз и иных цветов, да, наконец, на меня лично в те далекие времена днем напали разбойники, и я только случайно не был сброшен ими в пропасть с «золотого дома Нерона». Невзирая на все это, Рим уже не был городом св. Петра; царствовавшая здесь две тысячи лет католическая церковь склонила свою победную голову, и даже поговаривали: «Святой отец в Ватикане не что иное, как узник».

Сильнее, нежели красота и солнце Рима, на впечатлительную натуру Гаральда действовало мрачное великоле-

пие побежденной римской церкви. Он не пропускал почти ни одного церковного празднества, ни одной мессы, ни одного богослужения. Он обладал поразительными познаниями по части разных святынь, водился со священниками и монахами, страстно интересовался катакомбами, бежал толпы и веселья и проводил все свои досуги в стариннейших базиликах — особенно св. Климента и св. Лоренцо. Все это вместе взятое еще более мрачно настраивало его предрасположенную к мистицизму натуру. Говоря откровенно, я был сильно озабочен судьбой Гаральда.

Как раз в это время в Риме заметно стало сильное увлечение спиритизмом, в особенности же среди интеллигенции было много убежденных спиритов. Во главе этого «движения» стоял знаменитый художник. В его отделанной с изысканной роскошью и вкусом загородной вилле близ Перта Пиа происходили сеансы, о которых вскоре заговорил весь Рим. Сеансы эти в вилле С. вскоре сделались научными... Помнится, я впервые услышал благозвучное имя Ассунты де Марчис именно из уст друга моего, Гаральда. Меня тогда же, помнится, поразила сама его манера произносить это имя — произносил он его, словно строфу песни, к которой он сам придумал мотив, с какой-то слишком уж мечтательной, мягкой, зачарованной полуулыбкой. И улыбка эта, и мечтательное выражение появлялись у него всегда, лишь только он заговаривал об Ассунте де Марчис.

— Она страшное существо... я никогда не допускал и мысли, что такие существа водятся на свете... я был очевидцем таких вещей... таких!.. Бедный мой земляк, Гамлет, был тысячу раз прав, говоря, что между небом и землей есть вещи, которых не может постигнуть человеческий ум... да он и не должен постигать, он должен только верить...

— Должен?..

— Ты спрашиваешь меня, словно Фауст Маргариту. Говорю тебе: ты должен верить! Если бы ты хоть раз решился присутствовать на одном сеансе, то ты понял бы меня.

Я ответил ему, что и без этого понимаю его, что эти вещи, к сожалению, свойственны его натуре. Сказал я ему и то, что я, к ужасу своему, заметил, что весь этот вздор нашел

в нем благодарную почву, утверждал, что виноват во всем Рим, в котором он, вместо желанного исцеления, нашел свою гибель.

Закончил я свою тираду восклицанием:

— Хоть бы ты раз в жизни по-настоящему влюбился, как полагается юноше твоих лет. Да, наконец, разве в Риме это так трудно? Наоборот, трудно пройти мимо и остаться равнодушным перед прелестями прекрасных римлянок, да еще такому Адонису, как ты! К тому же, у тебя еще и другой ореол — ты художник. Ну, сознавайся, отчего ты не влюбляешься? Как тебе не стыдно! Разве ты не замечаешь, какие сплошь да рядом чудные глаза следят за тобой?

Выслушав мое нравоучение, он чуть-чуть приоткрыл мне уголок своей души: он не мог влюбиться, говорил он, никогда в жизни: он полюбил навеки...

... — Прекрасно! Желаю тебе счастья, голубчик. Но почему же ты, в таком случае, так мрачен? От блаженства ты должен ликовать, вся жизнь твоя должна была бы быть сплошными дифирамбами на жизнь и счастье. Ну, что вы скажете — вот где скрывался хитрец!

— Я люблю мертвую.

Он произнес эти слова таким образом, что я, как говорится, онемел... мне казалось — он бредит. В глазах его светился какой-то неземной, «нездешний» блеск...

— Я навеки связан с ней, — продолжал он, — посмотри, вот, это мое обручальное кольцо... у нее — такое же... кольца наши похожи друг на друга так, что их не различишь, то же и с нашими душами!..

С этими словами он поднял руку, держа ее на свету... она, эта рука, показалась мне какой-то бесплотной, прозрачной... единственное реальное на ней было тоненькое золотое кольцо с огромным рубином, который сверкал и переливался каким-то особенным, таинственным блеском.

Сев за рояль, он заиграл... пред ним благоухала белая роза, на которую он, не отрываясь, глядел...

Звали ее Мэрид Астон, — рассказывал он мне, — будучи мальчиком, он узнал ее и полюбил. Она была дочерью старого, закаленного моряка, родилась на море и любила

эту грозную, но родную стихию, словно чайка. Жила она уединенно, словно царевна в сказке, на крошечном острове, управителем которого был дед Гаральда. Мать ее умерла от чахотки... и все знали, что и Мэрид умрет от той же болезни и умрет очень молодой. Знала это и она сама. И чем ближе подходила она — эта смерть — тем горячее, тем сильнее любила она и небо, и море, и солнце, и красоту окружавшей ее природы, и своего белокурого сверстника, который, в свою очередь, если это только возможно, любил ее еще сильнее, еще горячее. Невзирая на отказ родителей, молодёжь обручилась, когда молодой девушке минуло шестнадцать, а Гаральду восемнадцать лет.

Кажется, ни до, ни после них такой странной четы не было на белом свете. Их можно было сравнить разве только с песней, простой, бесхитростной, трогательной и грустной народной песней...

На пустынном, суровом острове, который обвевала буря да обдавали своими брызгами волны, рос только один розовый куст. Куст этот был до известной степени маленьким чудом — кусту этому было более ста лет, и летом он весь, словно снегом, был покрыт дивными белыми розами... белую розу только и знала Мэрид Астон, других цветов она не видела на своем мрачном каменистом острове. Сама она являлась воплощением этой белой розы. Умерла она, когда розы цвели... и в гробу она лежала, вся покрытая этими цветами. Нынче осенью куст завял, засох, погиб... после смерти Мэрид Астон на острове том нет более цветов... роза погибла...

Умирая, она сказала Гаральду, что она увидится с ним, и не только там, в загробном мире, но здесь... и вот этого свиданья, обещанного свиданья с горячо любимой невестой, Гаральд ждал.

— Я жду его... и обещание свое она исполнит скоро, очень скоро свершится чудо... ты понимаешь?!..

Говорил он это с таким выражением в глазах, с такой интонацией...

Я все более и более начинал постигать его... так вот откуда исходит этот мистицизм, это увлечение спиритизмом,

это нравственное преображение; никогда в жизни я не забуду улыбки, с которой мой друг заявил мне, что имеет основания предполагать, что ему недолго теперь ждать свидания с Мэрид...

Тут я прервал его игру; я просил, умолял его опомниться, я уверял его, что он идет к своей гибели...

— То есть, ты хотел сказать, к моему спасению, моему счастью...

— Разве ты так подчинен этому медиуму? Надеешься ли при его помощи увидеть Мэрид?

— Да... надеюсь увидеть ее при помощи Ассунты де Марчис.

— Значит, ты посвятил это чужое тебе существо в свою тайну?

— Представь себе, я ей не сказал ни слова; она заранее знала все.

— Как! Эта Ассунта?

— Повторяю: все решительно. Она назвала мне имя Мэрид, она сказала, что Мэрид умерла, но что душа ее витает около меня; она передавала мне вести из того таинственного мира, скажу более — она перевоплощалась в Мэрид...

— Это — горячечный бред! — вне себя воскликнул я.

— Это — истина, действительность!.. Несколько дней тому назад я впервые после смерти Мэрид увидел ее руку — эту маленькую, бледную, беспомощную детскую ручку! Я тотчас узнал ее. Да, если бы я почему-либо и не поверил тому, что это — она, то сомнений не могло быть уже хотя бы только потому, что у нее на руке — мое кольцо, так же, как у меня — ее. Ты не согласишься, как сверкал рубин! На ее руке он сверкал так ярко, словно в могиле получил свойство гореть каким-то особенным, кровавым пурпуром... и рука эта коснулась меня — только ее рука могла так мягко, так нежно, так тихо коснуться моей щеки, моего лица — в этом прикосновении было что-то неземное...

Глянул я на него, вижу перед собой лицо не то лунатика, не то ясновидящего. Выражение его лица меня еще более расстроило.

— Ты болен, — говорю ему, — не в виллу у Порты Пиа, а

к специалисту по нервным болезням я отправлюсь с тобой.

Но все это ни к чему не привело. Я не имел никакого влияния на него.

Придя к нему на следующее утро, я не застал его дома.

Жил он на пьядца Барбарини у симпатичнейшей старой четы, очень любившей своего квартиранта.

Со свойственной итальянкам говорливостью хозяйка сообщила мне, что как раз сегодня она собиралась ко мне, как к лучшему другу «бедного синьора Аральдо». Одна она ничего не могла придумать. Постоялец ее с каждым днем становился все более странным, бледным, молчаливым... все это с тех пор, как его стала навещать эта девушка из Ка-лабрии...

— Как! Ассунта де Марчис приходит к нему?

— Да, каждый день. Каждый день приносит она ему ветку белых роз... и он ждет ее, постоянно ждет, ждет, как... О, синьор Риччардо!

Она провела меня в комнату Гаральда. В венецианской вазе, по обыкновению, красовалась белая роза, распространившая вокруг себя свой чудный аромат, но, странное дело, казалось, что аромат исходил не из этой небольшой ветви, а от бесконечной массы этих бледных цветов. Он наполнял всю комнату, он опьянял, мне стало душно, не по себе, — я распахнул дверь, ведущую на террасу — против меня высился гордый, великолепный палаццо Барбарини.

Много лет спустя в квартире Гаральда жил Фридрих Ницше, здесь же написавший своего «Заратустру».

Когда добродушная хозяйка Гаральда немного успокоилась, я попросил ее рассказать мне свои наблюдения о «бедном синьоре Аральдо».

— Она приносит ему белые розы, — заговорила хозяйка, — а он играет на рояле, но играет он, синьор Риччардо, как святой! Тогда она неподвижно стоит, вот здесь, на террасе, и слушает, слушает, словно зачарованная... словно музыка его виновата во всем, а мне так кажется, что виноваты во всем его светлые кудри, да голубые глаза... это ужасное существо!..

— Почему ужасное?

— Вы не знаете ее?

— Нет. Но я слышал о ней. Она, ведь, кажется, еще молодая?

— Очень молодая.

— Красива она?

— Странная какая-то красота. Если вы ее никогда не видели, то, пожалуй, и не поверите... Она и на женщину, и на человека-то не похожа.

— Что ж, по-вашему, она похожа на привидение?

При этих словах я постарался улыбнуться; но она меня сейчас же серьезно остановила:

— Хотя вы и не христианин, синьор Риччардо, так как вы ведь протестант, но, наверное, и вы слышали о дочери Иаира... Это была нехристка, которую Спаситель воскресил из мертвых. Так вот, когда дочь Иаира воскресла, то, наверное, выглядела так же, как это странное существо, которое, к тому же, влюбилось в вашего бедного друга.

— Как! Ассунта де Марчис влюблена в Гаральда?

— Да и как еще влюблена! Так влюблена, что от любви способна убить его... а он не видит этого, не замечает, а знай себе играет ей на рояле, и так играет, как на Пасху в церкви св. Климента, знаете, когда идет «Miserere». Что ни говорите — быть несчастью!

Быстро повернувшись, я отправился в комнату Гаральда и наскоро набросал карандашом на клочке бумаги, что был у него, чтоб просить при случае ввести меня к своим знакомым на вилле у Порто Пиа; я желал во что бы то ни стало познакомиться с Ассунтой де Марчис.

Обещав озабоченной женщине сделать все, от меня зависящее, чтобы отвратить предсказанную ею беду, я удалился с тяжелым предчувствием в душе.

Я был взволнован и возмущен...

Возмущала меня, между прочим, и эта ветка белых роз, которую она ежедневно приносила Гаральду; ветка роз, опьянявшая своим необыкновенно сильным ароматом... все это было рассчитано, все было грубым обманом... очевидным обманом; только один Гаральд ничего не видел, не замечал. Теперь я намеревался беспощадно открыть ему глаза,

чтобы он и заметил, и понял.

Явился он ко мне в тот же вечер, радостно возбужденный, благодарный за то, что я так скоро согласился исполнить его просьбу.

Но я сразу разочаровал его:

— Согласен, я сопровождать тебя вовсе не ради «чудесного», показать которое ты мне обещал, на сеансе присутствовать мне совсем не интересно, но иду я туда исключительно из-за медиума. Эта Ассунта де Марчис внушает мне сильное подозрение.

— Подозрение? Этот бедный, милый ребенок способен вселить подозрение?

— Ты называешь ее ребенком?

— Я говорю только то, что есть на самом деле. Представь себе: ей всего только восемнадцать лет — то есть ровно столько же, сколько было Мэрид; и такая же она нежная, хрупкая, как моя Мэрид... ты ее примешь за ребенка, да она и на самом деле ребенок, и ребенок несчастный, так как бесконечно страдает от чудесных медиумических свойств своей натуры... да, вообще, она поразительно напоминает мне Мэрид.

— Еще бы! Ведь, и Мэрид было восемнадцать лет, когда она умерла...

— Нет, не потому... тут другая причина, которой я объяснить не умею... На сеансах Ассунта страшно страдает... и в такие минуты она поразительно похожа на Мэрид, на умирающую Мэрид. Понимаешь ли ты меня?

Я сознавал, что это грубо, пошло с моей стороны, но умышленно я прибегнул к этому средству, думая им произвести на него впечатление, что называется — расхолодить его, а потому я сразу насмешливо уронил:

— Ну, будем надеяться, что эта Ассунта не умрет, невзирая на то, что она смертельно в тебя влюблена.

— Влюблена? Ассунта! Влюблена в меня?..

— Да, а потому берегись. Ты не знаешь этих южанок... даже такие «милые, бедные дети» становятся дикими, необузданными женщинами, иногда становятся убийцами... ты, наконец, не можешь не согласиться, что совсем уже

не вяжется с существующими правилами хорошего тона порядочной молодой девушке посещать молодого человека.

— Ты и это знаешь?

— Она каждый день приносит тебе белые розы.

— Это Мэрид шлет мне их...

В эту минуту он, однако, думал не о розах Мэрид, а о любви Ассунты.

— Как можешь ты утверждать, что Ассунта любит меня? — высказал он вслух свою мысль. — Она вовсе не может любить. Женщина, призванная исполнить такое назначение, застрахована от увлечений и любви.

Я заметил, что слова эти он произнес, весь дрожа, словно в лихорадке, бледный, взволнованный. Белые розы, стоявшие тут же и принесенные медиумом Гаральду якобы от его умершей невесты, меня окончательно вывели из себя.

— Это розы с пятачка ди Спанья, которые она покупает за несколько сольди, и этими-то розами она тебя нагло обманывает.

Гаральд только улыбнулся.

— Это розы неземные, — объяснил он спокойно. — Разве обыкновенные розы так благоухают?

Только розы из другого, нездешнего мира могли издавать такой аромат... И вот, из другого мира ему их и присылали. Все это он произносил так просто, так естественно, так убежденно.

Одна мысль не давала мне покоя: ему надо помочь, его надо спасти. Но как сделать это? Как уличить лгунью, обманщицу?! Что эта Ассунта де Марчис не что иное, как обманщица, казалось мне, безумцу, неоспоримым. У Порта Пиа нас охватила тишина. Я облегченно вздохнул... эта шумящая, торопливая, банальная толпа энервировала меня, энервировала еще более с той минуты, когда я заметил в глазах моего друга вспыхнувший огонек несомненного безумия.

Я принял непоколебимое решение во что бы то ни стало добиться разгадки этой тайны, и это решение, вместе с царившей в этой части города тишиной, значительно успокоил меня.

Такой контраст мыслим только в Риме: только что нас окружала толпа мирового города, теперь же здесь царила «тишина кладбища». Из улицы Номентана мы свернули направо, в переулок и, миновав несколько больших светлых домов, остановились перед мрачными, темными воротами.

На условный стук висевшим тут же железным молоточком ворота бесшумно распахнулись.

Мы вступили в темный, усаженный лавровыми деревьями и кипарисом парк.

Мы шли молча. Вдруг среди непроглядной тьмы на поляне обрисовалось белое здание с колоннами.

Тишина вокруг царила, словно на кладбище, от времени до времени до нас доносился злобный лай собак, пасших, вероятно, поблизости стадо.

Дивный вестибюль: мрамор, гобелены, статуи, картины, старинная утварь, драгоценные ткани. Далее, целый ряд покоев, убранных с тем же великолепием.

Яркого освещения — нигде, везде мистический полумрак. И ступали мы как-то бесшумно, не нарушая царившей тишины, — ноги наши тонули в мягких, пушистых коврах. В полусвещенных углах виднелись белые мраморные статуи. Кругом — ни души, даже ни один слуга не встретился нам. Шел я, предшествуемый Гаральдом, чувствовавшим себя в этом прекрасном, но старинном здании, как дома.

Меня представили хозяину дома... Это был высокий, стройный человек с изящным, бледным лицом, темными волосами и бородой.

Знаменитый художник встретил меня очень вежливо, но сдержанно.

Зала, в которой мы находились, освещалась лампой-фонарем голубого хрусталя, спускавшейся с деревянного потолка. Единственное украшение составляла огромная картина, изображавшая воскресшего из мертвых Сына Божьего, являющегося трем Мариям.

Белые одежды Воскресшего как-то странно выступали из рамки в таинственном полумраке, царившем здесь. Поднятая правая бледная рука как бы говорила: «Это — Я. Веруйте!»

Хозяин дома подошел ко мне.

— Ассунта сейчас придет... Потрудитесь занять место... вправо от нее. Возьмите ее руку. Вы должны положить руку медиума на стол и во все время сеанса держать руку на столе, но не слишком сильно сжимать ее. По другую сторону стола помещаюсь я — и контролирую. Говорю «контролирую», ибо я желал бы убедить вас в том, что Ассунта де Марчис не обманщица, как вы, видимо, полагаете... Осмотритесь, пожалуйста, внимательнее. Для этих именно заседаний из залы убрана вся мебель.

Сядем мы за этот стол, лампа будет гореть; нам не нужно, чтобы в комнате было темно, мы не нуждаемся в приготовлениях.

Все эти объяснения мне давали вполголоса, в вежливом, но в высшей степени холодном тоне.

Я молча поклонился.

Мы ждали. Нужно сознаться, мне приходилось делать невероятные усилия, чтобы сохранить до конца свое спокойствие. Я хотел, я должен был остаться холодным наблюдателем. Гаральд стоял рядом со мной; но его учащенному дыханию я понимал, что он волнуется. Вдруг он вздрогнул. Тотчас от стены отделилась тень и не пошла, а как-то порхнула, поплыла к нам. Это была Ассунта де Марчис.

Голубоватый свет лампы придавал и фигуре ее что-то неземное, и бледному личику синеватый, страшный оттенок.

«Словно дочь Иаира после того, как Иисус воскресил ее из мертвых», — вспомнились мне слова хозяйки, и я не мог не согласиться, что лучшего сравнения нельзя было придумать. На самом деле она казалась, действительно, ребенком: маленькая, нежная, хрупкая — словно фигурка, выточенная из слоновой кости. Одета она была в плотно облегавшее ее черное платье, на голову была накинута белая козырька — как на некоторых картинах изображается Богоматерь... Ярko выступало лишь лицо. На этом молодом, белом лице темнели одни глаза — большие, широко открытые, мерцающие, сверкающие глаза. Это были глаза сомнамбулы, ясновидящей, безумной.... И страшные глаза эти, глаза

воскресшей из мертвых, не отрываясь, глядели на юношу, глядели с таким выражением, что даже теперь, спустя тридцать лет, становится жутко. Мы оба подошли к овальному, черного дерева, столу и заняли свои места.

Тотчас же произошло нечто невероятное: Ассунта держала свою крошечную, необыкновенно бледную руку над столом, и вот, на моих глазах, стол отделился от пола, поднялся до детской ручонки моей соседки и как бы прилип к ней, вися в воздухе.

Она медленно опустила руку, и стол стал на свое место. То, что произошло далее, что я слышал своими ушами, видел своими глазами, ощущал под своими руками — не относится к этому маленькому рассказу.

Неверующим был я, неверующим оставался, неверующим по отношению всего, что касалось истории с духами, но то, что я видел сам, слышал своими ушами, осязал — в это я верил, как в нечто несомненное, реальное. Сидел я рядом с Ассунтой, рука моя сжимала ее руку. Я имел возможность наблюдать каждую черту ее лица... она, видимо, сильно страдала... мало-помалу страдания превращались в истинные мучения....

Она не отводила своих широко открытых страшных глаз от Гаральда, сидевшего против нее. Должен оговориться, что выражение его лицо, да и все существо его волновали меня более, нежели все остальное, виденное и испытанное мной. Точно в полусне видел я его лицо, лицо человека умирающего. Я хотел вскочить, закричать: «Гаральд, ты умираешь!» — но не в силах был и шевельнуться, словно меня удерживала какая-то сверхъестественная, непонятная сила.

Вдруг с уст друга моего сорвался полуподавленный стон, и вслед за тем он, словно задыхаясь от счастья, пролепетал одно только слово:

— Мэрид.

И снова, во второй и в третий раз:

— Мэрид! Мэрид!

В то же самое мгновение раздался звук, аккорд какого-то неземного инструмента. Странные звуки неслись, колыхаясь, по комнате, пронеслись над нашим столом, над на-

ми. Над столом появилась беловатая полоса, сначала едва заметная, затем все более и более определенная. Мало-помалу туманная полоса приняла вполне определенную форму руки, прозрачно-белой, бесплотной женской руки... А это что?! На безымянном пальце ясно виднелось золотое кольцо с ярким, крупным рубином... рубин переливался, словно капля крови... и вдруг по комнате распространился знакомый мне аромат тех белых «неземных» роз, запах, одурманивший меня утром в комнате Гаральда.

Я вполне ясно видел, как в бледной руке мелькнула ветка белых роз.

— Мэрид! Мэрид!

Рука привидения скользнула мимо меня, неся мистические розы Гаральду... с невероятным усилием сбросил я ощущение, охватившее меня... схватив эту страшную руку, я крепко сжал ее...

Это была не человеческая рука!

В это мгновение Ассунта де Марчис лишилась чувств.

.

Я и теперь не верю в то, что это была действительно рука умершей невесты моего друга... а слова Гамлета я испытал на самом себе... в сожалению, испытал, так как человек не должен стараться приподнять завесу, которую Божественное Провидение считало нужным протянуть между нами и чем-то, чего мы не можем, не должны постигнуть.

Забота о друге моем все более и более не давала мне покоя.

Проводил я с ним все свои досуги у него, он же, видимо, сторонился меня. Каждый вечер он проводил в «Белом доме» у Порты Пиа, и каждое утро в нему приходила Ассунта де Марчис, часами глядевшая на него, часами внимавшая его игре на рояле. Пытался я как-то раз проникнуть к нему в эти утренние часы — но на этой одной попытке все и кончилось, он просто-напросто не принял меня, не впустил.

Чтобы видеть его, мне приходилось караулить его по вечерам перед его домом.

Я провожал его до мрачных ворот, видел, как ворота эти бесшумно открывались, но войти туда во второй раз я не мог, не решался! Я боялся этой белой женской руки, которую я держал в своей и которая, я это знал, не была рукой человека.

На этих ночных прогулках наших говорил один Гаральд. Я молчал. Он говорил много и лихорадочно. Говорил только на одну тему: о близком свидании с мертвой Мэрид, свидании, возвешенном ему медиумом. Мне приходилось молча слушать его, так как теперь я не мог убедить его в том, что Ассунта де Марчис — обманщица. Да, впрочем, теперь все мои уверения и убеждения были бы бесполезны. «Что, если это обещанное свидание, действительно, состоится» — думалось мне. А в том, что оно состоится, я был почти убежден. Что станет с живым после свидания с мертвой? Что станет, именно, с этим живым?!

Все мои помыслы были направлены к тому, чтобы предотвратить это свидание... Но что было делать?.. Что делать?!..

Стукнулся я и к землякам Гаральда; но от них он за последнее время держался как-то в стороне. Посоветовался со своими друзьями — но и те не могли мне посоветовать ничего рационального.

Отправился, наконец, к знаменитому художнику, — но что мог я с ним поделаться? Это был убежденный фанатик, заявивший мне, что я не имею права удерживать от «чудесного свидания». Как последнее средство, вздумал было я обратиться к Гаральду, прося его уехать со мной из Рима, — но мне, кажется, легче было бы убедить в чем-нибудь каменную стену, нежели его.

В отчаянии я обратился к Ассунте де Марчис — медиуму.

Найти ее представлялось нелегкой задачей: она жила, точно затравленный зверь, в какой-то грязной, мрачной трущобе, у каких-то страшно бедных итальянцев.

Приютили они ее потому, что ожидали от ее сверхъестественного дара каких-то особенных чудес, а главное — ска-

зочного обогащения.

Но странное существо это, однако, упрямо отказывалось от платы за чудесные сеансы. «А ведь она могла благодаря этому разбогатеть», — сетовали ее хозяева.

Я дал им денег, прося оставить меня наедине с Ассунтой.

Просьбу мою исполнили.

Комната, которую занимал знаменитейший медиум Италии, была не чем иным, как жалкой какой-то конурой: это была, скорее, какая-то келья. Чистота в ней парила образцовая. Над покрытой белоснежным одеялом кроватью висел образ св. Клары.

При моем появлении молодая девушка, стоя на коленях, молилась пред этим образом.

«Значит, она христианка!» — мелькнула у меня мысль.

Ввиду того, что она меня знала с первого сеанса в доме художника, я без обиняков приступил к цели моего посещения: я просил ее оставить моего друга.

— Оставить?.. Что хотите вы этим сказать? — спросила она, поднявшись с колен.

Теперь она стояла предо мной неподвижно, словно статуя, олицетворенная св. Клара — на лице то же страдальческое выражение.

Возможно сдержаннее и спокойнее выразил я ей свое мнение, закончив свою тираду следующими словами:

— Этими привидениями и ужасами вы сведете его с ума, а так как вы его любите...

Я увидел, как она вздрогнула, но продолжала молчать.

— Так как вы любите его, то спасите его, — продолжал я убеждать ее. — Только вы одна можете это сделать. Оставьте в покое бедную мертвую невесту его! Пусть покоится она вечным сном в своей далекой могиле. Ведь она давно превратилась в пепел и прах. Он был свидетелем чуда, большего его ум, его мозг не вынесет. Оставьте же его в покое!

По мере того, как я говорил, она все более и более оживлялась.

Постепенно из «бедного, милого ребенка» она превра-

щалась в страстную, порывистую женщину. Не произойди все это на моих глазах, я не поверил бы в возможность подобного превращения.

— Как могу я оставить его? — вскричала она с пылающими щеками и сверкающими глазами. — Разве это зависит только от моей воли? Разве у меня есть своя собственная воля? Посмотрите же хорошенько на меня! Я только орудие, я — посредница, я — медиум.

Я исполняю лишь свое назначение. Разве вы не видите, как я страдаю? На всем свете нет более несчастного существа, чем я. Разве я до сего времени знала что-нибудь об этом чужестранце — вашем друге, которого я теперь должна спасти?

Он появился, и я должна была исполнить свою миссию. Я ничего не знала. Ничего не знала ни о нем, ни о той, мертвой... он причиняет мне неиспытанные мною доселе страдания... он и та, его мертвая невеста. Что мне до нее за дело? Я ненавижу ее. Посмотрите на меня! Разве я теперь похожа на живого человека? Мертвые, являющиеся мне и желающие свидания с живыми, — убивают меня... я отдаю мертвецам свою жизнь, чтобы оживить их для тех, которые не могут их забыть. Посмотрите, посмотрите же!

Я взглянул на нее — лицо ее было искажено, а в глазах горел тот же страшный, безумный огонек, — это был взгляд сумасшедшей. Я все-таки продолжал настаивать:

— Если вы его не оставите — он умрет. Так сжальтесь же над ним!

— А он, он имеет ли он сострадание по отношению меня? — как стон раненого зверя, сорвалось с ее дрожащих губ.

— Почему должен он иметь сострадание к вам? — резко произнес я, хватая ее за руку.

— Потому что я люблю его... потому что он это не видит, не чувствует... потому что он своим холодом убивает меня. Он любит только ту, мертвую. Он любит ее так же безумно, как я его. Теперь вы понимаете мои страдания?

Если б эта Мэрид Астон была жива, и находилась она хоть на краю света — я стала бы искать ее; если б она спряталась от меня на дне пропасти, то я и там нашла бы ее... а

если б нашла, то убила бы ее одним ударом кинжала... посмотрите, вот, так, так!

При этих лихорадочно произнесенных ею словах несчастная выхватила из-за корсажа платья кинжал, которым она стала наносить удары давно умершей и погребенной Мэрид Астон, словно она стояла пред нею.

Она стояла, наклонясь вперед, словно наблюдая за своей жертвой, словно видя, как она, эта жертва, окровавленная, истекающая кровью, падает... а она радуется, наслаждается ее страданиями, ее предсмертными муками.. Я бросился к ней, пытаюсь отнять у нее кинжал, но она, быстро спрятав его, как-то сразу успокоилась, сразу стала той же бледной неземной девушкой, напоминавшей дочь Иаира, воскресшую из мертвых по слову Спасителя.

.

Гаральд сообщил мне, что невесту свою он увидит накануне Пасхи. Накануне дивного, чудесного, таинственного дня ему предстояло воочию быть свидетелем чуда...

До этого дня оставалась ровно неделя. Я не видел ни помощи, ни спасения для несчастного своего друга.

Эти последние семь дней он провел, словно бенефициант пред великим днем своего торжества.

Большую часть времени он находился у францисканцев, на Палатине. Братия монастыря оказывала ему гостеприимство в самых широких размерах, не считаясь с тем, что он — протестант; смотрели они на него, как на своего, втайне, вероятно, полагая, что, так или иначе, в конце концов он перейдет в лоно католической церкви. Он постился, бодрствовал полночам, думая о мертвой невесте, словно монах о небесной деве. Этим способом он возбуждал свое и без того болезненно настроенное воображение и доходил до какого-то экстаза; в каком-то трансе, в каком-то иступлении хотел он увидеться с Мэрид Астон. Наступила Страстная Пятница. Накануне, вечером, все церковные колокола Рима были «привязаны». Колокола всех трехсот церк-

вей молчали... казалось, что благовест умолк не только в Риме, но на всей земле.

Молчание, печаль царили в Риме, в котором правил светский король, а заместитель Христа — был узником.

Во всех церквах были уже сооружены «sepulcro» — могилы Христа с бледными, покрытыми кровью изображениями распятого Спасителя. Вокруг этих могил горели тысячи свечей.

Стены и своды были обтянуты черной материей... только из этих могил исходил свет... словно указывая грешным людям, что только здесь, из этой могилы, исходят и свет, и спасение...

Под мрачными сводами носился клубами запах ладана и живых цветов... масса народа двигалась бесшумно.

Гонимый заботой о своем друге, я отправился искать его, но не нашел ни в квартире его, ни в монастыре... сам же я все более и более заражался общим приподнятым религиозным настроением.

Странное дело — мысль об Ассунте де Марчис не покидала меня ни на минуту.

Беспреданно видел я ее пред собой. Видел, как «бедный, милый ребенок» превращался в страстную женщину, видел, как выхватывала она с молодой груди кинжал и поражала, поражала без конца свою мертвую соперницу! Кинжал у нее был особенно тонкий, острый... Я успел заметить, что рукоятка его была старинной чеканной работы.

Теперь я жалел, что я у нее, безумной, не отнял опасного оружия, но помню хорошо, что, когда пытался сделать это, она вырвала его у меня из рук с силой, поразившей меня — это была не только не женская сила, а нечеловеческая, сверхъестественная сила... рука ее тоже постоянно носилась у меня пред глазами — маленькая детская рука, в которой стальной клинок кинжала казался особенно опасной игрушкой.

Разыскивая Гаральда, я, между прочим, зашел в церковь монастыря близ площади Барбарини. Бог знает, что побудило меня зайти в этот страшный монастырь капуцинских монахов! Мертвые — мертвые — мертвые! Из мертвых кос-

тей потолки, стены, алтари... оскаленные черепа, как орнаменты этой мрачной архитектуры. У стен прислоненные остовы в своих темных коричневых монашеских одеждах с натянутыми на головы капюшонами, с горящими свечами в костлявых руках... целый сонм мертвых капуцинов, светивших своим живым братьям.

В этом страшном храме я нашел не Гаральда, а — Ассунту. Она лежала ничком пред алтарем, прижав голову к мертвым костям. Я тотчас узнал ее. Это была она — молодая, хрупкая, в своем узком, черном платье, с белой вуалью на голове. Она молилась... и... каялась, так страстно каялась, что, казалось, все ее молодое тело содрогалось.

О чем молилась она? О своей любви? В чем каялась она? О милосердии молилась ли она? Я не считал себя вправе мешать ее молитве — и удалился из-под этих святых, страшных сводов... вздохнул я полной грудью, очутившись под открытым звездным небом... молящаяся и кающаяся Ассунта де Марчис меня успокоила.

.

Из церкви я отправился к себе, в улицу Ринетта, и, утомленный физически и нравственно, бросился на диван.

Зажег я было свечу, хотел почитать, развлечься, но не мог отделаться от мыслей, волновавших меня, не дававших мне покоя. Около полуночи у дверей дома раздались три сильных удара. Ввиду того, что квартира помещалась в третьем этаже, я понял, что стук этот относился ко мне.

Я понял, это — Гаральд.

С ним что-нибудь случилось! Вошел он бледный, взволнованный, вне себя.

— Ты из виллы? — спросил я его. — Видел ли ты дух Мэрида Астон? Видел ли ты чудо уже сегодня?

— Сегодня у нас не было сеанса...

— Что случилось с тобой?

Он не хотел дознаться. Свой поздний визит ко мне он объяснил тем, что не мог вынести одиночества теперь, на-

кануне дня смерти Спасителя, накануне воскресения мертвой... больших усилий стоило мне заставить его заговорить, высказаться.

— Сегодня утром Ассунта была у меня. Ты прав: она влюблена в меня... более того: она любит меня. Я не знал, что такая страсть мыслима, что она может существовать. Она была... она... я не могу тебе этого сказать. Это было ужасно. Я все еще словно во сне, словно в чадy. Несчастливая... несчастная! Что из этого выйдет?

В изнеможении он опустился на стул и, не мигая, широко открытыми глазами смотрел в одну точку... но думал он не о Мэрид Астон, а об Ассунте де Марчис, о молодой женщине, любившей его с такой безумной, всепоглощающей страстью, о которой ничего доселе не знал этот нетронутый юноша. Теперь он ее, видимо, постиг. Быть может, эта охватывающая его страсть являлась для него спасением, единственным возможным спасением!

— Ну, а ты? — спросил я его вполголоса.

Сначала он будто не понял меня, потом произнес с глубоким вздохом, прозвучавшим, как стон:

— Я? Ах, что говорить обо мне!

— Сказал ли ты ей, что ты не любишь ее?

— Разумеется.. Я должен был сказать ей это. Разве я мог умолчать об этом? Я отверг ее любовь. Я был жесток; ужасно жесток. Я сказал ей, что только одну люблю, одну могу любить: мертвую Мэрид... Но... я солгал...

— Солгал? — в ужасе воскликнул я. — Гаральд! Солгал? Опомнись! Как мог ты солгать?

— Да, это так. Я люблю ее. Я люблю не мертвую, а живую. Это самое ужасное теперь... Поймешь ли ты, что это для меня теперь значит?

— Невзирая на то, что ты ее полюбил, ты отверг ее любовь, ты выгнал ее?!

— Разве я мог иначе поступить? Любовь моя к живой является незамолимым грехом против мертвой... к тому же... и она, и ее безумная, дикая любовь... ведь это ужасно любить такое существо и быть любимым им... Пойми: быть принужденным любить такое существо — ужасно! Она имеет

какую-то страшную, необъяснимую власть надо мной. Я боюсь ее! Боюсь себя! Да, наконец, Мэрид... как мне быть с ней на предстоящем свидании? А как ждал я этого свидания! Как мечтал о нем! Это свидание было еще недавно для меня вопросом всего... а теперь...

— А теперь... неужели же ты и теперь желаешь увидеться с ней?

— Я должен увидеться с ней, хоть и не хочу. Теперь она придет, она должна прийти... Ассунта вызвала ее для меня из загробного мира... уйти от нее я более не могу... я в ее власти. И все-таки лучше быть во власти мертвой, нежели той ужасной живой.

— Ты должен избавиться от обеих.

— Я должен увидеться с Мэрид.

В эту ночь я его не отпустил от себя, уложил в свою кровать, ухаживал за ним. Он бредил, галлюцинировал... ему мерещились обе, и живая, и мертвая... и он страдал, желая и не будучи в силах избавиться от них. Заснул он под утро и проснулся далеко за полдень.

Всю свою надежду я возлагал на то, что днем он придет в себя. И, действительно — он казался успокоенным. Твердо и спокойно заявил он мне, что ничто не в силах удержат его от посещения виллы у Порты Пиа в пасхальную ночь.

Единственной уступки с его стороны я добился — он разрешил мне сопровождать его в этот вечер в виллу, чтоб присутствовать на этом страшном сеансе. При этом он обещал мне, что это будет его последним посещением таинственной виллы.

Боясь одиночества и дрожа при одной мысли о том, что Ассунта де Марчис станет следить за ним, он согласился остаться у меня.

Я тотчас же послал к его хозяйке за некоторыми необходимыми ему вещами и не отходил от него, что называется, ни на шаг.

В пасхальную субботу триста с лишком колоколов загудели и заблаговестили, возвещая приближение праздника из праздников, возвещая жаждущему спасения и обновле-

ния человечеству о том, что очень, очень скоро наступит момент, когда свершится великое чудо — воскреснет из мертвых погребенный Сын Божий и вознесется на небо, и восседет одесную Бога-Отца.

В зале виллы у Порты Пиа снова светилась та же голубая лампа; цветов в зале не было, но, невзирая на это, в воздухе носился опьяняющий аромат белых роз.

Нас на этот раз было всего трое: художник должен был экстренно уехать в Неаполь. Свой дом, однако, он любезно предоставил в наше распоряжение.

На его обычном месте сидел Гаральд; таким образом, ему пришлось держать в своей руке левую руку Ассунты. Последняя сидела, откинувшись в кресле с высокой спинкой, с закрытыми глазами, словно статуя. Она ни разу не взглянула на Гаральда. Рука ее была холодна, как у мертвеца, но и вся она производила впечатление мертвой... Мне казалось даже, что на сегодня чудодейственная сила оставила ее и что ей ни под каким видом не удастся вызвать мертвую Мэрид. «Ну, — думал я, — слава Богу! Вот и спасение!»

Мы сидели молча и ждали... Прошел час. Теперь могу с уверенностью сказать, что это был ужаснейший час моей жизни. Я находился в каком-то слабо освещенном склепе, в котором носился аромат невидимых цветов, рука моя касалась мертвенно-холодной руки полумертвого существа, помещавшегося рядом со мною, и... я ждал появления мертвой и погребенной женщины.

Я чувствовал какую-то давящую тяжесть, ум мой мутился, я терял сознание... Я видел перед собой лицо Гаральда, выражавшее напряженное ожидание... Долго, долго, не отрываясь, глядел на него, но, в конце концов, не выдержал...

Помню, я хотел оттолкнуть эту безжизненную руку, хотел вскочить со своего места, чтобы услышать человеческий голос среди царившей здесь гробовой тишины, хотел крикнуть: «Мы сойдем ума!» Я хотел броситься к Гаральду, чтобы силой увести, увлечь его отсюда, из этого страшного дома, от этой ужасной женщины... Туда, к живым людям, туда, где, среди живых, мы сами ожили бы... Но как

раз в тот момент Ассунта начала вздыхать, стонать, произносить какие-то бессвязные слова, возвещая приближение духа Мэрид Астон.

О, отчего я не исполнил свое намерение! Отчего не сбросил я эти чары... Отчего допустил случиться тому, что произошло! Долго, долго считал я себя невольным убийцей Гаральда. Долго проклятие этого страшного часа не давало мне покоя. Рука Ассунты де Марчис дрожала и конвульсивно сжималась под моей рукой. С большим трудом сдерживал я ее... ее правую руку... Вдруг я увидел, как она быстрым движением выхватила из-за корсажа платья кинжал... Надо было держать, крепко держать ее во что бы то ни стало... Я это понимал, сознавал... Казалось, она невыразимо страдала. Ее сводили судороги, конвульсии...

В ужасе Гаральд выпустил из своей левую руку медиума... Я тотчас же схватил и ее; таким образом, в моих руках я крепко сжимал, словно тисками, руки Ассунты.

Нужно было ее в это мгновение во что бы то ни стало как можно крепче держать... Я молил у Бога сил... чтобы только не выпустить из своих ее рук!

Что случилось... не умею объяснить. Я это пережил... пережил!..

Да, я пережил ужасное, необъяснимое, страшное, чудесное. Я сам воочию все видел... Видел, как дрогнула рука Ассунты де Марчис, словно схватив какой-то невидимый мне предмет... Я видел, как стала она наносить кому-то удары, один за другим... Ужас сковал мои члены... Мороз пробежал по коже, волосы стали дыбом у меня на голове... Я чувствовал присутствие духа. Я чувствовал, что мертвая, вышедшая из могилы, находится среди нас... Вот она стояла за моим стулом... Теперь предо мной... Здесь... Там... И, наконец, рядом с Гаральдом... Близко-близко к нему.

Я вскочил, хотел выбежать... Но должен был остаться, должен был, не выпуская, держать ее руки, эти ужасные, вздрагивавшие руки, продолжавшие наносить удары... И я держал их, словно в железных тисках.

Вдруг раздался крик... Но это был не крик духа, привидения... Нет, это кричал человек, умирающий. Это был го-

лос Гаральда.

Гаральд, мой друг, умирал. Умер. Он был убит ударом кинжала. Кинжал, который я уже видел ранее в руках Ассунты, пронзил насквозь сердце моего друга. А я ведь крепко-крепко держал в своих руках руки Ассунты де Марчис.

Густав Канциори

МЕДИУМ И КОЛЬЦО



На спиритическом сеансе у вдовы банкира Картеро присутствовал, по приглашению одной из ее приятельниц, профессор физики Нардини.

Нельзя сказать, чтобы он приехал по собственному желанию. Едва он переступил порог нарядной виллы на берегу Тибра, как уже раскаивался в слабости, заставившей его уступить просьбам синьорины Аннели. На посещение спиритического сеанса он смотрел, как на предательство по отношению к своей любимой науке. Он упрекал себя, что вместо того, чтобы сидеть теперь в тихой лаборатории и заниматься интересными опытами, он неизвестно зачем звонил у дверей совершенно ему незнакомого дома.

Синьорина Аннели радостно пожала ему руку и поспешила представить хозяйке, полной, довольно красивой блондинке.

— Что вас заинтересовало в наших собраниях? — любезно спросила она профессора.

— Более всего меня соблазнило, сударыня, то обстоятельство, что великий Ломброзо до самых последних дней своей жизни оставался ревностным адептом спиритизма, — попытался вежливо уклониться от прямого ответа Нардини. А заметив насмешливую улыбку на лице хорошенькой синьорины Аннели, он повернулся в ее сторону и с плохо скрытой иронией добавил:

— К тому же известно, что демон-искуситель нашел себе верного помощника в лице женщины; синьорина так ин-

тересно описывала ваши сеансы, что я не мог устоять против соблазна посмотреть на них.

Синьора Картеро познакомила его с остальными своими гостями, которые все очень любезно высказывали ему свое удовольствие иметь его в числе товарищей по столотворчеству.

* * *

Нардини был не только знаменитым физиком, но еще и ловким дипломатом. Он тотчас же сообразил, что, несмотря на внешнюю любезность, все в этом кружке относилось к нему с недоверием и даже с известной долей неприязни, а потому решил оставаться лишь простым зрителем сеанса, не принимая в нем лично никакого участия. Однако, это ему не удалось.

Вскоре, по приглашению хозяйки, гости перешли в специально отведенную под сеансы комнату и в порядке разместились вокруг большого круглого стола. Сперва прочитан был протокол предыдущего собрания, затем переписаны были имена всех присутствующих, наконец, приступлено было к самому тщательному осмотру комнаты и обыску самого медиума.

После этого отдан был приказ соединить руки в одну непрерывную цепь. Комната была ярко освещена лампами. Это чрезвычайно удивило профессора. На его вопрос руководитель сеанса отвечал, что благодаря удивительной способности и силе медиума темнота для него совершенно не нужна.

Нардини обратил тогда внимание на медиума. Это была знаменитая Эзапия Эгликотта, простая тосканская крестьянка лет приблизительно сорока, маленького роста и очень полная. На широком, рыхлом лице ее добродушно улыбались черные, как маслины, глаза. От всей ее особы веяло такой беззаботной ленью, что трудно было даже предположить, что она была предметом многолетнего изучения со

стороны Ломброзо, Фламмариона и других ученых.

Из этого раздумья профессор был внезапно выведен тихим, несколько глуховатым, но вполне явственным стуком посредине стола...

— А! Так вот каковы они, эти знаменитые стуки!

Импресарио медиума, господин с довольно интеллигентной, но чрезвычайно самодовольной физиономией, обратился непосредственно к Нардини с предложением проконтролировать происхождение этих звуков.

— Стуки исходят словно из глубины стола, — с улыбкой заметил профессор.

— Именно, именно. При осмотре же комнаты вы могли убедиться, что в столе не спрятано никакого аппарата и что, вообще, стол этот самый простой по конструкции.

— А если перенести его в другой конец комнаты, например, к двери, — в свою очередь, саркастически спросил профессор, — будет ли он продолжать издавать эти звуки?

Не успел он окончить своего вопроса, как стол, словно схваченный чьей-то невидимой рукой, поднялся на воздух и плавно опустился на указанном конце комнаты. И тотчас же внутри его снова раздались стуки, сперва тихие и глухие, потом все громче и громче. Стуки эти, в конце концов, перешли в удары и раскаты грома, заставлявшие дрожать всю комнату.

Присутствующие были бледны, как смерть.

Вдруг в углах комнаты засвистал и завыл ветер, зашелестел бумагой и ледяным дыханием пахнул в лицо гостям.

Необычайное волнение охватило профессора. И ему лишь с большим трудом удалось преодолеть его, дабы оно не мешало ему внимательно следить за продолжением сеанса. Ни о каком обмане тут не могло быть и речи. Все происходило при ярком освещении и при самом строгим контроле со стороны присутствующих.

Но что это? Он, вероятно, ослышался. Ему показалось, что импресарио спрашивал:

— Эзопия, может ли дух поднять на воздух пианино так, как он только что поднял стол?

И в ту же минуту — Нардини буквально не верил своим глазам — десятипудовый инструмент полез вверх по стене, и, остановившись приблизительно на половине высоты комнаты, на несколько секунд повис в воздухе, а затем медленно опустился на прежнее место.

Будучи не в силах больше побороть своего волнения, профессор стал просить о маленьком перерыве сеанса. И тотчас же во всех концах комнаты завязались оживленные, хотя и негромкие споры по поводу только что происшедшего. Импресарио вмешался в эти дебаты и стал защищать спиритизм с точки зрения толкования фактов естествознания.

Это показалось профессору сильно преувеличенным и даже не вполне понятным.

— Почему же, в таком случае, — начал он, — вы не признаете правильной теорию Фламмариона, утверждающего, что в основе всех этих чудес спиритизма лежат обыкновенные явления природы?

— Ибо это было бы объяснением спиритических явлений посредством анимизма.

— Я не вполне понимаю тут применение этого термина.

— Извольте, я выражусь точнее. Теория Фламмариона лишена всякой логичности. Феномен, чудо перестает быть таковым, коль скоро оно может быть исследовано, объяснено тем или иным путем. Точку зрения Фламмариона можно было бы взять лишь за гипотезу, да и то лишь при известном спиритуалистическом освещении.

Никто не решился отвечать на это слово. Все ждали выражения со стороны профессора, на бледном лице которого явно отражалось сильное внутреннее волнение. Впрочем, волнение это было так естественно! Перед ним как бы отдернулся край завесы, доселе закрывавшей от умственного взора его совершенно новую науку. Однако, голос его звучал совершенно спокойно и ровно, когда он отвечал своему собеседнику:

— Чтобы доказать вам, что я понял вас, я хочу принять участие в сегодняшнем сеансе и просить духа, незримо при-

сутствующего среди нас, явить чудо, которое лучше всяких слов убедит меня в правоте вашего учения... Стуки в столе, полет пианино можно еще объяснить гипнотической силой медиума, своего рода электрическими лучами, исходящими из его мозга, но то, о чем я хочу вас просить, иначе, как при помощи анимизма, т. е. полного одушевления природы, понять и объяснить нельзя. Недавно, купаясь, я потерял кольцо; я видел, как оно упало в воду; но, несмотря на самые тщательные поиски опытного водолаза, найти его оказалось невозможным. Само по себе кольцо не представляет какой-нибудь драгоценности, мне же оно дорого, как память о моей покойной матери. Могут ли его отыскать ваши духи и положить сюда на середину стола?

Насмешливо смотрел профессор на импресарио, говоря это. Тот, вместо ответа, подошел к медиуму и стал гипнотизировать его. Минуту спустя крестьянка крепко спала. Полным сознания своей правоты и достоинства голосом импресарио отдал ей какое-то приказание. И почти вслед за этим она впала в транс.

Тело ее судорожно подергивалось, она почти валилась со стула, так что ее пришлось удерживать силой. Хрипящие стоны, дикие выкрики вырывались из ее плотно зажатого рта. Для всех было очевидно, что «дух» овладевал телом Эзапии Эгликотты...

Одновременно с этим комнату наполнил такой оглушающий шум, что профессору представилось, что он попал на настоящий шабаш ведьм. Удары грома, буря с градом, мяуканье кошек, лай собак слились в один дикий, невообразимый хаос звуков. Голубые стрелы молний пересекали комнату во всех направлениях и эффектно освещали лицо импресарио, который, с видом и жестами заклинателя духов, возился над медиумом.

Внезапно Эзапия стала делать плавные, мерные движения руками и ногами. Ошибки быть не могло — то были движения пловца!

— Кто ты? — торжественно спросил ее импресарио.

Ответ ее заставил Нардини подпрыгнуть на стуле, волосы у него буквально стали дыбом. Низким мужским голо-

сом, на самом чистом английском языке, Эзапия отвечала: «I am captain Webb, the real swimmer of the Canal!» («Я капитан Вебб, великий пловец через Канал»).

Итак, дух, вошедший в нее, принадлежал бессмертному капитану Вебб, первому, сделавшему в 1875 году попытку переплыть Канал*.

— Да благословит тебя Господь Бог! — в один голос приветствовали его все гости. Этого приветствия требовали традиции истинных спиритов.

— Что вы делаете здесь, капитан Вебб?

— Я плаваю и ныряю. Я ищу кольцо того господина.

— И что же? Вы видите его?

— Да, оно надето на правой клешне большого омара. Он скользит от меня по дну и никак не дается мне в руки.

— Убейте омара, уважаемый дух, отнимите у него кольцо и положите его сюда на стол!

* * *

Прошло пять, десять, наконец, целых пятнадцать минут, а приказание импресарио все еще не было исполнено.

— Еще раз повторяю вам, — произнес хрипло Нардини, — вы только в том случае убедите меня в своем общении с миром духов, если вернете мне мое кольцо.

И снова раздался голос капитана Вебба:

— Вы получите свое кольцо! Но не сегодня! Теперь я больше не могу здесь оставаться!..

— Только тогда я поверю в тебя, если ты сейчас положишь кольцо передо мной на стол! — вне себя крикнул профессор.

Ответа не последовало.

* Речь идет о проливе Ла-Манш или Английском канале. Британский капитан Мэтью Вебб (Уэбб, 1848-1883) первым переплыл его в 1875 г. без помощи каких-либо плавательных средств.

Неохотно поднялись со своих мест участники сеанса. Импресарио укоризненно взглянул на ученого и с неудовольствием проговорил: «Неужели всего, что вы видели сегодня, еще мало, чтобы убедить вас?»

Нардини счел за лучшее откланяться.

У входа импресарио подал ему перо, чтобы подписать протокол заседания, на котором незримо присутствовал дух капитана Вебба.

Ученый отказался подписать.

— Достаньте мне кольцо и я с радостью поставлю свое имя под этим протоколом, — сказал он в дверях.

* * *

На следующее утро, после кофе, профессор, насвистывая веселую песенку, подошел к своему письменному столу. Он собирался описать в юмористическом тоне в своем дневнике вчерашний сеанс.

Он не отрицал, что феномены, свидетелем которых он был, даже и объясняемые путем анимизма, были весьма и весьма интересны! Он даже удивлялся, как наука до сих пор не занялась ими более подробно. Но когда дело дошло до общения с духами, у которых он попросил о возвращении ему потерянного кольца, весь сеанс обратился в грубую комедию!

И он громко засмеялся, вспомнив плававшего капитана Вебба. «О, милый капитан! — проговорил он почти вслух, — хотя вы мне торжественно обещали вернуть мое кольцо когда-нибудь в другой раз, может быть, даже сегодня, я очень боюсь, что никогда уж не увижу его. То-то вы так быстро покинули нас, когда дошло до дела!»

И, взяв перо, он обмакнул его в чернильницу.

Но что это такое? Что висит там на ветвистых рогах оленьей головы, украшающей собой чернильницу? Это что-то круглое... блестящее... похожее на... Да ведь это кольцо! Его кольцо!..

И с полным ужаса криком Нардини без сознания рухнул на пол.

Капитан Вебб сдержал свое слово...

* * *

Как раз в то время, когда профессор находился на спиритическом сеансе, двое праздных молодых людей встретились на прогулке.

— Откуда у вас это старинное кольцо на пальце? — спросил один из них.

— Я нашел его недавно, купаясь, — отвечал другой. — Потерявший это кольцо потом подарил мне его, — заикаясь, добавил он.

— Не скажи вы мне этого, я бы поклялся, что это кольцо профессора физики Нардини. Он до сих пор оплакивает потерю его. Оно было ему дорого, как память.

Ничего не отвечал на это другой, но поспешил откланяться и покинуть своего собеседника. Не прошло и пятнадцати минут, как он звонил у подъезда профессора.

Под предлогом оставить ему записку, он незаметно повесил кольцо на рога оленя.

А когда он снова очутился на улице, то прошептал с облегченным вздохом: «На этот раз дело, кажется, обошлось благополучно. Но, конечно, это впредь послужит мне хорошим уроком: всякую вещь теперь, что я найду, пусть то будет даже пуговица от башмака, я тотчас же буду отдавать по принадлежности».

* * *

А месяц спустя из печати вышло наделавшее так много шума произведение знаменитого физика Нардини: «Значение и смысл спиритизма». Наиболее доказательной и инте-

ресной в этой книге была глава: «Материализация духа и возвращение потерянного кольца», имевшая подзаголовком: «Величайшее спиритическое чудо».

Луиджи Капуана

КОЛДУНЬЯ

— Бросьте! Неужели вы, как деревенская баба, верите в духов?

— Чему вы удивляетесь? В них верят такие крупные ученые: Крукс, Уоллес...

— Ложные ученые! Так называемые ученые!

— Будьте поосторожнее, дорогой друг, — возразил доктор Маджиоли, — И не судите так с кондачка о том, кто открыл световую материю, и о сопернике Дарвина. Что касается меня, то я скромненький, как подобает тому, кто не занимался этого рода исследованиями, получившими распространение в то время, когда мой возраст уже не позволял мне экспериментировать. Тем не менее, я не говорил, что верю в духов, но я считал бы слишком самонадеянным утверждать, что я не могу ни в коем случае верить в них. У меня нет никаких оснований высказывать такого рода суждение. Мне семьдесят семь лет, и скоро мне будет дано *наглядно* познать, как обстоят дела в другом мире. Меня это весьма интересует, уверяю вас...

— Извините, не понимаю... — возразил адвокат Розалья.

— Может быть, я неясно выразился. Одним словом, я заявляю, что у меня нет ни одного бесспорного аргумента, чтобы научно утверждать или отрицать существование духов, хотя в тот единственный раз, когда я сделал попытку увидеть их, опыт дал отрицательные результаты. Однако, я на основании этого неудачного опыта не считаю себя вправе говорить, что Крукс, Уоллес и столько других, заслуживающих полного доверия экспериментаторов, обманулись или были обмануты.

— Но наука... — перебил адвокат.

— Науку создают ученые путем ошибок. Вчерашняя наука не та, что сегодняшняя; а наука завтрашнего дня тоже будет нечто совсем другое. Только решена одна проблема, как возникают новые, и более сложные, более трудные. Иногда ученым надоедает видеть, как они постоянно стоят перед глазами, и они закрывают глаза и затыкают уши, чтобы пожить немного спокойно и ничего не видеть, не слышать. Но от этого новые проблемы не исчезают. Тогда какой-нибудь ученый, полубознательнее и посмелее других,

приоткрывает глаза и начинает наблюдать, сначала робко, чтобы не скандализировать коллег. Потом любовь к истине в нем берет верх над личным самолюбием; и таким образом, наука делает второй шаг, и то, что сегодня было абсурдом, завтра делается твердым завоеванием.

— Это мы знаем, доктор, — настаивал адвокат. — Но, что касается духов, то ведь здесь мы имеем дело не с фактами, которые можем наблюдать в микроскоп, анализировать в реторте. Тут продукты воображения слабых умов, галлюцинация больных чувств, бабьи суеверия, остатки первобытных преданий, когда человек, пребывавший еще в диком состоянии, объяснял вмешательством сверхъестественных сил явления природы и считал свою тень двойником своей личности. Если бы наука должна была считаться со всеми подобными глупостями, плохо было бы ее дело!

— Со всем надо считаться, — возразил доктор Маджиоли. — Поэтому я, который только чуть-чуть ученый, изучавший и практиковавший самую материальную из наук — медицину, не краснея, заявляю вам, что я пытался даже *увидеть* духов, когда однажды ко мне зашел один мой приятель со словами: «Хочешь увидеть духов? Я сам испугался и прервал опыт на середине». Мой приятель, человек серьезный, очень образованный, немного философ в лучшем смысле этого слова, с очень широким кругозором, весьма интересовался великими современными проблемами, политическими, экономическими, религиозными, научными, прочитывал все, все углубляя с неукротимым пылом. У него не было необходимости заниматься чем-либо другим; его обширное имение позволяло ему эту интеллектуальную роскошь. Так вот, в последнее время он много работал над изучением спиритических явлений; и у него выработалось убеждение, что духи — это тоже реальность, как и все остальное, если угодно, высшего порядка, но, во всяком случае, не допускающая сомнения в самом ее существовании. А когда я отвечал ему: «Надо еще подождать!», он выражал нетерпение по поводу моих колебаний ввиду стольких доказательств, «сколько, может быть, — прибавлял он, — не удаст-

ся привести в пользу фактов, давно ставших прочным достоянием истории и признаваемых всеми». Я, по правде, не отрицал явлений, фактов; я сомневался лишь в объяснении их.

— Что нужно сделать, чтобы увидеть их? — спросил я его после недолгого размышления.

— Прийти завтра ко мне. Я изведу вызывательницу.

— *Медиума*, хочешь ты сказать?

— Нет. Особа, о которой я говорю, не впадает в *транс*, то есть не засыпает, не входит в каталепсию; она вызывает какой-то таинственной властью, среди белого дня, просто посредством известного рода заклинаний.

— Это, по-видимому, колдунья, вроде тех, о которых говорит Библия.

— Это бедная женщина, сухая, бледная, неряшливо одетая, живущая, кажется, подаяннем.

— И ремеслом колдуньи! — прервал я со смехом.

— Ничего подобного. Она требует только несколько ничего не стоящих вещей, которые, говорит, необходимы для вызова: немного соли, немного масла, освященную свечку со святой недели.

Я пожал плечами.

— Как случилось, что ты испугался?

— А вот как: мы были в моей комнате — она и я; дверь в коридор была открыта. Она начала бормотать свои заклинания, опустившись на колени перед занавеской, перед которой стоял наполненный маслом терракотовый горшочек, зажженная свечка и блюдо с солью. От времени до времени она брала щепотку соли и бросала ее в горшочек. Я поместился так, чтобы быть в состоянии следить за процедурой, заглядывая сбоку занавески. Я был спокоен, находился, правда, в напряженном ожидании, но вместе с тем, был настроен немного недоверчиво. Мне казалось невозможным, чтобы эта бедная женщина, следовало бы сказать, этот призрак женщины, обладала столь высокой властью...

— И что же?

— Тогда — запомни это — среди белого дня, неожиданно, я увидел, как коридор осветился светом более ослепи-

тельным, чем солнечный, проникавшим в комнату через балкон, и почувствовал шелест материй и шорох шагов... Я испугался! Я принялся кричать: «Нет! Нет! Довольно!» — закрыв глаза руками. Я дрожал, как ребенок, покрылся холодным потом.

— Эта женщина, — заметил я, — рассчитывала на твое воображение; она возбудила его странным видом своих обрядов...

— Ты ошибаешься! — возразил он. — Я сам сначала подумал так, но потом, хорошенько обдумав... Вдвоем мы будем храбрее. Хочешь попробовать?

— Попробуем!

Доктор Маджиоли остановился и посмотрел вокруг. Все находящиеся в гостиной дамы слушали его с явным ужасом.

— Вы хотите лишить нас сна в эту ночь! — сказала баронесса Лопари.

— Вот именно, я хотел узнать, следует ли мне продолжать.

— Что касается меня... — сказала баронесса. — Да, наконец, вы же сказали, что опыт не удался.

— Не помню сейчас, — сказал доктор, — кто написал: «Если бы ко мне пришли и сказали, что такой-то унес Колизей, я, прежде чем ответить: “Это невозможно”, — пошел бы убедиться своими глазами». Я думаю также, что и ученые должны были бы поступать так Я был пунктуально точен; пришел в назначенный час; женщина прибыла немного позже. В бедно убранной комнате моего приятеля было два балкона; один выходил на восток, другой на юг, и широкая полоса солнечного света наполняла отсюда комнату. «Я едва получила разрешение», — сказала колдунья. «От кого? — спросил я. «От моих властителей», — просто ответила она. «Этот господин неверующий», — прибавила она, обращаясь к моему приятелю. — А духи неохотно являются тому, кто не верит в них».

— Хотел бы верить, — сказал я. — Для того я и здесь.

Она — замечал я между тем — протягивает руки вперед. И я внимательно наблюдал за тем, как она собиралась пе-

ренести за занавеску горшок с маслом, зажженную свечку и блюдо с солью. Никакого признака хитрости на этом лице, но сильное утомление, усталость от постоянной бедности...

— А кто научил вас? — спросил я.

— Моя мать, — ответила она. — Будьте внимательны. Духи не войдут сюда; они пройдут по коридору мимо двери, — и скрылась за занавеской.

Она говорила с такой уверенностью, что я подумал — может быть, я увижу чудо!

Мой приятель и я, мы были у самой двери. Вдруг приятель схватывает меня за руку и начинает сильно сжимать ее. Но хотя я и понял, что он испугался, это не отвлекло моих взоров от коридора. Я чувствовал себя вполне спокойным, без хвастовства говорю... десять минут ожидания... и женщина вышла из-за занавески.

— Видели? — спросила она.

— Нет.

— Ты их не видел? — воскликнул мой приятель, едва выговаривая слова.

Он был бледен, как мертвец.

— Семь, — добавил он. — Я сосчитал их: четыре женщины и трое мужчин... они были словно сделаны из облака, в длинных белых туниках... Они прошли медленно... Я тебе крепко сжал руку в ужасный момент. А этот яркий свет?

— Я ничего не видел!

— Не верит! — сказала женщина. — Чтобы видеть, нужно получить милость.

Может быть, это и так: нужно получить милость, как выразилась она, то есть значительное расположение, особую способность. Что мы знаем об этом? А мой друг остался настолько убежденным в том, что не был жертвой галлюцинации, что до самой смерти подозревал меня в недобросовестности. Он думал, что я отрицал виденное из упорства врачат-материалиста. А между тем, это не так.

Бюрен-Ган

НЕОБЪЯСНИМОЕ

Эскиз

На церковной башне маленького города медленно и звонко пробило четыре часа, когда Герд Классен вышел из двери своего дока. Засунув рука в карманы, с трубкой в зубах, он взглянул испытующим взглядом на легкие облака, покрывающие небо. Волнения предстоящего дня не давали ему спать всю ночь и, чтобы овладеть собой, он встал и вышел на улицу.

С моря дул свежий ветер. Солнце поднималось все выше, и вскоре над землей, покрытой еще алмазными росинками, расстилалась бездонная синева небесного свода. На загоревшем лице молодого человека мелькнула радостная улыбка. Он вынул из рта трубку, сплюнул и вытер губы рукой.

У Герда Классена это было выражением высшего удовольствия. И действительно, было чему радоваться: лучшего дня нельзя было желать. Надвинув глубже свою большую шляпу, он сильно затынулся и направился к верфи своего друга, видневшейся в некотором отдалении. Несмотря на раннее утро, работа была уже в полном ходу: прилежные руки были заняты украшением большого трехмачтового корабля пестрыми флажками и венками из цветов. Вся верфь приводилась в торжественный вид.

Герд перепрыгнул через попавшуюся на дороге балку и очутился перед стоим знакомым кораблестроителем Кришаном Холеном.

Герд снял шляпу и блестящими глазами смотрел на кузов корабля, стоявшего перед ним во всей своей гордой красоте.

— Доброе утро, Кришан, — сказал Классен, — такой чудесный день!

Он нежно провел рукой по борту судна.

— Да, Герд, отличный день для нас с тобой. С вечера нельзя было сказать, что будет. Взгляни на корабль, не правда ли, хорош?

— Да, Кришан, поднимай голову выше. Ночью я не мог спать от беспокойства, но теперь мой страх прошел. Посмотри, как чудесно! Это хорошее предзнаменование. Все будет хорошо!

Герд Классен возвращался домой в прекрасном настроении. Сегодня он достигнет цели и займет известное положение в городке. Добиться этого в С. — дело нешуточное. Хотя он и сын простого корабельщика, но сегодня он станет зятем одного из наиболее уважаемых и богатых капитанов, и через несколько часов его собственный корабль будет спущен с верфи.

Но особенно счастливым он чувствовал себя при мысли, что назовет, наконец, своей женой Анжелу. Впрочем, ничего необыкновенного в этом не было, ведь Герд был красив, к тому же капитан собственного корабля и домовладелец. Герд Классен — завидная партия! Спуск с верфи собственного парохода был для него важнее свадьбы. Корабль был построен по собственным его указаниям, окрашен в любимый цвет, а на носу, золотыми буквами, красовалось имя его невесты — «Ангела». Он был его миром. Ему он доверит свою молодую жену, на нем они пустятся в далекий-далекий путь. Как она изумится, его Ангела, не переступавшая никогда границ маленького городка. Для нее будет нелегко расстаться с родителями, сестрами, братьями; но так должно быть: жена принадлежит мужу, и он не мог представить себе путешествия на собственном корабле без Анжелы!

Погруженный в такие размышления, Герд вернулся домой и, чего никогда не бывало, не заметил, как потухла его трубка. В другое время эта случайность могла бы испортить его настроение.

На пороге Герда ждала мать, в большой тревоге: она боялась, что он забудет поехать в церковь.

Старушка в последний раз снаряжала своего единственного сына. Завтра другая возьмет на себя заботы о нем. Когда оба, мать и сын, сидели друг против друга за чисто накрытым столом, Герд едва мог уделить должное внимание любимым блюдам. Он был в грустном настроении, какого никогда еще не испытывал. Старуха-мать заботилась о нем более тридцати лет, берегла его. Теперь она смотрела на сына с такой печалью во взоре. Ему стало жаль ее. Как тяжело, должно быть, ей уступать свои права другой! Он сде-

лал над собой усилие, чтобы скрыть грусть, встал, поцеловал ее дрожащие руки и поехал в церковь.

* * *

Было три часа пополудни. На верфи Кришана Холенца царило оживление. Вблизи корабля теснились сотни детей; сегодня было что посмотреть!

В четыре часа «Анжелу» спустят с верфи. Пастор, строитель корабля, Герд Классен с молодой женой и часть свадебных гостей собрались на корабле. Рабочие уже стояли с топорами в руках, чтобы разрубить канаты, удерживавшие судно. Настала торжественная минута. На площади воцарилась глубокая тишина. Во время чтения молитвы пастором, все опустили на колени. Рабочие взмахнули топорами и одним ударом перерезали канаты. Медленно и величественно соскользнул корабль со своей высоты, но, не достигнув воды, остановился на полдороге. Пришлось употребить новое усилие, чтобы сдвинуть его с места. Когда, наконец, он тяжело нырнул в воду, сотни голосов закричали «ура», и каждый спешил поздравить руку счастливого обладателя. Но тот стоял у руля с мертвенно-бледным лицом и безумными глазами всматривался в сверкавшее и пенившееся море. Какое-то предчувствие говорило ему, что корабль принесет ему несчастье... Царившее кругом оживление не рассеяло его мрачного настроения и, когда огненный шар солнца опустился в море и окрасил волны ярким заревом, Герду Классену показалось, что это зрелище он видит на родном берегу в последний раз...

Прошло две недели. Герд не мог забыть неудачного спуска своего корабля. Чем ближе приближался день отъезда, тем он становился беспокойнее и мрачнее. Родные и знакомые сочувствовали ему, потому что никто не сомневался, что молодые не вернутся из первого путешествия. Народное поверье говорило, что корабль, не сразу спущенный с верфи, никогда не возвращается из первого путешествия!

Наступил день отъезда. «Анжела» с надувными парусами ждала в гавани времени отхода, качаясь на волнах. На

палубе стоял один Герд Классен. Он не мог решиться взять жену с собой. Если ему суждено вернуться домой с первого первого путешествия — тем лучше, тогда злой дух будет побежден, и «Анжела» не сделает больше ни одного рейса без своей тетки. Как тяжело было оставлять дома горячо любимую жену! Это решение стоило ему нескольких бессонных ночей...

Постепенно скрывались с его глаз родные места, где осталась его молодая жена, самое дорогое, что было у него на земле...

С тех пор, как «Анжела» покинула гавань, в доме Герда Классена царила мрачная, зловещая тишина. Молодая женщина ходила бледная и убитая. Она не ожидала, что ей будет так тяжело остаться одной, без Герда, в маленьком домике. Медленно и монотонно тянулись дни, и единственной отрадой были письма мужа, приходившие время от времени.

Сегодня Анжела сидела у окна, сложа руки, и неподвижно смотрела на бушующее море. Казалось, оно хотело поглотить и людей, и саму землю. Вокруг дома яростно гудел ветер, и каждый порыв заставлял молодую женщину испуганно вздрагивать. Дрожащими губами шептала она слова молитвы о сохранении жизни ее возлюбленного мужа.

Вдруг Анжела стала вглядываться в море. На лице ее изобразился ужас, глаза неестественно расширились. Она ясно увидела «Анжелу» без мачт и руля; корабль отчаянно боролся с бушевавшей стихией. Лихорадочным взором, сдерживая дыхание, искала молодая женщина своего Герда и нигде не находила. Но вот она ясно расслышала голос мужа, звавшего ее. Холод пронизал Анжелу с головы до ног. В эту минуту старинные часы медленно пробили шесть и с шумом остановились... Глаза Анжелы сразу потухли, с душевнораздирающим криком: «Мама, он зовет меня, он умер!» — она без сознания упала на пол.

В это самое время «Анжела» без руля и без мачт танцевала свой предсмертный танец. Ни корабля, ни его команды никто никогда больше не видел!..

Эрвин Вейль

СОН БАРОНА ФОН БАТОНКУРА

Озеро, похожее на громадный бледно-фиолетовый аметист, стало совсем темным. Напротив стоял пароход, и продолжительный, жалобный крик сирены звучал, как голос сказочного животного...

— Батонкур... барон Батонкур... — сказал толстый портье отеля на своем грубом швейцарско-немецком наречии. — Не знаю...

Пробежавший мимо мальчик от подъемной машины знал, где жил барон.

— Комната тридцать три! — сказал он и вместе со мной поднялся во второй этаж.

Я вошел в комнату № 33. Батонкур сидел у окна неподвижно и смотрел на озеро. При моем приближении он слегка повернул голову в мою сторону. Я испугался. Как страшно изменился он за один год! Его прежде красивое, жизнерадостное лицо сделалось узким и серым; голубые глаза охвачены темными кругами, высокая, стройная фигура согнулась.

Предо мною был старый, надломленный человек. Казалось, он видел, что происходило во мне, и тень улыбки скользнула по его лицу.

— Я знаю, что вы думаете, доктор, — сказал он. — Вы испытали такое же впечатление, как человек, сохранивший в своих воспоминаниях красивую гордую постройку и при своем возвращении нашедший развалины... С вашей стороны очень мило, что вы пришли ко мне. Как вы узнали?

Я пробормотал что-то вроде «прочел в списке прибывших иностранцев»... и «старая дружба».

Он устало опустил голову.

— Вы знаете?..

— Да, поэтому я и пришел. Я хотел лично выразить вам свое глубокое сочувствие, барон.

Он схватил мою руку и крепко, до боли, сжал ее.

— Вы знали ее, — тихо прошептал он. — Она часто вспоминала вас. Помните один вечер, когда она читала нам свои стихотворения? Тогда был май... свежий, цветущий май... Теперь осень... и все, все мертво...

Он откинулся на спинку кресла и закрыл лицо своими

тонкими аристократическими руками. Я взглянул на стол у его кресла, где в беспорядке лежали книги. Между ними было несколько сочинений о спиритизме. Как, неужели Батонкур интересовался подобной литературой? Не искал ли он здесь утешения в смерти своей подруги? Он, у кого раньше разговоры о спиритизме вызывали скептическую улыбку? Когда я посмотрел на барона, то увидел его испытующий взгляд, устремленный на меня. Я не мог скрыть смущения, как будто он поймал меня на месте преступления. Он заметил мое смущение.

— Вы удивляетесь, как и многие, знавшие меня раньше, — сказал он. — Я, неисправимый противник всяких сверхъестественных теорий, так изменился! Да, я обращен, — прибавил он особенным тоном, как дети, понимающие, что они неправы, но желающие доказать свою правоту.

— Но что заставило вас так сильно измениться? — не мог я удержаться от вопроса, хотя сейчас же почувствовал его нескромность.

Несколько мгновений барон безмолвно смотрел на меня. Затем вынул из кармана свой узкий золотой портсигар, украшенный маленьким гербом, и положил на стол. Мы сидели и курили молча. Душистые облака дыма поднимались к потолку; иногда они становились между нами стеной. В камине трещал огонь. Несмотря на довольно теплый октябрьский вечер, барон дрожал всем телом.

— Вы знали Веру... — сказал он наконец, гася папиросу дрожащей рукой. — Вы тоже любили ее...

Я почувствовал, как горячая краска залила мое лицо. Он был прав: я любил ее, эту загадочную серооку русскую с грациозной фигуркой куколки, белыми широкими зубами в рамке рубиново-красных губ.

Я машинально сделал отрицательный жест.

— Зачем вы лжете? — заметил Батонкур, качая головой. — Разве это стыдно? Ведь ее нельзя было не любить. Она была такая добрая, прекрасная... Ангел! Вы читали, что я потерял ее. Несчастный случай, не правда ли? Вы так думали. Боже мой!.. Если бы это было так!.. Но... Зачем это случилось, зачем?

Барон замолчал, голова его тяжело опустилась на грудь. Когда он снова поднял ее, лицо его показалось мне еще более бледным и осунувшимся.

— Вера чувствовала себя не совсем здоровой, — продолжал барон. — Нервы... ей необходимы путешествия, говорили доктора. И мы уехали. Италия.... Африка... Поезд... паром... опять поезд, отель... Меня все это очень утомляло, но ей хотелось все дальше... дальше. Наконец, мы поехали обратно, домой, через Марсель. Вера казалась опять совершенно здоровой. Щеки были, как прежде, круглые и розовые, глаза блестели. В Париже, по ее желанию, мы остановились и заехали в маленький отель на Вандомской площади, где я останавливался и прежде много раз. В день нашего приезда мы оба очень устали и рано легли спать. Было около одиннадцати, когда я погасил свет в своей комнате.

И в эту ночь я видел сон... Думаете ли вы, доктор, что сновидения ничего общего с нашей жизнью не имеют? Что они случайны и с наступлением дня рассеиваются, как туман от солнца?

— Они зависят от нашего ужина, — сказал я, но сейчас же рассердился на себя за это пошлое замечание.

Впрочем, барон как будто не слышал его.

— Мне снилось, — продолжал он, — что мы с Верой вышли из зала, задрапированного черным. Человек в коричневой ливрее с поклоном сделал нам пригласительный жест рукой. Вдруг перед нами появился черный ящик. Человек открыл крышку, приглашая Веру лечь в него. Вера со смехом согласилась, и человек захлопнул за ней крышку. В ужасе я стал рвать ее, вбиваясь ногтями в дерево, но открыть не мог. Но вот ящик стал медленно и беззвучно подниматься кверху... Я вскрикнул... и проснулся. Солнце ярко освещало мою кровать. С улицы доносились неясные звуки и крики парижских газетчиков. Все еще под влиянием страшного сна, я оделся и отправился в кафе, где Вера ждала уже меня. Она была прекрасна в своем платье, с большим букетом темных благоухающих фиалок. Когда я рассказал ей свой сон, она много смеялась. После кофе мы поехали в

Лувр «сотворить молитву перед Венерой Милосской», как сказала Вера. Когда мы вернулись в отель обедать, к нам подошел человек, поднимавший машину. Я видел его так близко в первый раз. Эта темно-коричневая ливрея... где я видел ее?... В Риме? В Каире?... Я сразу вспомнил!.. Минувшей ночью, во сне! И теперь... то же движение рукой, как тот... Я хотел было удержать Веру, но она быстро вскочила в подъемную машину, человек вошел вслед за ней и машина медленно и беззвучно поднялась вверх... Я стоял, как пригвожденный к месту, и ждал. Я знал, что в следующий момент произойдет что-то страшное. Старый американец, стоявший возле, испуганно смотрел на меня. И вот это произошло... Какой-то свист... грохот... треск... Два отчаянных крика... и оглушительное падение...

Я очнулся в больнице. Сестра милосердия сидела у моей постели. Заикаясь, я спросил о Вере... Сестра приложила палец к губам. Потом я узнал все от доктора. Подъемная машина упала, Вера и служитель отеля были убиты...

Барон замолчал и неподвижно смотрел перед собой широко раскрытыми глазами, точно видел что-то ужасное.

— Вчера я был у психиатра, — проговорил он, наконец, хриплым голосом. — Но все пожимают плечами и никто не может сказать, чем я болен.

К. Мэтью

МЕСТЬ ПРОФЕССОРА

Из области спиритизма

— Не могу, не могу! Я не смею. Боюсь.

В комнате было темно, только огоньки догоравшего камина, прыгая искорками, освещали ее лицо и глаза, полные страха.

Он взял ее руку и сжал.

— Боишься? Чего? Что моя любовь умрет, когда ты будешь со мной? Что жизнь моей души погаснет при первом дуновении счастья? Клотильда! Клотильда! Я не могу выразить тебе словами, но посмотри в мои глаза! Разве ты не можешь прочесть? Дорогая, любимая, посмотри.

— Нет, нет! Я не смею... Не смею.

Она отшатнулась, закрыв лицо руками.

— Посмотри, посмотри, — зашептал он, притягивая ее.

Открыв глаза, она встретила его страстный взгляд.

— Любишь, любишь, — шептала она, как очарованная.

— Уйдем, нас ждет мир, этот сад любви, и всюду у наших ног будет пышным цветком распускаться любовь. Оставим все холодное и мрачное здесь и поищем храма любви, моя чудная!

Медленно сближались их губы и наконец встретились. От счастья она закрыла глаза. Опомнившись, она вскочила.

— Нет, нет! Я знаю, ты любишь, и не боюсь. Если бы ты даже не любил, а ненавидел, я бы с восторгом пошла на край света твоей счастливой рабой! — Она задыхалась. — Сплетни?! Ты думаешь, они что-нибудь значат для меня?! Наши имена достаточно трепали за эти два года! Мне все равно! — Она протянула ему руки и засмеялась. — Я твоя, твоя, любовь моя, и хочу, чтобы весь мир знал это! В моей любви к тебе нет ничего постыдного. Я замужем, да, но только по имени; я не жена ему, а только «выражение закона природы». Он обращается со мной, точно я вечно под его микроскопом. Я ненавижу его!

— Тогда, моя жизнь...

— Нет, нет! Разве ты не видишь, что я боюсь его, боюсь за тебя! — Ее голос задрожал. — Ты считаешь его полоумным стариком, который на старости лет вздумал заниматься глупостями, вызывая духов? Ты считаешь это безвред-

ной забавой? Если бы ты только знал!

Она села с ним рядом на диван и схватила его руки. Он обнял и прижал ее, дрожавшую всем телом. Невольно ее страх передался ему, и он нервно оглянулся; он чувствовал в комнате чье-то присутствие — ему казалось, что профессор был здесь и слушал их.

— Он был знаменитым ученым, прежде чем принялся за свои исследования! — шептала она. — Он знает все науки Запада и все восточные тайны — он прожил десять лет в монастыре в Тибете. Подумай только об этом. Нет ничего на свете, чего бы он не знал и не мог сделать! Я видела его. — Она вся сжалась и оглянулась. — Я чувствую, что он здесь, около меня, позади нас... Вот здесь, здесь. — С подавленным рыданием она прижалась к нему. — Это безумие, но я уверена, что он знает все, все наши встречи, все...

— Пустяки, дорогая, пустяки, — перебил он ее, выражая уверенность, которой не чувствовал сам. — Если бы он знал, то вмешался бы давно, когда еще не было поздно.

— Нет, нет! — Она содрогнулась. — Он дьявол, дьявол без сердца, без чувства. Он хочет только полюбоваться, что выйдет из «естественного закона природы». Я знаю, он следит теперь за нами и появится в критический момент, а затем... О! — Она откинулась на спинку дивана и закрыла глаза.

— Тогда испытаем его! Пусть наступит этот критический момент. — Клаверинг потянулся к ней. — Уйдем теперь, моя любовь, уйдем сейчас. — Он схватил ее руки и покрывал страстными поцелуями, притягивая к себе все ближе и ближе ее сопротивляющееся тело. — Идем в мой сад, в мой храм любви! Листья шепчут нам привет, цветы распускаются у наших ног! Оставим этот мрачный дом с его холодным дыханием смерти! Идем туда, где сияет солнце любви! Приди ко мне, я умираю от любви к тебе! Идем в наш храм, где ждет нас любовь.

— В наш храм, где ждет нас любовь! Как чудно звучит это!

Она замерла, повторяя эти слова. Камин догорал. Последние искры гасли, умирая, слабо озаряя ее лицо. Кругом тонови неясные тени.

— Идти с тобой, моя любовь, мой господин, уйти из этого холода на солнце!

Ее глаза закрылись в экстазе от нахлынувших чувств, и она склонилась к нему. С неизъяснимой нежностью ее руки обвились вокруг его шеи. Он страстно прижал ее к себе.

— В храме любви! — шептала она, ища его губ.— Любви. — Ее голос оборвался. — Смотри, смотри! — простонала она.

Дверь открылась, и на пороге в лучах ярко хлынувшего света рельефно выделилась фигура профессора. Лицо его было в тени, и одна рука, на которой сверкал изумруд, была поднята над головой. Он стоял, не двигаясь. Клотильда вырвалась из объятий Клаверинга и двинулась к мужу, останавливаясь на каждом шагу и как бы противясь его молчаливому приказу, но — увы! — тщетно.

Профессор отступил, пропустил ее и, не взглянув даже на Клаверинга, молча последовал за ней.

В столовой Клотильда обернулась, ожидая, что он заговорит. Профессор запер дверь и впился в нее черными глазами.

— Ну, что ж, что ж вы молчите? — вырвалось наконец у нее. — Вам нечего сказать?

Тонкие, бескровные губы открылись, извиваясь, как змеиное жало и обнаружив два кривых обломка зуба.

— Очень интересно, очень интересно, — пробормотал он, — поймать мужу жену при таких... таких обстоятельствах.

С жестом отвращения Клотильда отвернулась. У него не было даже человеческих чувств! Открытие ее измены ничего не значило для него.

Молчание нарушалось только тиканьем часов и нервным постукиванием ее ноги о решетку камина. Несколько раз она бросала на него взгляды через плечо, но профессор не двигался. Он казался скорее злым духом, чем живым существом, в длинном сюртуке, висевшем, как на вешалке, на худом теле, с мертвенным лицом, представляющим такой чудовищный контраст с горевшими злым огнем черными глазами и густыми нависшими бровями. Он бесшумно двинулся к столу, и у Клотильды вырвался вздох облег-

чения.

Все было лучше, чем это ужасное молчание!

— Ввиду некоторых обстоятельств, — начал он, гипнотизируя ее пронзительным взглядом, — я предпочитаю окончить свое земное существование сегодня вечером ровно в 8 часов 35 минут.

— Вы хотите убить себя? — крикнула, задыхаясь, Клотильда.

— Конечно, нет!

Профессор стоял, не двигаясь, как каменное изваяние, только черные глаза сверкали и говорили, что жизнь еще теплилась в этом теле.

— Конечно, нет! Но мои вычисления указали точный момент, когда окончится мое земное существование. Я умру от естественных причин, если говорить не научным языком.

— О! — вырвалось у Клотильды.

— Я желаю быть похороненным, как указано в моем завещании, — продолжал бесстрастно профессор, — и вы должны следить, чтобы мои инструкции были в точности выполнены, — в точности до малейшей детали. Это кольцо с изумрудом, как я уже упомянул в завещании, ни под каким видом не должно быть снято, и меня должны похоронить с ним.

Клотильда бросила взгляд на зловеще сверкающий изумруд и содрогнулась.

Профессор заметил это и насмешливо улыбнулся:

— Мое астральное «я» потребует по крайней мере четырех, даже пяти дней, чтобы привыкнуть к окружающей обстановке. А потому в пятницу ночью я буду уже свободен, чтобы соединиться с вами.

— Со... со... мной? Когда вы будете мертвым?

Клотильда зашпалась.

— Не мертвый, — а астральный. Но это не важный пункт. Обратите внимание на мои приказания. В пятницу в половине девятого вечера вы постучитесь в дверь № 29, Vesta Terrace, Pimlico. Там вас будут ждать мои друзья. Вы выполните все без малейшего колебания и будете ждать моего послания. Вот и все.

— Но...

— Нам не о чем больше говорить, — перебил ее профессор, вытягиваясь во весь рост. — Помните и повинуйтесь.

— Но...

Клотильда двинулась к нему, с мольбой протягивая руки; в ее глазах стоял ужас. Профессор поднял руку.

— Помните! — прозвучал его голос угрозой.

Клотильда покорно склонила голову.

— Я буду помнить и повиноваться! — произнесла она безжизненным голосом.

Профессор взглянул с насмешливой улыбкой на шатающуюся фигуру жены и бесшумно оставил комнату.

* * *

Клаверинг не почувствовал ни малейшего сожаления, когда узнал о смерти профессора, но чувство приличия удержало его, и он не пытался увидеть Клотильду до тех пор, пока она сама не прислала за ним.

Когда он вошел, она встретила его с протянутыми руками, но мягко отклонила его объятия.

— Он все-таки был моим мужем, и мы должны считаться с этим. Когда он был жив, я ничем не была ему обязана, теперь он умер...— Она не договорила и схватила его руку. — Я боюсь, Дик, о, как я боюсь! Он сказал, что будет приходить ко мне, и сегодня ночью я получу от него первую весть. Дик, дорогой, скажи, он может? Нет?

— Конечно, нет, дорогая, он только пугал тебя. Это невымыслимо!

— Но я боюсь, боюсь.

Клотильда была смертельно бледна, ее губы дрожали от страха, и она с мольбой смотрела на Клаверинга, ухватившись за него дрожащими руками.

— Он приказал мне сегодня вечером прийти на сеанс. Приказал, загипнотизировал меня. Я не знаю, что со мной творится, но каждый раз, когда я просыпаюсь, я повторяю его приказание. Дик, спаси меня!

Усталая от пережитых страданий, она прильнула к нему, как обиженный ребенок и, убаюкиваемая его шепотом, наконец заснула.

В первый момент восхитительная новизна положения отогнала все другие мысли Клаверинга. Но когда в комнате стало темнеть, им овладел непонятный, безотчетный страх.

В последнее время в газетах так много говорилось об успехах, достигнутых профессором в области спиритизма и оккультизма. Для тех, в кругу которых профессор был центром, смерть не была больше разлукой с живущими. Посредством автоматического писания, рисунков, фотографий и медиумов постоянно получались известия с «того света». А раз это так, так почему же не что-нибудь более вещественное?

Все знали, что профессор верил в возможность более вещественных явлений и, чтобы доказать свою теорию, приказал похоронить себя с изумрудным кольцом.

Тайное общество, в котором он был председателем, должно было собраться в эту ночь, чтобы проверить его обещание. На этом-то сеансе и должна была присутствовать Клотильда.

Клаверинг встрепнулся. Смешно! Даже если профессор и призвал ее, так что же из этого? Ученый или неученый, но он был мертв. Клаверинг вздрогнул, почувствовав за спиной прикосновение ледяной руки. В комнате было совсем темно и как-то странно, мертвенно спокойно, тихо. Он чувствовал — больше: он слышал биение сердца, которое заглушало дыхание спящей Клотильды. Часы пробили восемь. Клаверинг воспрянул духом.

Клотильда мирно спала, мотор не был заказан, а до «Vesta Terrace» было по крайней мере полчаса езды.

Следовательно, гипнотический приказ профессора не был таким могущественным, иначе бы она проснулась раньше.

Дверь отворилась.

— Мотор готов, — доложил лакей, заглядывая в комнату.

— Тише, тише, — зашептал Клаверинг.

Безотчетный страх с удвоенной силой охватил его.

— Миссис Грейг спит, вы разбудите ее!

— Но мне приказано разбудить, сэр, — настаивал слуга.

— Приказано? Когда?

— Когда был заказан мотор. Госпожа спустилась ко мне и приказала, в случае, если она заснет, чтобы разбудить ее. Это было полчаса назад.

— Полчаса назад! — Опять Клаверинг почувствовал ледяное прикосновение к спине и страшный холод, проникающий до самого мозга. — Полчаса назад, — повторил он упавшим голосом. — Да она спала!

— Да, она выглядывала несколько сонной, сэр, но, уверяю вас, это была она.

— Хорошо, хорошо, она переменяла намерение. Ступайте и тихонько затворите дверь. отошлите мотор.

— Нет, он мне нужен! — Клотильда поднялась. — Я хочу ехать в «Vesta Terrace» и видеть моего дорогого мужа! — проговорила она, запинаясь, точно ребенок, повторяющий урок.

Она протерла глаза и встала.

— Который час, Мастерс? — спросила она уже спокойным тоном слугу.

— Десять минут девятого.

— Как, уже? Я опоздаю.

Отклонив протянутую руку Клаверинга, она бросилась к двери.

— Не удерживай меня, не удерживай, — мой дорогой муж...

— Клотильда, Клотильда, — умолял ее Клаверинг, бросившись за ней и столкнувшись в дверях с лакеем.

Эта задержка дала Клотильде возможность опередить его и сесть в мотор, так что, когда он спустился на улицу, за углом мелькнули только огни умчавшегося автомобиля. Догнать ее не было возможности, но Клаверинг решил присутствовать на сеансе во что бы то ни стало. Вскочив в первый попавшийся мотор и крикнув адрес, он упал на сиденье, объятый паническим страхом, предчувствием чего-то неизвестного.

Его страх усилился, когда на ближайших часах ударила половина девятого и, обогнув «Vesta Terrace», он, высунувшись, увидел, как Клотильда вошла в дом под № 29. Профессор вычислил время до точности!

К его удивлению, ему никто не препятствовал войти, — напротив: служанка, отворившая дверь, объявила, что его ждут, и ввела его в еле освещенную комнату, где за круглым столом сидели человек двенадцать мужчин и женщин и среди них смертельно бледная, с полными безнадежного ужаса глазами Клотильда.

Умоляющий взгляд ее остановил его намерение увести ее и, повинувшись ей, он сел рядом на незанятое место, очевидно, приготовленное для него.

Огни потушили, и воцарилось зловещее молчание. Тяжелые драпировки на дверях и окнах не пропускали извне ни малейшего звука. В комнате не слышно было даже дыхания присутствующих, лишь слабое, подавленное рыдание Клотильды было единственным признаком жизни.

Минуты ползли. Вдруг раздались три громких стука. Клотильда вскрикнула, и Клаверинг почувствовал, как холод пополз у него в мозг.

К ужасу Клаверинга, на столе при каждом ударе сверкали зеленые огоньки.

Маленькая ледяная ручка Клотильды схватила его руку, и все его страхи исчезли.

Он был здесь, с нею, готовый защищать ее!

Он смело выпрямился.

Зеленая искра превратилась в зеленое туманное пятно, сначала в величину монеты, затем блюдечка и наконец человеческой головы. Пятно носилось кругом стола, отбрасывая демонический отблеск на лица. Проходя по лицу Клотильды, пятно остановилось, а затем завертелось над столом в уровень с ее глазами — а затем, извиваясь, как змея, стало кружиться около Клаверинга.

Как жало змеи из зловещего цветка, выросла из него человеческая рука с изумрудным кольцом. Рука бросилась к горлу Клаверинга и остановилась всего на вершок, как бы издеваясь и заранее торжествуя победу. Затем она медлен-

но поднялась и вдруг бросилась на Клотильду.

Крик ужаса, вырвавшийся у нее, заставил очнуться онемевшего Клаверинга. Вскочив, он изо всей силы ударил ужасное видение, и его удар пришелся по чему-то плотному, осязаемому, ужасному. Опять рука бросилась вперед, но Клаверинг схватил обеими руками что-то липкое, страшное, извивающееся.

Разбросавшиеся лучи опять собрались в одну точку, в середине которой было изумрудное кольцо, горевшее, как человеческий глаз.

Отпрянув в ужасе, Клаверинг выпустил руку, которая ринулась вперед и ударила его по лицу. Защищая себя от удара, он поднял руки.

Почти потеряв сознание, он смутно чувствовал, что находится между этой ужасной рукой и Клотильдой; стиснув зубы, он наклонился вперед и ударил ее. Опять рука бросилась вперед. Клаверинг хотел предотвратить удар, но рука его скользнула, и когти вцепились ему в волосы. Все глубже и глубже забирались эти пять раскаленных цепких когтей, просверливая ему мозг. Зеленые и красные круги пошли у него перед глазами. Раскаты грома гремели в ушах; затем рука приподняла его в какую-то пустоту, и все померкло... Он потерял сознание.

* * *

Прошли годы. И до сих пор на лице Клаверинга заметна с годами побледневшая, но все еще красноватая полоса. Жена его уверяет, целуя каждый день этот знак, что у профессора было намерение испортить не его, а ее лицо, с тем, чтобы он разлюбил ее.

Л. Г. Моберли

НЕОБЪЯСНИМОЕ



Петли на воротах были заржавлены и, когда они за мной закрылись и замок щелкнул с резким звуком, я невольно вадрогнула. Этот звук напомнил мне старую историю о замках и тюремщиках и я невольно оглянулась на пригородную дорогу, по которой я пришла — ничего менее внушающего страха, как эта обыкновенная дорога, нельзя было себе представить. Я должна была осмотреть дом № 119 по Глэзбрикской площади в далеко не поэтичном пригороде Прильсбори, где мы с мужем решили поселиться ввиду того, что местность эта считалась здоровой и находилась в недалеком расстоянии от Лондона, куда ежедневно должен был ездить муж. Я была приятно поражена комфортабельным видом домов, окружающих площадь и, хотя палисадник перед домом № 119 был в состоянии крайнего запустения, все же, идя по дорожке, заросшей травой, я уже думала о том, что это можно легко исправить.

Как подобает людям его звания, управляющий рассыпался в похвалах дому, и я действительно должна сознаться, что он был прав, так как № 119 был очаровательным домиком, прекрасно расположенным, очень удобным, с прекрасным садом позади. Всюду лежала пыль толстыми слоями, так что ваши ноги тонули в ней, а свет еле пробивался сквозь окна...

— Я удивляюсь, что дом довели до такого состояния, — сказала я, когда мы остановилась в прекрасной большой спальне наверху.

— Мы нашли... — начал он, но вдруг покраснел и оборвал начатую фразу. — Миссис Дайтон нашла нужным... —

затем он спокойно начал объяснять, как можно бы было привести дом опять в порядок.

Вдруг мой взор упал на маленький столик, который стоял около стены у камина. Это был простой восьмиугольный столик на трех ножках, какие обыкновенно встречаются в гостиных, но он был совершенно необыкновенной работы, и я прошла через комнату, чтобы поближе полюбоваться его резьбой. Вся его поверхность была покрыта инкрустациями, которые представляли собой переплетенные цветы и листья, а в каждом из восьми углов был изображен маленький аллигатор головой наружу. И, когда свет падал на них, чешуйчатые тела казались живыми, и маленькие зловещие головки с маленькими злыми глазами, казалось, шевелились. Я вздрогнула и отошла от стола, голос управляющего, казалось, доходил до меня издалека.

— Стол принадлежит к дому, — говорил он.

Я не думаю, что он повторял эти слова часто, но в тумане, который овладел мной, мне казалось, что он, подобно попугаю, повторял: «Стол принадлежит владельцу дома». Потом туман рассеялся и я услышала спокойный голос управляющего, хотя меня корбила его бледность:

— Вы устали, сударыня?

Я провела рукой по лицу:

— Не знаю, но мне кажется, что здесь душно, мне сделалось даже немного дурно, и потом, какой здесь страшный запах, которого я раньше не заметила.

— Вентиляторы были приведены в порядок совсем недавно, — быстро вставил мой путеводитель. — Мне кажется, что запах, который вы замечаете, происходит оттого, что дом был долго заперт и что деревья солнечного света не пропускают.

То, что он говорил, звучало совершенно благоразумно и, когда он отворил окно, то запах исчез совершенно и я оправилась. Но все же я решила, что раньше, чем нанять дом, я заставлю еще раз проверить вентиляторы.

Уходя, я вспомнила опять о резном столике и спросила:

— Как могли прежние обитатели дома оставить такую редкость? Если я найму этот дом, то, конечно, я не оставлю

его в спальне, а поставлю его на видном месте в зале.

Молодой человек посмотрел на меня со странным выражением и попрощался.

Я была уверена, что мы найдем домик и мой муж, который на другой день пошел со мной, вполне разделит мое восхищение.

Окна были открыты. Странного запаха больше не было и солнце светило, отвечая нашему настроению. А что касается стола, то муж мой, как и я, совсем был очарован им и не мог понять, как люда в полном уме могли оставить такую драгоценность.

— Тем лучше для нас, — сказал Хью*, глядя инкрустированную поверхность стола, и пальцы его бессознательно останавливались на голове одного из аллигаторов, голова которого была так искусно сделана, что можно было содрогнуться от его отвратительного вида.

— Боже мой, Мэй, они как живые, мне даже показалось, будто они шевелятся, — и Хью отскочил от стола и устался на него испуганными глазами.

— Скоро я начну видеть призраки среди белого дня, — сказал он и рассмеялся.

Затем мы пошли дальше. Через две недели мы уже въезжали в наше новое жилище.

Дом был вычищен сверху донизу, сад приведен в надлежащий вид. И когда в это прекрасное майское солнечное утро мы вошли в наш дом, который был наполнен запахом сирени, врывавшейся в открытые окна из сада, мы решили, что проживем здесь всю жизнь.

— Этот стол слишком хорош для спальни, мы его снесем вниз, в гостиную.

— Да, пожалуй, — сказала я рассеянно, потому что думала о коврах и занавесках. — И кстати, открой окна, так как здесь все же странный запах.

Хью взял маленький столик и я вернулась к своим размышлениям, как вдруг ход моих мыслей нарушил пронзительный крик Хью. Я бросилась вниз и увидела мужа ле-

* В исходном русском пер. вместо «Hugh» — несуразное «Гут».



жащим на полу; столик стоял возле него, по-видимому, неповрежденный.

— Ничего, — сказал он, стараясь успокоить меня, — вероятно, угол ковра попал мне под ноги. Мне показалось, что что-то проскользнуло между моими ногами. Слава Богу, что я не сломал шею и что столик остался цел.

Да, столик был цел, аллигаторы были невредимы и только зловеще скалили зубы.

— Противные создания, — сказал Хью с содроганием, когда я помогла ему перейти в гостиную, — малый, который вырезал их, был настоящий художник.

— Нужно будет подрезать эти кусты перед окном, — сказал он мне на другой день после своего приключения, втягивая воздух, — здесь пахнет растениями — кусты слишком густы. Боже, это что? — и он выпрямился на диване: стол аллигаторов, стоящий у окна, издал страшный треск. Признаться, я также вздрогнула, так громок был звук.

— Как смешно, — сказал Хью, враждебно поглядывая на чудную резную работу, — я ненавижу вещи, которые заставляют нас вскакивать, и это был какой-то страшный треск, похоже на.... на — никак не пойму, на что — Мэй, скажи же, на что?

— Он не похож на что-нибудь, что я когда либо слышала, — ответила я. — Может быть, это особенное дерево — но теперь, раз я знаю, что этот стол имеет свои причуды и фокусы, я уже не буду больше так пугаться.

После этого прошло приблизительно два дня — как вдруг, спустившись в кухню, чтобы заказать обед, я нашла нашу всегда аккуратную кухарку в состоянии полного расстройства: волосы были растрепаны, платье в беспорядке, точно она только что встала с постели.

— Перестаньте плакать, Мария, я ничего не понимаю.

— И никто не поймет, — возбужденно возразила она, — это совсем нехорошо, и ни в одном приличном доме не должны стучаться такие вещи — никто не выдержит этого, я всегда была довольна вами, но это...

— Мария, перестаньте, наконец, говорить вздор и объясните, в чем дело — что ж случилось?

— Случилось достаточно, — сказала она дрожащим голосом и испуганно оглянулась, как будто она ожидала увидеть кого-то дверях. — Если бы я упала — я сказала бы, что это был кошмар — но это было наяву.

— Но что же случилось, наконец, скажите же, о чем вы говорите?.

— Я не знаю, — был совершенно неожиданный ответ, — если б я знала, что это, я бы могла вам сказать, но я, как новорожденное дитя, ничего не знаю, — и она вздрогнула — видно было, что это был неподдельный ужас.

— Мария, — сказала я серьезно, — мне не хочется предполагать, что вы...

— О, я не выпила, сударыня, — ответила она вежливо, опять оглядываясь, — но я до утра не засыпала и не смела пошевелиться, думала, что оно меня схватит.

— Кто вас схватит? — и я почувствовала, как дрожь пробежала по моей спине, когда я заметила выражение ее глаз.

— Я не знаю, — повторила она. — Я только знаю, что лежала с открытыми глазами и слышала, как пробило два часа и вдруг... — она придвинулась ко мне и опять задрожала, — и вдруг моя дверь открылась — я ее не замыкаю на ночь, она открылась настежь и вошло — вошло...

— Что? — вскричала я, когда она остановилась.

— Не знаю, что это было, я только слышала, будто кто скользит по полу — скользит или шлепает, я не могу объяснить, что я слышала, я не смела зажечь свечу и лежала, дрожа всем телом, пока оно проползало по полу.

— Мария, как это нелепо, — сказала я, хотя при ее рассказе я опять почувствовала дрожь по спине. — Должно быть, кошка вошла в вашу комнату.

Но это приключение все-таки взволновало меня и я почувствовала облегчение, когда в этот же вечер Джек Вилдинг, старый друг Хью, пришел к обеду. Это был очаровательный человек, который изъездил весь свет; <он> был очень умен и запас его рассказов был неисчерпаем.

Окна были открыты настежь. Был чудный майский вечер, воздух был насыщен ароматом цветов, как вдруг в это

благоухание примешался тот самый запах, который мы несколько раз замечали и который я никак не могла определить. Когда он пронесся по комнате, наш гость внезапно выпрямился и страшный серый цвет покрыл его бронзового цвета лицо.

— Боже мой, что это?! — сказал он. — Ведь это тот самый запах, тот самый!

Он словно застыл и в напряженном молчании я услышала звук, который навел на меня бесконечный ужас. Я не могу описать этот звук только как отдаленный рев — это был какой-то отдаленный, зловещий звук.

— Вы также слышите? — спросил Джек Вилдинг шепотом и, когда он встал, его лицо было мертвецки бледно и большие капли пота выступили на его лбу.

— Вы слышите? И запах тот же. Боже мой, если я подумаю, что мне придется опять пройти через это болото, я сойду с ума!

Его слова, его интонация так мало походили на нашего здравомыслящего веселого друга, что Хью и я в изумлении смотрели на него. Не было никакого сомнения, что его ужасное волнение — по каким причинам оно ни произошло, — было вполне искренним.

— Что с тобой, старый друг? — сказал ласково Хью. — Правда, что здесь страшный запах — мы думали, это скверная вентиляция.

— Вентиляция! — Джек хрипло засмеялся и, проведя рукой по лбу, перевел растерянный взгляд от Хью на меня.

— Это кошмар — это кошмар среди бела дня, — сказал он, озираясь. — Я могу поклясться, что это тот же запах болота аллигаторов в Новой Гвинее — там, где... — и он остановился. — Я слышал, как проклятые бестии ревели. Но, конечно, это только странная галлюцинация.

Он говорил надтреснутым голосом и бледность еще покрывала его лицо. Хью успокаивающе положил руку на его плечо, между тем как я задумалась о реве, который я только что слышала.

— Ты, вероятно, смотрел на этот прелестный маленький стол и это напомнило тебе про аллигаторов.



Джек посмотрел на маленький стол, но отшатнулся, когда увидел эти головы в рамке листьев и цветов.

— Проклятые бестии, — сказал он все еще нетвердым голосом. — Вы оба подумаете, что я старый дурак, — и он опустился в кресло.

— Однажды я прошел со своим другом по болоту аллигаторов. Было темно и болото кишело этими отвратительными дьяволами. Их запах слышался везде. Было темно и бедный Дастон еле выговаривал слова, и в темноте они его стянули с бревенчатого моста, — тут голос его оборвался и никто из нас долго не мог выговорить слово.

— Я ни за что не оставил бы этот стол в моем доме, — начал было Джек спокойно. — Что касается меня, то я хотел бы вычеркнуть всяких аллигаторов из моей памяти!

Он встал.

— Разрешите мне пойти в мою комнату. Покойной ночи.

Он только что встал, сделал несколько шагов, как вдруг споткнулся и, не найдя опоры, грузно упал на пол. Что-то выскользнуло из под его ног, я увидела темное тело, потом сверкнуло что-то серебристое и все исчезло. Пока Хью помогал встать вашему гостю, я все еще бессмысленно смотрела на то место, где это тело промелькнуло.

— Я споткнулся о что-то, — сказал Джек в замешательстве.

— Это была наша противная кошка, — ответил Хью, голос его звучал спокойно и весело. — Она всегда там, где не нужно. Мне так жаль, друг мой, что это тебя так расстроило.

Когда на другое утро Анна принесла мне чай, она первым делом уронила весь поднос с посудой, а затем разразилась рыданиями. Хью не было — он пошел провожать своего друга на станцию и я была одна.

— Я больше здесь не останусь — ни за что на свете, — стонала Анна. — И кухарка тоже. Ни одну ночь больше мы здесь не останемся.

— Это вас напугала кухарка, — я старалась говорить строго и убедительно, но сама далеко не была спокойна, вспо-

миная то нечто, что выскользнуло из-под ног Джека вчерашним вечером. — Я думала, что Вы слишком разумны, чтобы из-за пустяка делать историю.

— Пустяк — о Боже! — и Анна моя, безукоризненная и спокойная, упала на стул и снова зарыдала.

— Что ж вас испугало? — спросила я спокойно, невзирая на то, что чай разлился по всему ковру, а хлеб и масло валялись рядом. — Ну, скажите.

— Мы спали вместе прошлую ночь, — и Анна подняла испуганное лицо, — кухарка и я. Мы закрыли дверь на ключ, но все-таки оно вошло, — взвизгнула она.

— Что вошло, Анна? — спросила я спокойно, хотя сердце у меня сильно билось. — Я полагаю, что кошка была в комнате, и она вас так испугала.

— Нет, это была не кошка, — сказала она испуганным шепотом и, несмотря на все мои усилия быть спокойной, я чувствовала, что все мои волосы становятся дыбом. — Нет, оно было больше двадцати кошек и оно ползло и шлепало по полу... Мы боялись зажечь свечу, — простонала она, — но шторы не были совсем спущены и мы видели что-то темное с белой полосой, и оно ползло по полу.

— Довольно, Анна, — сказала я, — я переговорю с баринном.

— А пока никто в этом доме не будет спать, — заявила Анна; и действительно, служанки настояли на своем и нам пришлось решить вопрос так, что мы их отпустили на два дня и взяли поденщицу. Но в четыре часа эта женщина вышла ко мне с побледневшим лицом и объявила, что не останется ни на минуту больше.

— Я не привыкла, чтобы держали таких животных, — говорила она.

— Но у нас ведь только одна кошка, — ответила я.

— Кошка кошкой, а собака собакой — и хотя они не очень приятны — но я против них ничего могу сказать. Но те животные, которые выползают из кладовых и шлепают по кухне на животе — держать их не полагается! Кто их любит, пусть любит, но я не останусь здесь больше!

Она не была пьяна, и мне не осталось больше ничего,

как заплатить ей деньги и отпустить ее, что я и сделала. Затем я протелефонировала Хью, что приеду в город и что мы пообедаем там. Когда я ему все рассказала, он только засмеялся и сказал, что это, вероятно, прислуга настроила миссис Дженкинс и чтобы я не давала себя морочить. Но когда мы вернулись в десять часов домой и Хью открыл нашу дверь — зловоние, которое так встревожило Джека, хлынуло на нас и я, дрожа, в ужасе отступила.

— О, Хью! Мне так страшно.

— Глупости какие, одна чепуха, — начал было Хью, втягивая меня за собой в дом и затворяя дверь, которая закрылась с резким звуком. — Ты не должна... — но тут его фраза оборвалась и он схватил так судорожно мою руку, что я еле устояла на ногах.

— Что-то проскользнуло между моими ногами, — сказал он, повторяя слова Джека, — Я почти упал. Ну, задам же я кошке.

Больше он ничего не сказал. Леденящий ужас, очевидно, охватил и его, и мы стояли, цепляясь друг за друга, и смотрели на лестницу, по которой в сумерках с быстротой молнии скользило большое тело. Другое медленно выползло из дверей гостиной, а из столовой слышалось страшное шлепанье, шипение, — кровь моя застыла.

Наконец я овладела собой и громко закричала:

— Хью, убежим, убежим скорее.

Но ничто не могло его заставить пойти ночевать к нашим соседям; он говорил, что всякий разумный человек посмотрит на нас, как на сумасшедших, если мы заговорим о таких небывицах. И пришлось переночевать в маленьком доме в саду, который был предназначен для садовника.

Когда на другое утро, при ярком солнечном свете, мы вошли в наш дом, нам все происшедшее ночью показалось диким сном, как вдруг в одном углу я увидела плоскую голову, в которой сверкали два злобных глаза и дьявольская насмешка открывала два ряда отвратительных зубов. Хью тоже видел эту голову и страшно побледнел — но вдруг она исчезла. Тогда он бросился в гостиную и схватил маленький стол с чудной резной работой и с ужасающими го-



ловами аллигаторов.

— Что ты хочешь сделать? — спросила я боязливо.

— Я сожгу эту дьявольскую штуку, — ответил он злобно.

— Но при чем тут столик? — начала я, однако Хью только злобно усмехнулся.

— Не знаю, но я больше не желаю рисковать нашим спокойствием.

И он унес столик в сад, обложил его соломой и зажег его. Мы молча смотрели на огонь, пока не осталась только куча золы. Тогда Хью сказал:

— Да пропади всякая дьявольщина, а теперь пойдем к управляющему.

Но от управляющего мы ничего не узнали: он с деланным удивлением смотрел на нас и вежливо отвечал нам.

— Я сжег этот дьявольский столик и никто больше не увидит его. Это было подло со стороны ваших господ оставлять такую вещь в доме!

С этими словами Хью вышел из конторы, и мы вернулись в наш дом, в котором больше никогда не проявлялись

признаки колдовства. Но долго я не могла забыть все пережитое — и оно все же остается для меня необъяснимым.

Может быть, вы сумеете найти объяснение всему этому?



Эдмон Пилон

ТАЙНА ЗАМКА

Не успел аббат Тетю вернуться в свой церковный домик, как чей-то громкий взволнованный голос позвал его из сада. Выйдя на площадку, он узнал старую Нанон, кастеляншу соседнего замка, запыхавшуюся от быстрой ходьбы.

— Господин кюре, наш барин умирает. Возьмите святые дары и пойдемте в Яблонную...

Аббат Тетю быстро привел в порядок свой туалет, поднялся в свою комнату, захватил все, что требуется, и в полумраке надвигающихся сумерек двинулся вслед за Нанон по прекрасной замковой дороге, обсаженной дубами.

Через короткое время они уже были в виду парка, сквозь растительность которого ясно различались замковые башенки и остроконечная крыша. Вследствие поразительного изобилия яблонь, усадьба и замок носили название Яблонной, которых, впрочем, в Нормандии имеется несколько. Но величайшей достопримечательностью Яблонной служили не бесчисленные яблони и не сам замок, отличавшийся архитектурными красотами; самой поразительной и достойной удивления вещью в этом месте было не жилище, а его обитатель, владелец усадьбы, замка и окружающего поместья.

Уже почти восьмидесятилетний старик, маркиз де Форже за последние десять лет безвыходно оставался в пределах Яблонной. Со впавшими глазами, с отросшей до пояса бородой и высохшим, словно восковым лицом, он проводил все дни в своей комнате, созерцая три портрета, висевшие над его кроватью. Никто не смел потревожить его уединение. Кругом царила гробовая тишина, точно все вымерло, и даже ветер, казалось, затихал при приближении к замку, чтобы шелестом ветвей и листьев яблонь не нарушать царящего покоя. Одна только старая Нанон бесшумной тенью скользила по замку, стараясь хоть до некоторой степени придать ему жилой вид... Мрачное, безмолвное царство смерти и забвения...

Три портрета, висевшие над кроватью старца, действительно достойны были созерцания. На главном из них изображена была женщина в костюме времен наших прабабушек. На ней был корсаж небесно-голубого цвета, отде-

ланный газом, и тюлевый передничек, расшитый цветами. Ее плечи были обнажены; лучистые белокурые волосы, по тогдашней моде, свисали дивными локонами вокруг лица. Темно-синие глаза, белая, будто прозрачная кожа, маленький, алый, как гвоздика, ротик...

На втором портрете был изображен сам маркиз де Форже, в кудрях, в высоком галстуке, шелковом жилете и кафтане, стянутом в талии. При взгляде на этот портрет сразу чувствовалось, что когда-то маркиз был красавцем. Третий портрет принадлежал молодому офицеру колониальных войск в расшитом мундире, аксельбантах и орденах. В его чертах было много сходства с маркизом де Форже.

Войдя в комнату, аббат Тетю с трудом разглядел в полумраке лежащего старика. И только, когда раздался слабый голос последнего, аббату удалось, наконец, всмотреться в его лицо.

— Господин аббат, — проговорил умирающий, — конец мой близок. Я уже сделал все необходимые распоряжения, и смерть, так долго отворачивавшаяся от меня, наконец пришла. Но перед уходом в иной мир я хочу исповедаться. Эта исповедь, господин аббат, представит меня в совершенно ином свете, чем вам могло казаться. Но, так как я совершенно ослабел, то вам расскажет все Нанон, посвященная во все особенности моей жизни...

Несколько смущенный этим вступлением, аббат Тетю осторожно положил святые дары на стол и уселся поудобнее в кресло, готовясь слушать эту странную исповедь.

Старый маркиз де Форже хранил молчание; за него же говорила Нанон.

— Прежде всего, господин кюре, я должна сказать вам, что, за исключением одного большого преступления, жизнь маркиза была во всех отношениях примерной. Поэтому я, не останавливаясь на всех второстепенных подробностях его прошлого, сразу перейду к тому его прегрешению, о котором мой господин всегда скорбел и с бременем которого ему тяжело уйти из этого мира... Чтобы уяснить себе все, потрудитесь, господин кюре, внимательно взглянуть в висящие перед вами три портрета; на первом изображен сам

маркиз в молодости; на втором — его кузина Лаура, на третьем — младший брат маркиза, офицер, покрывший себя славой в африканской армии и раненый сабельным ударом в лицо в сражении при Изли; на портрете виден даже шрам... Юношу звали Фирменом. Вернувшись домой с похода, он безумно влюбился в мадемуазель Лауру, которая в то время уже была невестой моего господина, маркиза Кирилла... Оба брата, Фирмен и Кирилл, не менее, чем их кузина Лаура, были чрезвычайно импульсивными, пылкими натурами. Никто из них не был способен на уступки и самопожертвование в области чувства... Это послужило и причиной ссоры. И вот как-то раз, когда они повздорили сильнее обыкновенного, маркиз Кирилл ударил Фирмена по лицу... Молодой офицер недаром сражался в Алжире и ежедневно рисковал своей жизнью; у него была горячая кровь и решительная руна. Не говоря ни слова, он выхватил шпагу, швырнув другую к ногам старшего брата. И вот здесь, совсем близко, в большом зале Яблонной, кровные братья заперлись и скрестили оружие... В те времена, господин аббат, я была только молоденькой камеристкой мадемуазель Лауры... Давно уже это было, но я помню все так ясно, как если бы это случилось вчера. О, какой ужасный момент! Мадемуазель Лаура, уловив шум, подбежала к двери и стала прислушиваться к тому, что происходит между кузенами. Она была бледна, как смерть, и задыхалась от сильного сердцебиения. Я поддерживала ее... Нам казалось, что в зале дерутся бесноватые... Слышен был скрип стиснутых зубов и тяжелые удары кавалерийских сабель... Мы долго ждали, целую вечность. Наконец, до нашего слуха донесся глухой стук как бы свалившегося тела... Тогда мадемуазель Лаура лишилась сознания и упала ко мне на руки. В таком состоянии нашел ее маркиз Кирилл, выйдя из зала...

У него был безумный взгляд, с ужасом отворачивавшийся от окровавленных рук. Точно преследуемый злыми духами, он бросился бежать. Видя его в таком состоянии, я поняла, что Фирмен убит... Но необходимо было во что бы то ни стало скрыть все происшедшее, ибо дело шло о чести и достоинстве двух древнейших родов. С тысячью предо-

сторожностей мы перенесли мадемуазель Лауру в ее комнату, где вскоре привели ее в чувство. Но самое страшное предстояло еще впереди. Надо было какой бы то ни было ценой скрыть все следы преступления и спрятать тело Фирмена... Маркиз Кирилл выбрал самый темный из погребов замка, где в течение нескольких часов рыл глубокую яму. Когда она была готова, мы облачили тело Фирмена в его парадную форму; перенесли его в погреб и здесь оказали ему последние почести... Помолившись за упокоевание его души, мы его похоронили; я держала фонарь, а маркиз работал лопатой... Мадемуазель Лаура стояла на коленях и плакала... О дальнейшем, господин аббат, вы, вероятно, осведомлены по слухам, носившимся в народе: говорили, будто после ссоры, происшедшей между братьями, меье Фирмен вернулся в Африку, где пал, сраженный пулей кабила. Затем разнеслась весть, что мадемуазель Лаура ушла в монастырь... Но для всего мира осталась тайной истинная причина смерти Фирмена и преступление моего господина...

Пораженный всем услышанным, аббат Тетю склонился над умирающим и спросил его, правдив ли рассказ Нанон. Маркиз де Форже, как бы в подтверждение, опустил затуманенный взор... Тогда священник помолился и дал умирающему отпущение грехов. Но когда аббат захотел совершить обряд соборования, он в ужасе попятился: маркиз был мертв...

Не прошло и двух месяцев, как новый владелец замка приступил к ремонту здания. Рабочие, рывшиеся в погребках, нашли там скелет со шпагой на истлевшем ремне. По этому поводу было много разговоров, но тайна Яблонной была известна только старой Нанон и аббату.

Де Лис

ТАЙНА ЧЕРНОГО ДОМА

Роскошная холостая квартира на улице Жермен. Молодой, красивый кавалерийский офицер полулежит на большом кресле, пуская кольца дыма и положив ноги на каминную решетку. Тут же несколько его товарищей громко болтают между собой, курят и пьют. Уже далеко за полночь, но, несмотря на это, их разговор, по-видимому, не скоро кончится. Напротив, чем больше пустеют портсигары и графин с виски, тем оживленнее становится беседа.

— Что касается меня, — кричит молодой блондин, — я ни за что не согласился бы провести там ночь в одиночестве.

При этих словах молодой офицер, который до сих пор не сказал почти ни слова, проговорил:

— Я, однако, попытаюсь это сделать и не позже завтрашней ночи.

Эти решительные слова произвели на всю компанию впечатление разорвавшейся бомбы. Воцарилось молчание. В этот момент отворилась дверь и в комнату вошел молодой, со строгим выражением на лице врач, живший на той же улице.

— О чем речь, или, вернее, почему все молчат? Может быть, мое присутствие стесняет общество? — спросил вошедший.

— Вовсе нет, — ответил блондин. — Капитан только что объявил свое намерение провести завтрашнюю ночь в комнате, в Черном доме, посещаемой привидениями.

— А почему бы и нет? — проговорил врач. — С его позволения, я буду охотно ему сопутствовать.

— Извините, доктор, — возразил молодой офицер, протягивая ему руку, — но вы забываете, что для появления привидения необходимо присутствие только одного лица. Как вам известно, десять лет тому назад молодой дворянин таинственно погиб в этой комнате, посещаемой привидениями, а шесть лет спустя та же участь постигла моего молодого друга, при тех же таинственных обстоятельствах. После этих двух трагических случаев, несколько человек пытались раскрыть тайну этого дома, где собирались вдвоем и даже впятером, но безуспешно. Это ясно показывает, что привидение является только в присутствии одного челове-

ка или, вернее, одной жертвы.

— Ваши соображения, капитан, справедливы, — ответил врач, — но это не мешает мне сопровождать вас, так как я могу спрятаться в соседней комнате, чтобы, в случае необходимости, иметь возможность помочь вам. Согласными вы на такое предложение?

— Очень вам благодарен за дружбу, доктор, но на этот раз я хочу сделать попытку раскрыть тайну Черного дома без посторонней помощи. Если мне этого не удастся сделать завтра ночью, то я, конечно, не откажусь от содействия моих друзей. Мы опять к десяти часам придем туда на следующую же ночь. А теперь выпьем за успешное раскрытие тайны Черного дома.

Была темная, сырая туманная ночь. Закутавшись в толстое пальто и подняв воротник, молодой офицер направлялся уверенными шагами прямо к намеченному зданию.

После получасовой ходьбы, он вышел на большую, плохо освещенную площадь, окруженную домами старинной архитектуры и, идя по левому тротуару, он наконец остановился перед громадным пятиэтажным домом, стоящим на одном из углов площади. На грязной доске красовалась надпись: «Отдается внаем», свидетельствующая уже в течение десяти лет о его необитаемости. Оконные стекла подвального этажа по большей части совсем и отсутствовали, кое-где только сохранившись в виде тонких и острых осколков. Стены, окрашенные в черный цвет, имели мрачный вид. Ни одна занавеска не скрывала прямолинейных очертаний огромных окон, глядящих с такой же пристальностью, с какой смотрит змея на свою жертву. Кругом царствовала мертвая тишина...

Молодой офицер, быстро оглянувшись, поднялся по семи искривившимся и заплесневевшим ступенькам и, вынув из кармана ключ, вложил его в заржавленную замочную скважину и с трудом повернул.

Дверь поддалась и обнаружила как бы вход в темную пещеру. Офицер вошел и, закрыв за собой дверь, сделал несколько шагов вперед. Он почувствовал затхлый воздух и пыль, затруднявшие его дыхание. Старый паркет трещал под его ногами и долго издавал звуки, похожие на шорох бегущих по полу твердых ног какого-то животного.

Остановившись, молодой офицер вынул из своего кармана потайной фонарик и, при его свете, увидел обширную переднюю, в глубине которой смутно виднелась винтовая железная лестница. Его шаги по железным ступеням звучали, как удар гигантского молотка по наковальне. Достигнув, наконец, четвертого этажа, он наклонился над перилами и посмотрел вниз. Темная глубина казалась бездонной, как зев пропасти. Кругом царствовала совершенная, какая-то тревожная, раздражающая тишина.

Постояв, пока мужество и присутствие духа не вернулись к нему, офицер пошел дальше по длинному и узкому коридору. Дойдя до конца, он остановился перед закрытой дверью. Две-три-четыре минуты он простоял на месте, слыша лишь биение своего сердца. Наконец, он повернул дверную ручку и вошел. Посередине стоял грубый, кое-как сколоченный и ничем не покрытый стол, а против него старый, источенный червями стул. Никакой другой мебели не было. На полу лежал толстый слой пыли. Обои отклеились и висели скрученные и смятые, обнажая штукатурку, покрытую пятнами плесени и сырости. Из трещин в потолке на пол падали капли грязной воды, и только их однообразный шорох нарушал царствующую в доме тишину.

Находясь в той комнате, в которой он видел четыре года тому назад распростертое тело своего лучшего полкового товарища, пораженного таинственной смертью, он мечтало мести за его смерть... Месть ради любви к сестре погибшего...

Но теперь было пора действовать, а не мечтать. Он посмотрел на часы. До полуночи оставалось полчаса. Подойдя к двери, он закрыл ее и задвинул задвижку, так как знал, что в ту ночь, когда погиб его друг, незапертая на затвор дверь не предотвратила ужасной развязки; он же хотел рас-

крыть тайну до мельчайших подробностей. Молодой офицер поставил на стол свой фонарь, сел и стал ожидать. Через несколько минут он снова вынул часы. Их тиканье гулко разносилось по комнате. Оставалось еще тринадцать минут. Казалось, что прошел по крайней мере час, когда откуда-то снаружи послышался бой часов.

Едва затих последний удар, как ручка двери начала тихо двигаться... С сильно бьющимся сердцем и широко раскрытыми глазами молодой офицер напряженно всматривался в дверь. Внезапно на белой двери он заметил черную головку винта, которую раньше закрывала дверная ручка. Очевидно было, что кто-то поворачивал ручку. Даже самого слабого звука слух не мог уловить.

Сжимая в руке маленький шестизарядный револьвер, молодой человек ждал. Пот холодными каплями выступал у него на лбу и висках, жилы надулись, как веревки. Дверная ручка повернулась до конца и послышался слабый толчок. Но задвижка сдержала напор. Снова наступила тишина, а ручка медленно и так же неслышно вернулась в прежнее положение.

Одним прыжком капитан достиг двери, открыл ее и бросился в коридор. Но там никого не было. Только холодный ветер ударял ему в лицо. Громким голосом он крикнул в темноту:

— Кто здесь?

— Здесь!... — насмешливо откликнулось эхо из закоулков длинного коридора...

Ровно в десять часов на следующий вечер товарищи капитана собрались на улице Жермен. Прошло полчаса, но молодого капитана еще не было. О нем уже начали беспокоиться, как вдруг открылась дверь и он явился перед ними. Они ужаснулись. Он был страшно бледен; его глаза блуждали. Все ждали, чтобы он заговорил первым.

После тяжелого молчания он подошел к врачу, взял его

за руку и проговорил хриплым голосом:

— Доктор, этой ночью мне нужна помощь, которую вы мне вчера обещали, а также помощь еще двух друзей. Нам всем необходимо сейчас же отправиться. Дорогой я расскажу вам о событиях прошлой ночи. Возьмите из этого ящика заряженный револьвер. Возможно, что он нам понадобится.

Пять минут спустя четыре человека шли в тумане и ровно в одиннадцать часов уже стояли в передней Черного дома. При помощи двух фонарей и свечей они без труда поднялись по лестнице. Достигнув площадки четвертого этажа, они вошли в узкий коридор, где врач заметил старинную арфу, висящую на гвозде.

Сняв ее со стены, он увидел, что на ней не хватает только двух-трех струн. Он взял арфу с собой, и, придя вместе со всеми в таинственную комнату, заботливо положил ее на стол.

— Капитан, — сказал он, — мне в голову пришла хорошая мысль. Эта арфа может выразить все оттенки человеческих чувств. Воспользуемся этим. Мы спрячемся в комнате, расположенной в другом конце коридора. С помощью этой арфы вы сможете сообщать нам не только ваши указания, но также ваши впечатления и наблюдения. Например, слабый отрывистый удар по этой тонкой струне покажет, что вы заметили поворот ручки. Скользящий удар по четырем струнам, даст нам знать, что кто-нибудь входит. А громкий удар по всем струнам будет сигналом, чтобы мы все бежали к вам на помощь.

Молодой офицер согласился с этим. Затем он положил на стол револьвер и сказал, что готов. Все собрались покинуть комнату, но врач внезапно обернулся.

— Желаете ли вы и теперь остаться один? — спросил он голосом, в котором слышалась просьба.

— Да, так как иначе привидение не покажется. Впрочем, подождите минутку, — и, сняв с своей руки кольцо с печатью, он сказал смущенно: — Если это... случится, передайте кольцо ей...

Врач печально кивнул головой, горячо пожал ему руку и молча вышел из комнаты.

Молодой офицер остался один. На этот раз он не запер задвижку.

Оставалось еще двадцать минут до полуночи. Троице участникам, притаившимся в отдаленной комнате, эти минуты казались неделями. Слух напрягался, чтобы не пропустить самого слабого звука. После долгого утомительного ожидания, врач достал свои часы и нажал репетитор; они пробили три четверти и двенадцать минут. Только три минуты отделяли их от рокового часа...

Прошла минута... две... Ничего... Только слышно их дыхание, сливающееся с боем часов далекой церковной башни.

Вдруг из противоположной комнаты они ясно услышали звук арфы, означающий, что дверная ручка шевелится. Врач наклонился вперед, стараясь взглядом проникнуть в темноту. Ничего не видно и не слышно. Внезапно прозвучал ужасный аккорд, точно рука судорожно рванула все струны. Душераздирающий крик внезапно родился в слепом, ужасном мраке, и снова наступила могильная тишина.

В три прыжка врач со своими двумя товарищами пробежали коридор и распахнули дверь.

В комнате был только молодой офицер, он грудью упал на стол. Пальцы его были окровавлены и судорожно сведены между струнами арфы. Седые, как снег, волосы встали дыбом. Тело еще конвульсивно вздрагивало. Все трое остановились, пораженные ужасом. Врач бросился к офицеру и, подняв его голову, пристально заглянул в его зрачки.

Что он увидел в них? Какой ужас открыло это короткое исследование? Об этом не узнал никто...

Последняя судорога прошла по телу капитана, и неподвижное и безжизненное тело глухо ударилось об пол.

Врач схватил фонарь со стола и направил его свет вниз, на покрытый пылью пол. От двери до стола шел отчетливый след словно гигантской птицы. Но это был след лишь от левой ноги, и напрасно они искали другой след. Его не было.

Совпадало ли это последнее открытие с тем, что он подметил в зрачках умирающего? Вероятно, это было так, по-

тому что врач выбежал из комнаты, испуская раздирающий душу вой, подхваченный и усиленный эхом длинного коридора.

В ту ночь его рассудок угас...

Грязная доска с объявлением о сдаче внаем все еще висит на Черном доме.

[Без подписи]

Я И Я

Я ходил в своей комнате из угла в угол и глядел на ковры, купленные прошлой осенью у Ибрагима-паши.

Ковры — сказочной красоты художественные произведения, какая-то поэзия из шелка, красочная симфония вроде той, какую мне приходилось видеть на вечернем небе Сахары.

Ибрагим-паша не слишком надул меня. Кроме того, ему теперь отрубили в Тегеране голову, — кривой, замечательной саблей. Маленький Плессов из посольства купил ее у палача за большие деньги — и привез ее мне по моей просьбе. Меня чрезвычайно интересовало, какими свойствами обладает сабля, которая смогла одним ударом перерезать толстую шею Ибрагима-пашин. «Одним-единственным ударом, — говорил мне маленький Плессов, позаботившийся достать себе удобное место на торжество казни, — быстрая, но тонкая работа».

Сабля в самом деле редкая вещь. Клинок широкой формы, со слегка загнутым внутрь острием. Короткая рукоятка сделана из эбенового дерева и покрыта нарезками. Если взять волос за корень и ударить им по лезвию, он перерезывается в один миг. По моему убеждению, палач должен был протянуть саблю через толстую шею Ибрагима-паши. Несомненно, для этого нужна была необычайная техника, так как шея Ибрагима-паши была, как уже сказано, сверхъестественного размера.

Л прислонил саблю к зеркалу, моему большому зеркалу в стиле Империи, близ которого висит самый красивый из шелковых ковров.

Когда я случайно бросил в зеркало взгляд, я увидел, что позади меня скользнула какая-то белая фигура в феске. Ибрагим-паша?!

Я обернулся, — но в комнате никого не было.

Неужели я страдаю галлюцинациями? Ерунда, — я отчетливо видел, как этот малый прокрался за мной. Оптический обман следует тоже исключить.

И я еще раз взглянул в зеркало.

Я смотрел в него десять секунд.

Двадцать.

Кровь застыла во мне. Я ощутил жар, потом холод. Я отошел в сторону, — вперед, — назад.

Наблюдение, которое я сделал, было слишком странным, чтобы я мог счесть его верным. Дело в том, что я не видел более своего отражения.

Я опять подошел справа и слева. Зеркало показывало мою мебель, мою комнату, — но только не меня.

Я вздрогнул, схватил какую-то книгу и поднес ее к зеркалу.

Зеркало показало висящую в воздухе книгу.

Я слишком много изучал природу, чтобы поверить в чудеса.

Но в то же время я слишком много изучал ее, чтобы не считать возможными с ее стороны самые редкие откровения. И я попытался обосновать этот феномен.

Было ли возможным, чтобы вследствие известных световых эффектов мое тело сделалось прозрачным? Было ли это необычным оптическим явлением вроде рентгеновских лучей? Но почему же тогда я не видел в зеркале моего платья, моих колец, моей цепочки?

Я опять подошел к зеркалу. Моего отражения не было.

Я взял пепельницу и прижал ее к себе.

Пепельница висела в воздухе.

Меня охватило железное напряжение воли.

— Я хочу найти причину, — сказал я себе.

Я взял в руку саблю, которой была отрублена голова Ибрагима-паши. Сабля, как и книга и пепельница, казалась в зеркале висящей в воздухе.

Мои колени задрожали. Когда я положил саблю на ее прежнее место, в дверь раздался четкий и сильный стук.

«Что еще за невежливый стук!» — подумал я и произнес:

— Войдите!

Дверь открылась и в комнату вошел высокий крепкий мужчина. На мой взгляд, он был неуклюже сложен. Голова его была круглой, лицо также кругловато, а нос слишком мал.

Незнакомец небрежно поклонился и назвал имя, которое я не понял.

Я был еще в возбуждении от только что произведенных необычайных наблюдений. Однако, я заставил себя успокоиться и предложил стул незнакомцу, который, хотя и показался мне несимпатичным, но выглядел несомненным джентльменом.

Мужчина ответил коротким кивком, развалился глубоко в кресле, облокотился на его ручки и заиграл своими большими белыми женскими руками.

«Какая масса у него колец на мизинце», — подумал я.

При этом мне бросилось в глаза, что я и сам ношу на мизинце целую золотую колонку. «Да, но мои кольца — исключительные воспоминания», — сказал я себе. Что кольца незнакомца тоже могут быть воспоминаниями, мне не пришло в голову в тот момент.

Я увидел, что мужчина одет точь-в-точь в такой же костюм, как на мне, что у него такая же длинная часовая цепочка, какая была у меня уже много лет. Оделся он так преднамеренно, чтобы позлить меня?

Этого нельзя были предположить. Быть может, это было совпадением.

Я положил ногу на ногу и любезно спросил:

— Что вам угодно?

— Меня привела сюда просьба особого рода. Я знаю, что у вас есть необыкновенно красивые персидские ковры, которые вы купили у Ибрагима-паши.

— Да, вон они висят.

Мой собеседник бросил на ковры небрежный взгляд. Этот взгляд рассердил меня. Раз он хотел просить меня о любезности относительно этих ковров, он мог бы произнести хотя бы пару любезных фраз. Но он, точно скучая, продолжал смотреть на свои руки и проговорил:

— Я охотно купил бы у вас эти ковры.

«Невежа!» — подумал я.

Затем я громко сказал:

— Сожалею, но эти ковры не продаются.

Незнакомец оттянул вниз уголки рта, так что рот приоб-

рел форму полумесяца. Серые, глубоко сидящие глаза за-
сверкали под очками.

По моему телу точно забегали мурашки. Я нервно забарабанил по столу. Но незнакомец, имевший виды на мои ковры, не обращал на это внимания. Он вытянул пальцы, соединил их длинными ногтями, опять бросил на меня быстрый испытующий взгляд и — рассмеялся. При этом он обнаружил крепкие белые зубы.

— Вы продадите мне ковры, — проговорил он спокойно.

Я взглянул на него:

— Вы не ошибаетесь?

— Едва ли.

— Меня интересует причина.

— Пожалуйста. Слушайте. У меня самая большая в Германии коллекция шелковых ковров.

— Я полагал до этой минуты, что самая большая коллекция моя, а потом — коллекция коммерции советника Геброна.

— Вы и не можете знать моей коллекции. Она еще очень недавно в Европе. У вас есть несколько ковров, которые своей ценностью значительно превосходят ваше состояние. О, — взмахнул он своей женской рукой, — вы хотите сказать, что это меня совершенно не касается.

И затем он нарисовал мне картину моего имущественного положения.

Он говорил красноречиво, с таким знанием обстоятельств, сумел настолько загипнотизировать меня своим завуалированным голосом, что я в самом деле начал обдумывать возможность продажи ковров.

Я рассчитал, что на грандиозную сумму, которую предлагал мне незнакомец, мог бы купить три замечательных гобелена, принадлежавших одному молодому купцу, на которые я уже давно метил.

Я поднял глаза. Я увидел противного малого, условные жесты которого в соединении с самодовольной небрежностью производили на меня отвратительное впечатление. Я увидел и саркастическую гримасу, и это непрерывное поигрывание кольцами.

Я с удовольствием вздул бы его, настолько я ненавидел его в этот момент.

Я поднялся со своего места:

— Я не продаю ковры.

— Вы их продадите.

— Сожалею, но у меня нет более времени.

— Тогда я просто-напросто забираю ковры с собой.

Он взял стул, приставил его к маленькому коврику для молитвы и сказал:

— Пожалуйста, дайте мне клещи.

— Вон! Вы нахал!..

Незнакомец расхохотался и начал перерезать тесемки ковра.

Я вытащил из ящика письменного стола браунинг:

— Еще одна тесемка, и я выстрелю.

Рот незнакомца опять вытянулся вниз в виде полумесяца.

Он вынул из кармана маленький серебряный нож — у меня есть точно такой же — и начал срезать ковер.

Я поднял браунинг и начал считать:

— Раз....

Он спокойно резал дальше.

— Два...

Он уже наполовину срезал ковер.

— Три!

Раздался выстрел; пуля прошла сквозь тело незнакомца и через ковер.

Я ощущал в руке четырехгранную рукоятку револьвера. Я видел стул, ковер. Но ничто, никакое тело не упало на пол. Незнакомец исчез.

В тот же момент в комнату вошел, не стуча в дверь, маленький Плессов. Увидя меня, он побледнел и, видимо, ужаснулся. Но, тотчас же овладев собой, он сказал:

— Боже мой! Я с ума сошел? Я только что встретил вас у калитки. Вы сказали еще, чтобы я вошел и взглянул на новые гобелены.

Холодный пот выступил на моем лбу.

— Даю вам честное слово, Плессов, что уже три часа, как

я не выходил из этой комнаты.

— Разве у вас кто-нибудь был? Ваш брат?

— Нет. Совершенно незнакомый господин, отвратительный человек.

— Но он выглядел совершенно, как вы, до полного обмана.

— Я стрелял в него.

— Черт возьми!

Маленький атташе окончательно пришел в себя.

— Слава Богу! Наконец-то опять я вижу немного курдской манеры обращения. Вы не знаете, кто это был?

Я неподвижно смотрел перед собой.

— Не знаете? — спросил заинтересованный Плессов. — Быть может, — он скромно улыбнулся, — быть может, какой-нибудь незаконный братец или...

— Ерунда, Плессов. Это был господин Alter ego.

— Кто?

— Alter ego.

— Ну, вы скажете... Но я никогда не встречал такого сходства.

И добавил, после паузы:

— Выстрела вашего я, однако, не слышал.

Он уселся и закурил сигарету. Я бросил взгляд на ковер. Он был невредим, — не пробит и не прорезан.

— Плессов, вы верите в чудеса?

— Конечно, поверю, если со своими долгами доберусь до поста посланника.

— Нет, я говорю серьезно.

Плессов поглядел, размышляя.

— На Востоке, в странах древней культуры, отучаются от сомнений. Я видел на Ганге вещи, которые высоко стоят над искусством фокусников. Я видел факира, который бросил в воздух веревку и карабкался по ней, пока не исчез в облаках. Я видел, как Ибрагим-паша говорил со своим отражением в зеркале. Его отраженная фигура выступила из рамы, и в зеркале были видны мы, остальные, кроме паши.

— Плессов, — воскликнул я, — вы видели это?

— Ну да, — ответил он, — почему это вас так волнует?

— Плессов, — сказал я и судорожно схватил его за руки, — не допускаете ли вы, что эта таинственная сила может быть передана... Что, например, ковры... или эта сабля... Потому что я только что испытал нечто, совершенно подобное.

Атташе озабоченно взглянул на меня.

— Дорогой мой, — пробормотал он, — вещи подобного рода происходят в Индии или Персии, но здесь....

Неожиданно он умолк.

— Скажите, пожалуйста, — заговорил он вновь, — человек, которого я только что встретил, был...

— Был...

Плессов побледнел.

— Сабля, — пробормотал он.

Я вскочил со стула и твердыми шагами подошел к зеркалу. Кровь билась в жилах, мебель танцевала перед глазами.

С грандиозным напряжением воли я взглянул в зеркало.

Мне навстречу смотрело мое отражение.

И я увидел, как отражение оттянуло уголки рта вниз в форме полумесяца и засмеялось.

А потом засмеялся и я, между тем как мои колени дрожали и ногти впивались в мои ладони.

Но я знаю это наверно:

Отражение засмеялось раньше меня.

Евфемия фон Адлерсфельд-Баллестрем

ПЕРСИДСКИЙ КОВЕР

История одной души

Наша жизнь пестра и необычна, подобно старинному персидскому ковру, каббалистические знаки которого мы равнодушно топчем ногами, чтобы затем неизбежно попасть в объятия какого-нибудь призрака.

О, существует много историй о таких коврах, об индийских шалах, японских тканях, о медных курильницах. Это ароматные сказки, в которых встречаются все эти вещи. Сказки, такие нежные, как голоса женщин Востока; легенды, которые искрятся, подобно оперению райских птиц. Легкое опьянение опиумом сохраняет душу от холодного, давящего ужаса. И когда неожиданно появляется гримасничающая смерть, то чувствуется лишь легкое, улыбающееся сожаление о том, что история пришла к концу, и забывается, что имя этой истории — Жизнь.

То, что случилось с Стефаном Вильпрехтом, — необычайпо и заставляет сердце сжиматься, во в то же время все это настолько красочно и радостно, что вы можете прислушаться, не пугаясь.

Стефан Вильпрехт жил в восьмидесятих годах в одном старом доме в квартале Вольцейле в Вене.

Там существует много таинственных кофеен, старинных книжных лавок и лавок всякого тряпья.

Он находился на государственной службе и жил на проценты с наследства, которое ему оставили его состоятельные родители. Воскресенья он проводил непременно в дружественных семьях. Он играл с некоторой выразительностью на скрипке и флейте, умел писать пылкие стихи, которым не придавал особого значения, прекрасно сочинял музыкальные пьесы, не открывая этого никому. Кроме того, он был красив и одевался с большой тщательностью и не бросающейся в глаза элегантностью. Он обедал с скромной, но ясно выраженной утонченностью, всегда в одном и том же ресторане с давно установившейся репутацией и втайне был верующим человеком.

За его квартирой следила пожилая служанка. Его единственной страстью было коллекционирование. К женщинам он испытывал почтительное равнодушие.

В это благоустроенное существование, которое сдерживало все желания, подобно пестрым детским воздушным шарам на нити, вошел однажды хорошо одетый старый еврей. Он явился с рекомендациями от друзей Стефана Вильпрехта и предложил ему купить за до смешного небольшую сумму старинные, очень ценные персидские ковры.

— Я сделал прекрасные дела, — навязчиво рассказывал старый еврей, — особенно в кругу художников.

— Я думаю! — кивнул Вильпрехт дружелюбно и слегка печально.— Но в настоящую минуту я, к сожалению, не могу ничего купить. Я и без того уже перешел границу своего бюджета.

Он нежно взглянул на красивую, стройную медную вазу, приобретенную им недавно, которая настойчиво требовала быть ежедневно наполненной желтыми розами.

— Взглянуть ничего не стоит! — добродушно заманивал торговец. — И вообще, для платежа еще будет время. Я доверяю вам, господин Вильпрехт.

Но Вильпрехт остался при своем и не хотел ничего знать о ковре.

В этот вечер он вернулся домой позже, чем обыкновенно. В приятной компании он выпил легкого, на редкость вкусного и сладкого вина. Утонченная, сознательная удаль переливалась в его жилах. Воздух был напоен весной. Шаги отрывались от идущего и звучали громко и нетерпеливо, уносясь вдаль. Из-за крыш выглядывал яркий молодой месяц.

Стефан Вильпрехт вошел в свое молчаливое жилище, разделся при свете свечи, с удовольствием улегся в постель и заснул. Одно мгновение его душа закачалась в многообразных снах, но неожиданно что-то сняло с него сон.

Он проснулся от ощущения чего-то чужого в своей комнате. Свеча освещала чудный пестрый персидский ковер, покрывавший пол. Отстранясь, стояла милая старая мебель, надменно смотрели картины, насмешливо блестела стройная медная ваза, похожая на враждебно настроенную молодую девушку.

Стефан Вильпрехт пристально смотрел на навязчивого незнакомца, таинственная пестрота которого беспечно растилалась по комнате.

— Как ты попал сюда? — громко спросил Вильпрехт. Он привык обращаться с вещами, как с живыми людьми.

Арабески глядели на него, точно чьи-то сжатые губы. Точно губы, на которых лежит печать пророка.

Стефан Вильпрехт выпрыгнул из постели. Его обнаженные ноги трепетно прикоснулись к шелковистой ткани. Он сел среди комнаты на пол, обхватил руками колени и начал рассматривать редкий узор. Он гладил бессмысленные, но такие многообразные фигурки. Он всасывал в себя несказанно красивые краски, точно драгоценный аромат. Он прижимался щекой к дивной ткани.

— Да! Надо быть миллионером, чтобы иметь возможность оставить его у себя, — сказал он, ложась обратно в постель.

И ощущение удовольствия сменилось у него легким налетом печали.

Служанка, принеся ему завтрак, могла рассказать только то, что в сумерки пришли двое каких-то людей с ковром и разостлали его, разумеется, в спальне господина Вильпрехта.

— Нечто вроде сказки из «Тысяча и одной ночи!» — сказал Вильпрехт и улыбнулся осторожно, как это делают гастрономы, облуливая яйцо, наполовину рассерженный, наполовину удивленный хитростью торговца, желавшего во что бы то на стало соблазнить его.

Но когда служанка направилась к двери и ее безобразные подагрические ноги в войлочных туфлях затопали по сверкающем арабескам, она неожиданно показалась ему неимоверно противной, и он не понимал, как он только мог так долго выносить ее подле себя.

— Вам не нужно приходить больше, пока я не напишу! — резко проговорил он.

И, смущенный, с тупым удивлением добавил:

— Я уезжаю!

Отправляясь в свое бюро, он особенно тщательно запер квартиру, радуясь при мысли, что в его отсутствие тщетно будет стучаться торговец.

После обеда он гулял по залитому солнцем городу и удивлялся тому, что Вена, в сущности, очень походит на город Востока. Долгое время он простоял перед выставкой какой-то турецкой лавки.

Наконец, он вошел, велел показать себе самые дорогие ковры, сравнил их со своим, спросил о цене и с острой радостью ощутил, что наикрасивейший и бесценнейший ковер находится в настоящий момент в его владении.

Чтобы заглушить вспыхнувшую печаль от необходимости оторваться от всей этой красоты, он купил, вопреки рассуждению и здравому смыслу, драгоценный Коран, наргиле, две вышитые подушки и, охваченный неожиданным желанием, синее женское одеяние. Из низких поклонов купца он догадался о приблизительной высоте счета и со странным равнодушием почувствовал, что он произвел брешь в его состоянии.

У самой двери ему бросился в глаза искрящийся флакончик. Когда продавец осторожно и лишь на несколько секунд вытащил золотую пробочку, обнаружилось, что в флаконе чистейшее розовое масло.

Вильпрехт купил его вместе с содержимым. В сопровождении носильщика он отправился домой, принял вещи от него еще на лестнице и вошел в свою квартиру.

Никто не спустил жалюзи, никто не налил свежей воды желтым розам. Подобно гигантской змее, извивалась по комнате томительная жара и устремилась к нему навстречу. Стефан Вильпрехт ощутил одно мгновение с глупой радостью: «Ковер еще здесь!»

Он бросился на софу, погрузился в арабески, пил чудовищные созвучия красок и почувствовал вдруг, что жизнь его в сравнении с ковром пуста, трезва и скудна. Он поднялся, чтобы выловить немного радости из только что сделанных приобретений. Он развязал шнурки, снял упаковочную бумагу и с нежной заботливостью разложил в порядке все купленные вещи. Но как он их ни располагал, они ка-

зались лишь вассалами на службе у ковра.

Последним попало ему в руки женское одеяние из синего шелка. Он беспомощно остановился. Вышитая золотом кофта тяжело свисала с его руки. Странная тоска охватила его, защемила сердце, заставила показаться слезам. Печаль о чем-то невыполненном и жгучая тоска душили его. Осторожно повесил он одеяние на спинку кресла, откупорил флакон с розовым маслом и дал своим чувствам насладиться ароматом.

Розово-красные облака проплыли, казалось, через комнату. Злые желтые лучи испускала медная ваза.

Прозвучал дверной звонок.

«Еврей, хозяин ковра!» — пронеслось в голове Стефана Вильпрехта. В испуге он уронил флакончик. Ковер выпил дивное масло, точно предназначенную ему жертву.

Позвонили вновь.

Стефан Вильпрехт прокрался в переднюю, заглянул в потайное оконце и увидел худое, бедно одетое создание.

Когда он открыл двери, перед ним стояла молодая девушка. Из-под разодранного платка струились пышные черные волосы, пристально смотрели черные, необычайно жадные глаза, глаза, которые ловили слова, прежде чем они еще слетели с губ, чтобы впитать в себя их смысл.

Знаком, почти надменным, девушка показала, что она нема и жестом нищенки протянула просительно руку.

Чувствами, обостренными и измученными красками и ароматами, Вильпрехт увидел лишенную трона и загнанную красоту в удлинённых суровых чертах лица, — и не мог досыта насмотреться. И точно из засады бросилось вдруг на него желание подарить ей синее одеяние и золотую кофточку одалиски. Улыбаясь, он пригласил ее следовать за ним.

Она вошла в комнату без робости и шла по персидскому ковру так легко и важно, что сердце Вильпрехта забилося от восхищения. До удивления быстро она поняла его желание. По-видимому, она позировала уже многим художникам и привыкла к фантастическим костюмам. Она равнодушно разделась, постояла обнаженной на персидском ковре среди облака аромата розового масла, взяла медленно

синее одеяние и завернула свои угловатые члены в шелковистую ткань. Полная инстинкта, она быстро освоилась с необычным платьем. Вскрабкалась на подушку и стала ждать. Ковер же и Коран, подушки и розовое масло только теперь, казалось, приблизились к цели своего существования. Вкрут нее блистали сытые, властвующие краски, подобно брачному оперению некоторых птиц, протянулась мерцающая тень, охватившая жизнь, а в центре ее высилась женщина.

«Мудрость Востока!» — мелькнуло у Вильпрехта.

У него было такое ощущение, будто арабески пели, точно гурии. Долго сидел он без движения. То же самое и женщина, довольная возможностью отдохнуть.

Душа Стефана Вильпрехта прогуливалась в цветущих садах и, улыбаясь, следовала за изгибами узора ковра.

Неожиданно душа столкнулась с молчанием, выросшим из середины комнаты, подобно гигантской серой стене. Краски потухли. Все дорогие вещи почудились умершими; картины, мебель — точно призраки.

Тишина исходила из живой женщины и обвивала все, точно паутина.

«Прочь!» — ощутил Стефан Вильпрехт. Он знаком показал девушке оставаться на месте, схватил шляпу и бросился на улицу.

Проходя воротами, он чувствовал себя точно возвращающимся из путешествия. Члены его отяжелели, в голове немного путалось, но, слава Богу и пресвятой деве Марии, это не был какой-нибудь заколдованный город на Востоке, греющийся, как аллигатор, на солнце, — это была Вена. Пусть это хуже, но Вена.

«Я возвращаюсь из Константинополя!» — подумал Стефан Вильпрехт и внутренне рассмеялся, как делал обыкновенно, когда ему приходила в голову тонкая или остроумная мысль.

Он сделал несколько шагов, возбужденно ответил на поклон знакомых, вошел в аптеку и попросил знакомого аптекаря приготовить успокаивающее средство.

«Все очень просто, — думал он, ожидал медикаменты, — я отошлю девушку и напишу еврею, чтобы он сейчас же убрал свой проклятый ковер».

Но не успел он еще продумать эту мысль до конца, как чудовищное нежелание такого решения заставило его подняться с места и броситься к дверям как раз в тот самый момент, когда удивленный аптекарь передавал ему через прилавок опаловую жидкость.

Болезненное желание забыть о ковре пригнало Вильпрехта к окнам магазинов. И тотчас же он вошел в лавку ювелира: что-то купил; потом в другую; опять что-то купил. В третьем магазине выбрал радужные бокалы, звеневшие, как женский голос; покупал и покупал, подхлестываемый каким-то фанатизмом.

Не думайте, что он сошел с ума. Потому что, когда он, платя чеком, лишился последнего крейцера своего состояния и, вновь сопровождаемый носильщиком, шел домой, он, улыбаясь, прослушивался к мысли:

«Ну-ка, посмотрим, что скажет теперь хитрый еврей, можно ли мне теперь доверить ковер?»

В его жилище девушка спала, протянувшись на ковре. Она открыла глаза и улыбнулась ему навстречу. Ее улыбка походила на блеск золотых сосудов, на сверкание благородных камней, радужных чаш, которые он расставил в комнате. Это оцепеневшее торжество, это искрящееся молчание, в этом был смысл жизни, об *этом* проповедовал ковер.

С триумфом нагнулся Вильпрехт к коврику, потом откинулся назад, протер себе глаза, заново склонился.

Арабески были буквами! Буквами, которые он мог прочесть, как бы ни противостояло этому его удивленное сознание, будто чьи-то руки пробудили в нем какие-то тайные знания.

Сверкающими буквами было написано:

— Суета сует!

Каким образом попала насмешливая мудрость древнего еврея в наивную радость персидской ткани? Этот написанный всеми красками жизни ковер проповедовал смерть

и отрешение! И он, Стефан Вильпрехт, — глупец, — собирал в эту комнату, точно в насмешку, целые горы сокровищ! Как он ненавидел ковер! Не походило ли это на то, как если бы женщина смеялась в мгновение любви?!..

Нищенка испугалась его бледного лица. Он приказал ей уходить. Она быстро сняла с себя чужеземную одежду, надела свои лохмотья и поспешно скрылась.

Одушевленное молчание вещей разрасталось в враждебность. Начинался бред.

— Суета сует!

Это кричали ему они, его рабы...

В комнате слышался шорох.

Нищенка, торопясь, оставила, вероятно, дверь незапертой.

В дверную щель скользнула седая борода.

На ковре лежал с простреленной головой Стефан Вильпрехт.

А. М. Бэрридж

**ИСПОВЕДЬ ПРИГОВОРЕННОГО
К СМЕРТИ**

Я, Ричард Уэйк, нахожусь в здравом рассудке.

Я был исследован полдюжиной специалистов-психиатров и, так как они нашли, что я вполне здоров, меня приговорили к смерти за убийство моего лучшего друга.

Час тому назад я в последний раз видел закат солнца. Закат солнца — это наваждение дьявола. Это он и подманил меня к окну, это он поднял завесу ночи, пока я сквозь решетки окна устремил очарованный взгляд на озаренный заревом заката восток. И он пронес перед моими взорами картины прошедших лет.

Я видел себя на берегу моря ребенком, уцепившимся за юбку матери, удивлявшимся, куда это прячется в море солнце. Я видел себя в школе, я слышал вокруг себя радостный смех товарищей. И когда я прислушивался к этому смеху, ко мне подошел мальчик и взял меня за руку. Я его сразу узнал: это был Юлиан Малтрей. Но он сейчас же исчез, и я увидел пред собой белые стены моей тюремной камеры.

Ах, Юлиан! Можешь ли ты видеть меня, видеть, как я умру, как какой-нибудь разбойник? Никогда в жизни не покидал я тебя! Или ты ничего не можешь сделать дьяволу, убившему тебя, не можешь дать ему завершить его акт мести?

Зачем Годфрею Керстону моя жизнь? Мало ему твоей? Что сделал я ему, что он так ненавидит меня?

Я не могу больше писать. Тут кругом какие-то странные звуки. Как было в Керстон-холле, когда они впустили его. Он теперь тут, со мной. Вот теперь я слышу, как он смеется в темных углах моей камеры...

Тюремщик говорит, что это воображение. Тут никого нет. Но он тоже слышал что-то: я заметил, как он содрогнулся.

Как рассказать мне мою историю? Ведь те, кто прочтут ее, не видели того, что видел я; они не чувствовали на себе сковывающий члены ледяной ужас, какой чувствовал я. Я

желал бы уметь так описать все, чтобы всякий, кто прочтет, сказал: «Да, это вся правда. Истина сквозит в каждой строке. Бедняга невиновен».

Но я должен торопиться. Завтра утром тюремщики меня рано подымут.

Я должен вернуться ко дням моего детства. Юлиан и я учились в одной школе, где нашим злейшим врагом был Годфрей Керстон. Юлиан и я — мы были не аристократы: наши имена были слишком хорошо известны, и мы не могли скрывать этого. Наши родители были богаты, были честные, уважаемые граждане, но они вышли из народа. Они отдали нас в аристократическую школу в надежде сделать нас джентльменами, стремясь сделать нас тем, чем не были они, рискуя, что мы когда-нибудь станем стыдиться своих родителей. Но мы оба были добрыми малыми и это, вместе с постоянно водившимися у нас карманными деньгами, заставляло товарищей забывать наше незнатное происхождение. Всех, кроме нашего врага, Годфрея Керстона.

Я думаю, он презирал нас сначала просто, как представителей низшего класса. Но вскоре в эту ненависть вмешался и личный элемент. Он был последним представителем знатной, но обедневшей фамилии. Его мать управляла до его совершеннолетия их небольшим имением Керстон-холл и еле сводила концы с концами.

Ничего нет удивительного, что он ненавидел нас. Мы, дети народа, благодаря нажитым нашими родителями деньгам становились на одну ногу с ним. Даже позже, уже в университете, он никогда не хотел признать в нас равных себе джентльменов.

Я буду откровенен. Мы также ненавидели его, и когда он во время рекреаций высмеивал наше происхождение, мы смеялись над его бедностью в таких выражениях, которые привели бы в отчаяние наших родителей.

У него была удивительная манера смеяться, когда мы особенно больно задевали его; манера, которая нас глубоко уязвляла. В этом смехе было такое сознание своего превосходства, такое издевательство, что мы оба готовы были бы убить его.

Когда мы сделались взрослее, открытая война прекратилась, и мы редко проявляли нашу глубокую ненависть друг к другу. Мы нередко встречались в Оксфорде, хотя и были на разных отделениях университета, а потом приходилось нам бывать и в одних и тех же клубах.

Удивительно, что обоим нам пришлось быть свидетелями несчастного случая, вызвавшего смерть Годфрея Керстона. Мы все были приглашены к одному знакомому, страстному охотнику. Годфрей Керстон на прекрасной лошади выехал на охоту рядом с красивой девушкой, дочерью соседа-помещика. Он холодно поклонился нам и, склонившись к девушке, стал что-то шептать ей с улыбкой на устах. Мы были убеждены, что он прохаживается на наш счет, и ярость Юлиана не имела предела.

— Черт бы побрал его! — пробормотал он. — Ну, не пощажу я его, если только когда-нибудь буду иметь возможность наказать его!

И в этот же день мы были свидетелями ужасного несчастия, весьма частого на охоте. Его лошадь, перепрыгнув через изгородь, понесла и сбросила его.

Юлиан и я первыми подбежали к нему. Надо признать, что ничего, кроме ужаса и жалости, не испытывали мы при виде разбитого врага нашего.

Его увезли домой еще в сознании, и к вечеру он скончался.

Если мы и имели какую-нибудь злобу против покойного, мы жестоко поплатились за это. Мы могли бы до сих пор быть веселы и счастливы, если бы дьявол не внушил вдруг Юлиану мысль купить Керстон-холл, продававшийся за долги с молотка.

Перед заключением купчей мистрис Керстон пригласила к себе Юлиана.

— Вы теперь владелец Керстон-холла, — сразу начала она.

Юлиан попробовал протестовать, но она не дала ему и слова вымолвить.

— Все равно, — перебила она его. — Вы будете им через несколько дней. Я просила вас прийти, потому что хочу пре-

достеречь вас.

— Меня предостеречь? — удивился Юлиан.

— Да. Мой сын ненавидел вас, а вы ненавидели его... нет! не перебивайте меня! Необходимо, чтобы мы поняли друг друга. Вы помните день его смерти? Он был в сознании еще полчаса до смерти и просил меня не допустить, чтобы наш дом попал в ваши руки. Он как будто предчувствовал то, что теперь случилось. Я не хочу оскорбить вас, мистер Малтрей, но я должна сказать вам, что ему была невыносима мысль, что вы когда-нибудь можете жить здесь.

— Я это понимаю, — ответил Юлиан, — и хотя я очень желал бы исполнить волю покойного, однако, из-за этого я не могу разрушать своих планов.

— Мистер Малтрей, — серьезно заметила она. — Я прошу вас продать это имение, как только оно будет укреплено за вами, я умоляю вас не поселяться здесь!

Но это только подзадорило упрямство Юлиана.

— А почему бы нет? — упрямо возразил он.

— Потому что здесь вы будете не в безопасности! — тихо ответила мистрис Керстон. — Потому что мой сын поклялся, что убьет вас, если вы переступите порог этого дома.

— Но... но... как же это возможно? — с удивлением воскликнул пораженный Юлиан.

— Я вижу, вы не суеверны, — со спокойной улыбкой — улыбкой Годфрея Керстона, — ответила она. — Как он это сделает, — этого я не могу сказать вам. Но он это сделает. Мой сын — Керстон, а Керстоны никогда не нарушают данного слова.

Я не знаю, что дальше произошло между ними. Знаю только, что она не переубедила Юлиана и он не изменил своего намерения. В характере Юлиана была черта, которой я до сих пор не подозревал в нем. Он так же яростно ненавидел Годфрея мертвого, как и живого.

— Это — лучшая месть моя ему! — сказал он как-то мне. — Я хотел бы только, чтобы он мог видеть меня в своем доме.

— Тсс! — резко перебил я его. — Какая нелепая мысль!

И что это за торжество над мертвым? Берегись, чтоб он не исполнил своего слова!

Юлиан рассмеялся и положил руку на плечо мне.

— Ты не должен слишком дурно думать обо мне, старина. Я просто средний человек, и не могу простить Керстону нанесенных мне оскорблений только потому, что он умер. Кроме того, ты меньше, чем кто бы то ни было, имеешь основание заступаться за него.

— Я знаю! — ответил я. — Я не переносил его и никогда не любил его. Но он умер, и самое лучшее, что мы можем сделать — это забыть о его существовании.

Скоро Керстон-холл перешел во владение Юлиана.

Прямо перед домом находилась церковь со склепом, в котором покоились много поколений Керстонов.

— Я уберу их отсюда, — говорил Юлиан.

Я убеждал его не делать этого, но он только смеялся.

— Они слишком близки к дому, — сказал он. — Если бы я придавал значение, словам матери его, я не должен был бы глаз сомкнуть ночью: чтобы сдержать свое слово, Керстону не пришлось бы далеко ходить.

Я уловил в его смехе какую-то фальшивую ноту, заставившую меня подумать, что Юлиан придавал больше значения словам мистрис Керстон, чем показывал.

Скоро Керстон-холл наводнила целая армия рабочих. Все в доме и вокруг него было увезено, изменено, заменено новым, модным. Старинные портреты, мебель, все было изгнано из дома, где пребывало веками. Все старые слуги были отпущены и заменены новыми.

Однажды утром ко мне в город приехал Юлиан и пригласил к себе.

— Мы поедем сегодня же в Керстон-холл и на днях устроим там пирушку для наших близких друзей. Кстати, я узнал, что Керстон был влюблен в одну мою близкую соседку и что родители ее не соглашались на этот брак из-за его бедности. Знаешь? Я подумываю о том, чтобы жениться на ней.

— Ты — сам дьявол! — сказал я ему укоризненно.

Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу.

— Нет, я — твой старый друг Юлиан, самым крупным недостатком которого является то, что он не может простить даже мертвому врагу своему...

Я с негодованием отшатнулся от него, но все-таки поехал с ним в Керстон-холл.

Даже днем не чувствовал я себя там хорошо. Почти в каждой комнате были темные углы, куда солнце не могло проникнуть. Весь дом наполнен был какими-то странными, необъяснимыми звуками. Это был унылый дом, несмотря на новую мебель и свежую окраску его. Уже через час после приезда я решил уехать при первой возможности.

Юлиан расхаживал по дому с улыбкой на устах, иногда насвистывая. Но часто, когда он думал, что я не вижу его, я улавливал на лице его выражение озабоченности, и я знал, что и на него дом производит унылое впечатление.

В этот день мы обедали в большой столовой. За обедом мы говорили о разных пустяках, так как за нашими стульями стояли лакеи. Юлиан рассказывал какую-то забавную историю, и мы смеялись только потоку, что надо было смеяться. Когда обед кончился, Юлиан предложил:

— Пойдем в билиардную. Сыграем партию. Возьми с собою сигары. Я прикажу принести нам виски, и мы там удобно расположимся.

Мы оба играли в этот вечер прескверно, хотя были далеко не дурными игроками.

Мы слышали, как слуги убирали со стола в соседней комнате. Вдруг раздался скрип наружной двери в столовой и затем спор слуг.

— Посмотри, что там! — сказал Юлиан, готовясь сделать ход.

Я вышел, держа кий в руке.

— Что тут? — спросил я.

Я увидел лакея Спральса у открытой двери, вглядывавшегося в мрак ночи.

— Мне показалось, — ответил он, — будто кто-то позвонил.

— Глупости! Мы никакого звонка не слышали.

— Это верно, сэр, — робко ответил он, — звонок не звонил, но у меня вдруг появилось ощущение, будто кто-то стоит у дверей и хочет войти.

В это время до слуха моего коснулся какой-то странный шум.

— Вы пьяны, — сказал я, чтобы только сказать что-нибудь.

— Нет, сэр, я и глотка не пил.

Я пожал плечами и, стараясь сохранить спокойствие, спросил:

— Что это за шум? Откуда он?

— А, сэр! Значит, и вы слышите его?

— Войдите, — крикнул я, стараясь сохранить присутствие духа, — и закройте дверь. Сквозит.

И я вернулся в бильярдную.

Юлиан стоял в том положении, в каком я оставил его. Он, вероятно, не шелохнулся все время, пока я был в отсуствии.

— Ну, что там?

— О, ничего! Спральсу показалось, будто кто-то стоит у двери, а там никого не оказалось.

— В таком случае, Спральсу надо и отказать. Мне не нужны нервные слуги. Мои нервы и без того расстроены... Это что?

Наши взоры встретились.

— Слышишь? — спросил он.

— Слышу. Я это еще в столовой слышал, а теперь опять слышу.

— В этом нет ничего смешного! — рассердился он.

— Да я и не смеюсь, — ответил я. — Это ты смеялся. Ты сам не знаешь, что делаешь сегодня.

— Это, верно, какой-нибудь треск в стене! — заметил Юлиан, нервно оглядываясь по сторонам. — Эти старые дома полны звуков, особенно по ночам.

Он взглянул на меня, как будто ожидая подтверждения. И вдруг он вздрогнул, глаза его широко раскрылись.

— Ради Бога, не смотри на меня так! — воскликнул он. — Дик, дружище, что с тобой?

— Ничего! — хриплым голосом ответил я.

Но я тоже испугался — испугался самого себя. Когда я смотрел на Юлиана, мной овладело безумное желание схватить его руками за горло и сжимать, сжимать до тех пор, пока пальцы мои сомкнутся... Он, вероятно, прочел в глазах моих эту мысль, потому что лицо его выразило такой ужас, какого я до сих пор никогда не видал. Но в следующий момент я уже любил Юлиана так, как никогда, и я удивлялся этому необъяснимому, овладевшему мной желанию. Я обошел вокруг стола и положил ему руку на плечо.

— Прибодришься, дружище! — сказал я. — Наши нервы слишком расстроены. Давай продолжать игру.

Юлиан все еще весь дрожал.

— Дик, — сказал он дрожащим голосом, — ты только что смотрел так страшно, как дьявол.

— Глупости! — рассмеялся я.

Что это прозвучало в комнате? Эхо моего смеха? Но разве мог я так зло рассмеяться!?

Я скверно спал эту ночь. Один раз, ночью, мной опять овладело безумное желание схватить Юлиана за горло и выдавить жизнь из его тела. В этот момент я почувствовал, что тут, в комнате, кто-то есть. Я почувствовал панический ужас и первый раз в жизни накрылся с головой одеялом.

После завтрака мы много гуляли и чувствовали себя хорошо. Но нас не покидала мысль о приближающейся ночи.

Спальс не дожидался, пока ему откажут, и еще с утра он, вместе с другим слугой, попросил расчета. Я думаю, Юлиан ждал, что и другие слуги последуют этому примеру.

Обедали мы на этот раз уже не в большой мрачной столовой, а в маленькой уютной комнатке. После обеда мы остались тут же. На ковре перед камином дремал большой персидский кот. Это было единственное существо, принадлежавшее Годфрею Керстону и оставшееся в Керстон-холле. Кот не хотел уходить из дома и Юлиан разрешил оставить его.

Если бы даже мне суждено было прожить много лет, я не забыл бы этого вечера. Мы старались развлечь друг друга и болтали о разных пустяках, вспоминали детство, смея-

лись. Вдруг смех замер на наших устах.

— Опять этот проклятый шум! — прошептал Юлиан. — Откуда бы это?

С минуту было тихо, и вдруг я услышал мой голос.

— Керстон! — прошептал я, сам не зная почему. — Керстон!

Юлиан устремил на меня тупой взгляд.

— Что ты болтаешь? — воскликнул он.

— Не знаю! — жалобно ответил я. — Господи... Боже ты мой! Посмотри на кота!

Кот проснулся, потянулся, замурлыкал и стал облизываться. Потом он тихо поднялся и пошел, ласково мурлыча, как будто приветствуя кого-то, кого мы не видели. На середине комнаты он остановился, изогнул спину дугой и стал двигать головой, как будто терся о чьи-то ноги

Остолбенев от ужаса, смотрели мы на него.

Юлиан наклонился к камину, вытянул руку, достал щипцы, все время не спуская глаз с кота. Раздался стук. Щипцы пролетели на волосок от головы кота, который испуганно забился под кресло.

Юлиан встал, поднял щипцы и с принужденным смехом сказал:

— Дик, с нами что-то неладное творится: наши нервы...

— Это не нервы! — перебил я его. — Это — этот проклятый дом. Оставим его. Тут днем и ночью расхаживает кто-то, кого мы не можем видеть. Мы оба чувствуем это. Это — Керстон!

В глазах Юлиана отразился страх, но он скривил губы и пожал плечами.

— В таком случае, пусть Керстон убирается к черту! — воскликнул он. — Если это действительно он — я не позволю ему выгнать меня! Я не боялся его живого — и не буду бояться мертвого.

— Юлиан, — сказал я, — если ты не хочешь уходить отсюда, я должен покинуть тебя. Нет-нет, дружище! Не думай, будто я боюсь.. Но всякий раз, как он входит в комнату, я чувствую...

— Что? — спросил Юлиан.

Но я так и не кончил своей фразы. Я хотел сказать Юлиану о моем безумном желании задушить его, когда я чувствовал влияние кого-то, нарушавшего наш покой. Но у меня не хватило духа сказать это, и я молчал.

Юлиан взял сигару и выпил стакан виски.

— Послушай, — сказал он, — если мы сбежим, это будет новое торжество для *него*. Но все-таки я не хочу спать здесь один, по крайней мере, в настоящий момент. Ты будешь спать сегодня со мной.

Я отказывался, он настаивал. Юлиан всегда брал верх. когда нам приходилось спорить. Он позвонил и отдал приказ приготовить мне постель в его комнате.

Я скоро уснул с беспокойным сознанием, что Юлиан лежит на расстоянии ярда от меня.

Было, вероятно, около двух часов, когда я проснулся. В комнате было темно, но пробивавшийся сквозь щели ставни лунный свет слабо освещал окружающее..

Я проснулся в ужасе. Холодный пот катился со лба моего. Я хотел кричать и не мог произнести ни звука. Это был какой-то страшный, чудовищный кошмар.

Я слышал дыхание Юлиана, глубокое и ровное, и мной снова овладело это ужасное желание. Оно победило мой страх, оно заставило меня встать с постели и сделать шаг по направлению к постели Юлиана. Шаг за шагом, и каждый шаг мучительно отзывался в душе моей. Я помню, что шагал по маленьким бледным пятнам от лунного света на полу: я делал обходы, я пытался побороть овладевшее мной желание.

Я слышал, как кто-то смеялся, и я уж не боялся, хотя и знал, что это не Юлиан. Может быть, смеялся я сам? Не знаю!

Мрак обратился в какой-то туман, и тишина нарушилась вдруг резким криком, потом хрипением. Тут я все смутно помню... Господи! Какой это был ужас!

Я вдруг увидел себя возле Юлиана. Лицо его почернело. На шее были красные пятна. Он лежал так тихо. Он был мертв.

Я сначала не верил этому, не верил тому, что сделал я. Я звал его по имени, но он не отвечал. Тогда я стал на колени возле его постели и зарыдал, как ребенок. В таком положении застал меня лакей его, услышавший крик и прибежавший в комнату. На следствии он показал, что долго не могли они убедить меня в том, что Юлиан действительно мертв.

Я правдиво описал все обстоятельства смерти Юлиана, и мне теперь как будто легче стало. Я устал, очень устал. Думаю соснуть немного. Утешением для меня служит то, что Юлиан знает, что я действовал по воле Керстона, а не по своей собственной, что в эту страшную ночь чужая воля была сильнее моей собственной. Я не знаю, почему душа Керстона овладела моей. Но скоро эта тайна и многие другие разъяснятся для меня. И я знаю также, что завтра они повесят невинного человека, человека, душа которого чиста, хотя руки в крови.

Юлиан понимает это, и он будет моим защитником пред судом Всевышнего.

А. М. Бэрридж

ЧЕТВЕРТАЯ СТЕНА

Когда мистер Форран стал жаловаться на головную боль, отсутствие аппетита и бессонницу, миссис Форран стала убеждать его не доверяться больше местным врачам и не пожалеть двух гиней, чтобы съездить в Лондон посоветоваться с какой-нибудь знаменитостью. Лишь после двух месяцев ее настоятельных просьб, когда ему становилось все хуже и хуже, Форран, наконец, последовал ее совету.

Лондонский доктор заработал свои две гиней в несколько минут. Ушел от него Форран с советом месяца на два уйти от дел и пожить спокойно где-нибудь на лоне природы.

Форран был одним из трех участников крупной фирмы, и он легко мог позволить себе такой продолжительный отдых. Он решил нанять какой-нибудь меблированный коттедж в местности, где можно было бы заняться рыбной ловлей и охотой. Конечно, миссис Форран должна была поехать с ним.

Сначала они решили отправиться только вдвоем. Но потом Форран подумал, что это было бы очень скучно для бедной Бетти, а миссис Форран подумала, что ее дорогой Джек нуждается в обществе, и, таким образом, решено было, что вместе с ними отправятся и Том, и Эллен Марриот, брат и сестра миссис Форран.

В это время я начинал приходить к заключению, что жизнь без Эллен для меня равносильна медленному умиранию, и поэтому я весьма дипломатично вызвал со стороны супругов Форран приглашение провести с ними некоторое время, тем более, что начало отдыха мистера Форрана совпадает с рождественскими каникулами.

Таким образом, у нас составила компания из пяти человек, которые, не обременяя друг друга, могли бы провести месяца два под одной кровлей.

Джек Форран вычитал в газете объявление о сдававшемся внаем коттедже, и Том отправился посмотреть его.

Вернулся он в полном восторге. «Никогда ничего подобного не видал я, — сказал он, — это удивительное сочета-

ние старины с комфортом современной цивилизации: старинная мебель, но ни одной ветхой вещи; одним словом, о такой прелести можно только мечтать и лишь очень редко видеть воочию».

В конце Том должен был сознаться, что коттедж находится на расстоянии нескольких миль от ближайшего города и деревни, но он тут же стал уверять, что именно это нам и нужно. Но зато Грит-Оуз был всего в полчаса ходьбы, а там дичь тосковала по охотникам, а щука по рыболовам. В конце концов, Форран нанял коттедж с полной его обстановкой на два месяца, и мы отправились туда.

Прибыли мы в декабрьский вечер, протащившись с железнодорожной станции миль пять в неуклюжем экипаже.

Коттедж находился в области болот, но, так как он стоял на холме, то Том уверял, что тут будет сухо. Уже несколько разочарованные, мы приготовились к самой строгой критике, полагая, что Том сильно преувеличивал, но когда мы вошли в комнату, уютно и со вкусом меблированную, с мягким, разливавшимся по ней светом, мы пришли в восторг.

Как раз против двери стояли огромные прадедовские часы, громко и с достоинством тикавшие. Справа в камине пылали ярким пламенем поленья; вокруг камина стояли удобные мягкие кресла. По обе стороны часов были две двери — одна вела на кухню, другая на лестницу; слева была еще одна дверь, ведущая в комнату наподобие кабинета. Все эти детали нужны для того, чтобы понять последующее.

Ужин был уже готов, но мы раньше решили осмотреть весь коттедж, и должен сознаться, что мы были далеки от разочарования. Даже прекрасную ванную нашли мы тут!

— Вот видите! — воскликнул Том. — Таким образом, вам нет нужды мыться, стоя одной ногой в старой лоханке!

Миссис Форран условилась с одной женщиной, которая долила была приходиться с утра для черной работы, так как в коттедже не было комнаты для прислуги. Когда мы приехали, эта женщина была уже здесь и приготовила для нас горячий ужин. Ее младшая сестра помогала ей.

Наша прислуга, мисс Лаббок, была коренастой, чрез-

вычайно молчаливой и, по-видимому, очень глупой и нервной особой. От нее нельзя было добиться ни слова. Она не могла или не хотела сказать нам, кому раньше принадлежал коттедж. «Сюда приезжал по временам господин по фамилии Селлингер», — только сказала она, но она его не знала и даже почти не видала. Она все время нервно озиралась по сторонам и быстро ушла, как только мы отпустили ее.



Перед тем, как мы сели за ужин, Том поманил меня выйти на кухню. Там он показал мне начертанный на двери мелом большой крест. Я с удивлением смотрел на него, а он, улыбаясь, сказал:

— Это она сделала. Понимаете ли вы, что это означает. Арчи?

— Она, вероятно, думает, что в доме привидения, — догадался я. — Я думаю, в этом далеком от цивилизованного мира углу все должны быть изрядно суеверны.

— Не говорите об этом Джеку, — добавил Том, понизив голос.

— Ба! не верит же он в привидения!.. Не так он глуп!

— А все-таки лучше не говорить: он немного нервничает последние дни.

Он вытащил носовой платок и стер крест с двери.

— Вот это так настоящий загородный дом, с привидениями и тому подобным! — произнес он, смеясь.

— Нам бы назначить пари, кто первым увидит *его*! — предложил я.

— А вы полагаете, мы можем доверять друг другу? — рассмеялся Том.

Нужно заметить, что оба мы были вполне нормальными, трезвыми людьми, и никто из нас не верил в сверхъестественное. В другое время мы не преминули бы воспользоваться этой историей для беседы за ужином, но, как предупредил Том, надо было поберечь нервы Форрана.

За ужином разговор, естественно, вертелся вокруг нашего нового жилья.

— Удивительное место, — произнес Форран. — Оно кажется мне с полным смыслом слова коттедж.

— Что ты этим хочешь сказать? — рассмеялась миссис Форран.

— Я хочу сказать, что все тут, начиная со стен и мебели... как бы это сказать... по-коттеджски. Все как будто бы громко кричит: «Я коттедж! Все во мне как раз так, как должно быть в коттедже!» Я не могу выразить своего впечатления.

Эллен рассмеялась.

— Я понимаю! — воскликнула она. — Вы хотите сказать, что все тут несколько театрально!

— Совершенно верно! Вы нашли настоящее слово! — обрадовался Форран.

Том, сидевший против Эллен, оглянулся.

— А, ведь верно, — заметил он, — эта комната напоминает сцену. Попробуйте представить себе, что вот этой стены, так называемой «четвертой стены», тут нет. На полу у рампы ряд лампочек, а за ними мрак и ряды голов.

Миссис Форран кивнула головой и все мы оглянулись на «четвертую стену».

— Да, я ясно представляю себе это, — сказала она.

— Теперь, — продолжал Том, — представьте себе на минуту, что вы — публика. Вы смотрите на сцену, представляющую комнату в коттедже! Эти боковые двери, прадедовские часы, дубовые колонны, все вместе взятое, разве не похоже на сцену?

Я сидел рядом с Эллен спиной к «четвертой стене» и вдруг почувствовал, будто этой стены нет и будто в спину мою устремлены сотни глаз; я стал даже испытывать какое-то чувство неловкости и страха, какой чувствует иногда актер на сцене. Мне начинало казаться, что все мы действуем, как на сцене, что говорим слишком громкими голосами, обращаемся друг с другом не так, как всегда. Форран, имевший обыкновение сидеть, развалившись на стуле, сидел навытяжку. Том, обыкновенно в промежутках между едой раскатывавший хлебные шарики, держал руки чинно под столом. Очевидно, все мы слишком глубоко прониклись представлением, будто «четвертой стены» нет и на нас устремлены глаза публики. Мы говорили о самых обыкновенных вещах неестественно повышенным тоном. Только Том, несколько минут молчавший, вдруг заставил всех нас вздрогнуть: громким голосом, глядя через головы Эллен и мою, он продекламировал:

— И если я люблю, Господь, помоги мне и ей!

Мы не узнавали его голоса. Это был звучный, гибкий голос актера, полный страсти и тоски.

Мы говорили вовсе не о любви, фраза эта была в высшей степени ни к селу, ни к городу. С полминуты мы все молчали. Потом я вдруг почувствовал странную перемену: точно в голове у меня прояснилось. Я не чувствовал больше за собой ни рампы, ни глаз публики, и громко расхохотался. И вслед за мной расхохотались все. Мы снова ста-

ли прежними простыми людьми, а не актерами на сцене.
Мы смеялись до слез.



— О! Том! Как ты насмешил нас! — воскликнула Эллен.

— Что это взбрело тебе на ум? — спросила миссис Форран.

Том, слегка покраснев и улыбаясь, оглядел нас.

— Право, не знаю... — ответил он.

— Я, вероятно, выглядел, как настоящий идиот?

Фраза эта почему-то промелькнула в голове моей, и я произнес ее.

Мы все стали повторять эту фразу, стараясь подражать голосу Тома. Миссис Форран потянула носом и взглянула на камин.

— Как будто пахнет гарью? — спросила она.

Мы все сразу почувствовали сильный запах гари, как будто бы тряпка горела.

— Верно, искра вылетела из камина, — заметил я и встал посмотреть.

Я обыскал всю комнату, вышел за дверь, но не нашел причины запаха гари. Нам всем это показалось странным, но вдруг запах совершенно исчез.

II

Мы пробыли в коттедже уже целую неделю, когда однажды после вечернего чая Том предложил мне выйти с ним погулять. Я неохотно разлучался с Эллен, но что-то в его глазах заставило меня согласиться.

Всю эту неделю мы провели прекрасно. Я все время проводил с Эллен. Форран чувствовал себя несравненно лучше. Мы много занимались рыбной ловлей и охотой. Единственное, что портило наше настроение, это охватывавшее всех нас иногда, обыкновенно за ужином, ощущение, будто мы находимся на сцене. Мы строили различные гипотезы для разгадки этой странности, обвиняли Тома, что он подсказал это настроение. Другой тайной, которую мы также отказались уже разгадать, был запах гари, ощущавшийся почти всегда в одно и то же время по вечерам. Форран пробовал объяснить это влиянием направления ветра, и мы

охотно приняли это объяснение, потому что другого придумать не могли.

Когда мы с Томом вышли, покуривая трубки, я почувствовал вдруг, что он хочет говорить со мной о коттедже. Я не намерен был принимать этого всерьез и, подражал его голосу, воскликнул:

— Если я полюблю, Господь, помоги мне и ей!

Он рассмеялся, но далеко не весело.

— Да, — произнес он, — это было очень странно. Арчи, друг мой, тут много странного... Скажите, у вас нет тайных пороков?

— Например? — удивился я.

— Например, не ходите ли вы по ночам и не читаете ли вслух ваши бессмертные произведения?

— Я? Господь с вами! Что вы выдумали?!

— Джек прошлую ночь прекрасно спал. Я тоже. Вы говорите, что и вы не вставали. А между тем, это был мужской голос.

— О чем говорите вы? — спросил я.

Он с минуту поколебался.

— Послушайте! — произнес он наконец. — Эллиен напугана. Вы знаете, что ее комната находится над столовой. В прошлую ночь она вдруг поздно проснулась и услышала внизу мужской голос. Он звучал вполне ясно, так ясно, что она могла почти различить отдельные слова. Как будто кто-то выразительно читал вслух. А голос был незнакомый.

— Ей, верно, приснилось это, — сказал я.

— Дорогой мой, неделю тому назад и я решительно заявил бы это. Но теперь я не уверен...

— Вы говорите, кто-то читал вслух?

— Да, и с большим чувством, как, например, актер учит роль.

— Не говорите глупостей! — произнес я, уловив странную нотку в его голосе.

С минуту он помолчал. Потом вдруг спросил:

— Вы, конечно, не верите в привидения?

— Конечно, нет.

— И я не верил до последнего времени. Нечего бранить меня, Арчи, но тут что-то неладное в этом коттедже. Например, это ощущение, как будто мы находимся на сцене перед публикой. Ведь мы все это чувствуем иногда? А затем, запах гари... И эта странная фраза, которую я бессознательно произнес и за которую вы издеваетесь все надо мной...

Я готов был согласиться с ним, но нашел необходимым спорить.

— Уж не заразились ли все мы нервностью Форрана?

— Нервы? Глупости! Кроме того, Джек никогда не чувствовал себя лучше, чем в последние дни. Это потому, что он не верит в сверхъестественное и ничего не знает. Эллен только мне сказала о том, что слышала: она считает нужным скрыть это от Джека. Не знает он и о кресте, который мы стерли с кухонных дверей. Да он и не должен ничего знать. Это может быть гибельно для него.

— Крест этот доказывает только суеверие нашей прислуги, — пробовал я еще спорить с ним. — Вы ведь знаете, как суеверен народ.

— Когда мы приехали сюда, — ответил Том, — мы не верили в подобные вещи. Мы все считали себя вполне здравомыслящими. Но не находите ли вы, что с тех пор наши мнения несколько поколебались? Мы не можем закрывать глаза на многие доказательства. Суеверие или нет, — но тут есть нечто странное, непонятное. Если Джек узнает, это может грозить большой опасностью для его здоровья. И Эллен очень напугана.

Этих двух аргументов для меня было вполне достаточно, чтобы убедиться в необходимости уехать отсюда. Но как подготовить к этому Форрана? Он был в восторге от всего окружающего и едва ли согласится уехать отсюда до срока, а сказать ему правду мы боялись.

Так мы и не пришли ни к какому решению.

III

Канун Рождества этого года я никогда не забуду. Расскажу все по порядку, без всяких преувеличений.

Мы жили уже две недели в коттедже, и со времени моей прогулки с Томом ничего особенного не случилось. Мы по-прежнему по временам чувствовали себя на сцене, слышали запах гари. Но голосов Эллен больше не слыхала.

Решено было, что в этот вечер после чая мы все отправимся в Сент-Ив сделать кое-какие покупки к Рождеству, но в последний момент я отказался пойти, решив позаняться.

Когда я остался один в доме, я сразу принялся за работу. Сначала я чувствовал себя несколько возбужденным, нервным, но пара выкуренных трубок успокоила меня, и скоро перо закрипело по бумаге.

За работой время летит необыкновенно быстро. Когда я сделал передышку и взглянул на часы, я с удивлением заметил, что проработал непрерывно два часа. Скоро должны были все возвратиться, так как мы решили провести сочельник вместе, поэтому я решил снова приняться за работу.

И вдруг мной овладело столь знакомое мне ощущение: я почувствовал за спиной сотни глаз, следящих за всеми моими движениями и ожидающих услышать, что и скажу. Холодный пот выступил у меня на лбу.

«Нервы!» — подумал я, не смея, однако, поднять глаз. Я сидел, опустив взоры на бумагу с неоконченной фразой; перо дрожало в моей руке. Мной овладел ужас. Наконец, с неимоверным усилием, я решил поднять взоры и устремил их на дверь, ведущую в соседнюю комнату — кабинет. Там было темно, но некоторые предметы я явственно различил, и они казались такими странными! Я увидел часть лестницы, уголок чего-то похожего на деревянную крышу сарая и кусок болтавшейся веревки. Сердце у меня замерло.

«Господи! — подумал я. — Театральные кулисы!»

Я слегка повернул голову влево. И вместо стены, «четвертой стены», увидел погруженную в мрак пустоту, а в ней ря-

ды лиц с устремленными на меня глазами.

С громким криком вскочил я со стула и устремил взгляд в пропавшую стену. Кругом была глубокая тишина. Я чувствовал, что темные лица в зале обратились в слух и зрение. И в этот момент я почувствовал ялах гари.

За спиной моей вдруг раздался крик: кто-то хриплым голосом кричал что-то непонятное. Послышались тяжелые быстрые шаги. Я услышал какое-то шипение.

И вдруг я произнес голосом, который сам не узнавал:

— И если я полюблю,. Господи, помоги мне и ей!

Я произнес эти слова, не вдумываясь в их значение, не отдавая себе отчета в том, что делаю.

Затем лица, составлявшие публику, потускнели и исчезли, загороженные от меня густой завесой дыма. Я весь окружен был облаками дыма. Он забирался мне в глаза, в горло, в нос. Я задыхался. Упал на пол и потерял сознание в момент, когда явственно ощутил лижущие меня языки замени...

Когда я раскрыл глаза, возле меня стояла Эллен. Она опередила других. После она рассказала мне, какой страх пережила, найдя меня в бессознательном состоянии на полу...

Потом подоспели другие. Меня уложили в постель, дали рюмку водки.

На другой день я солгал всем, что вдруг почувствовал себя дурно, что это случается со мной первый раз в жизни.

Попозже ко мне в комнату зашел Том; он сел на край постели и, устремив на меня насмешливый взгляд, спросил:

— Ну что? Лучше вам?

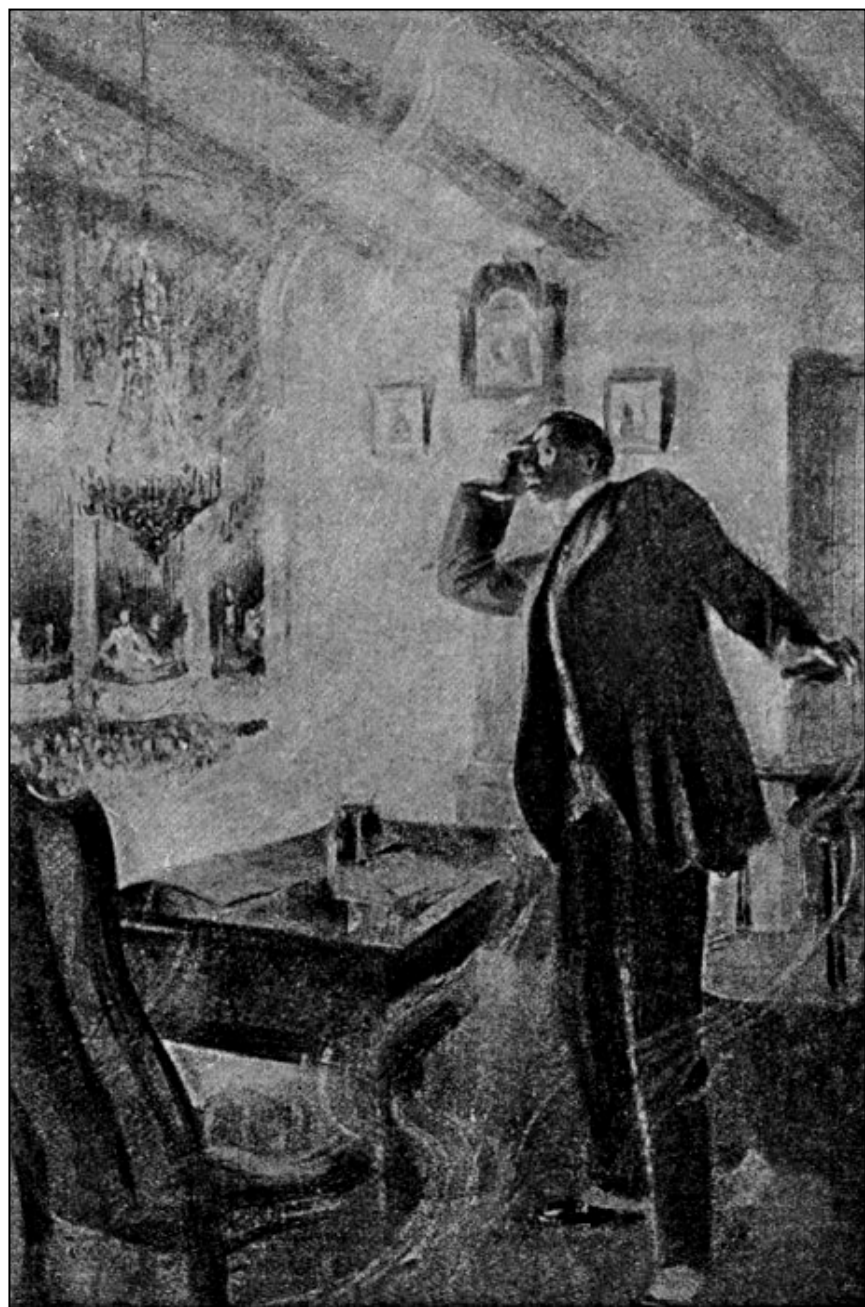
— Гораздо.

— В таком случае, расскажите, что с вами случилось. Во внезапную дурноту не верю. Я уже почти подготовил Джека. Мы уезжаем отсюда. Расскажите сначала вашу историю или прикажете сперва рассказать вам то, что случилось со мной?

Я с изумлением посмотрел на него.

— Что-нибудь новое?

— Да, вчера я кое-что узнал. Я узнал кое-что о челове-



ке, жившем здесь раньше, и это имеет странное соотношение с тем, что мы испытывали. Рассказать?

— Пожалуйста!

— Ладно. Вчера в Сент-Иве я зашел в трактир и за бутылкой виски разговорился с одним бывшим там фермером. Он сказал мне, что в этом коттедже в течение нескольких лет проживал некто Селлингер.

— Актер?

— Да. Сюда он приезжал отдыхать. Селлингер был известным актером, — не в Лондоне, а в провинции. В течение нескольких лет он объездил почти все провинциальные театры с пьесой «Сердце Аннетты», в которой играл главную роль. В пьесе есть сцена, представляющая внутренность старого коттеджа, и по этой сцене он скопировал обстановку своего коттеджа. Тут, как я уже сказал, он проводил все свободное время, готовился к ролям... Около года тому назад он погиб на сцене. Он играл свою любимую роль в Мидлендском театре, и в момент, когда он в комнате коттеджа произнес фразу: «И если я полюблю, Господи, помоги мне и ей!», на сцене случился пожар, и он задохся в дыму. Это были его последние слова... Что с вами, Арчи?..

Говорят, если человек любил какое-либо место, дух его не покидает это место и после смерти. Далее, существует теория, будто дух сильного человека может овладевать другими живыми людьми, может заставить их чувствовать то, что он переживал, делать то, что он делал при жизни.

Но мы — люди практические и не желали раздумывать над этими теориями. Мы просто в самый день Рождества переселились в ближайшую гостиницу.

Покинутый нами коттедж сейчас, может быть, снят по очень дешевой цене, но я никому не рекомендовал бы поселиться там. Можно не верить в привидения, но нельзя не признать, что есть в мире много странного, чего мы не можем познать нашим умом.

ПРИМЕЧАНИЯ

Со времени возникновения в 2013 г. книжной серии «Polaris» в архивах издательства Salamandra P.V.V. скопилось значительное количество раритетных произведений, которые по различным причинам не могли быть включены в те или иные тематические антологии либо авторские сборники. Эти рассказы и новеллы, опубликованные в былые годы на страницах периодической печати, в подавляющем большинстве своем никогда не переиздавались и оставались совершенно неизвестными современным читателям. Таким образом, перед издательством встал вопрос: предпочтительней ли позволить им и дальше прозябать в безвестности и условной «архивной пыли», либо предпринять попытку вернуть их читателям, не смущаясь пестротой и известной вольностью отбора. Ответ был для нас очевиден.

Включенные в настоящее издание произведения принадлежат в основном европейским писателям первых десятилетий XX века. Следует упомянуть, что русская периодика эпохи отличалась заметной небрежностью в отношении авторства переводных произведений; сказанное в особенности касается периодики дореволюционной и эмигрантской. Имена авторов зачастую транскрибировались по переводческой прихоти, путались или опускались, распространены были случаи анонимных публикаций «с немецкого», «с английского» или «с французского». В ряде подобных случаев нам удалось восстановить справедливость; но, поскольку мы имели дело с большим массивом авторов, порой малоизвестных и у себя на родине, в этой области не исключены отдельные ошибки, которые мы надеемся исправить в будущем.

Все произведения публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам. Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. Источники текстов указаны ниже. Допущенные в переводах сокращения нами не оговаривались.

В оформлении обложки использована работа В. Цеккина, на с. 5 — рисунок Леонардо да Винчи.

М. Фоменко

Р. Гибо. Чудовища воздуха. Пер. В. Ка-го // *Иллюстрированная Россия* (Париж). 1930. № 16 (257), 12 апреля (под загл. «Страшилища воздуха»).

А. Конан Дойль. Ужас высот // *Мир приключений*. 1914. № 2. Илл. У. Р. С. Стотта взяты из первой публикации: *The Strand Magazine*. 1913. Vol. XLVI, ноябрь.

А. Конан Дойль. Таинственная птица. Илл. А. Лано // *Синий журнал*. 1911. № 50, 2 дек. Ориг. загл. «The Great Brown-Pericord Motor».

Э. Гарикур. Воздушный шар. Пер. П. Борецкой // *Журнал-копейка*. 1910. № 72, май.

[Б. п.]. Акулы // *Журнал-копейка* (М.). 1911. № 7/84.

Ш. Жекио. Акулы // *Всемирная панорама*. 1911. № 93/4, 21 января.

[Б. п.]. Сирена с мертвыми глазами // *Зеркало жизни*. 1914. № 15, апрель.

Б. Лоус. Голова Медузы. Пер. М. Б. // *Зеркало жизни*. 1914. № 30, июль.

Э. Пашен. Китайская кукла // *Для Вас* (Рига). 1937. № 50 (208), 12 декабря.

Ш. Дэ. Кровавый рубин. Пер. В. Ка-го // *Иллюстрированная Россия* (Париж). 1930. № 17 (258), 19 апреля.

К. Фаррер. Идол. Пер. И. Мандельштама // *Фаррер К. Рассказы*. Пг.: Книжный угол, 1923.

К. Фаррер. Три капли молока. Пер. Евг. // *Новая Нива* (Рига-Париж). 1927. № 24, 30 июня.

К. Фаррер. Десять секунд. Пер. Е. Ц. (Л. Веселитской) // *Отечество*. 1915. № 3.

К. Фаррер. Самоубийца // *Иллюстрированная Россия* (Париж).

1927. № 27 (112), 2 июля.

К. Фаррер. Дар Астарты. Пер. Ал. Карасика // *Фаррер К. По волнам*. Л.: Мысль, 1927.

Г. Бетге. Рука Дианы // *Для Вас* (Рига). 1934. № 51, 15 декабря.

Г. Бетге. Колдунья из Флоренции // *Для Вас* (Рига). 1939. № 4 (266), 22 января.

А. де Ренье. Тайна графини Барбары. Пер. А. Смирнова // *Ренье А. де. Лаковый поднос* (Собрание сочинений. Т. XIII). Л.: Academia, 1926.

Арвитар. Философский камень // *Огонек*. 1908. № 34, 24 августа.

М. Формон. Недостроенный замок // *Огонек*. 1917. № 7, 16 февраля (1 марта).

Р. Фосс. Мертвая соперница // *Огонек*. 1908. № 24, 15 (28) июня.

Г. Канциори. Медиум и кольцо // *Огонек*. 1911. № 50, 10 (23) декабря.

Л. Капуана. Колдунья. Пер. Ю. Лазарева // *Всемирная панорама*. 1913. № 213/20, 17 мая.

Бюрен-Ган. Необъяснимое // *Журнал-копейка*. 1914. № 285/27, июнь.

Э. Вейль. Сон барона фон Батонкура // *Всемирная панорама*. 1913. № 216/23, 7 июня.

К. Мэтью. Месть профессора // *Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения*. 1911, май-август.

Л. Г. Мoberли. Необъяснимое // *Синий журнал*. 1918. № 12-13, май (без подписи). Илл. Д. Тенанта взяты из первой публикации: *The Strand Magazine*. 1917. Vol. LIV, июль-декабрь.

Э. Пилон. Тайна замка. Пер. С. // *Всемирная панорама*. 1916. № 378/29, 15 июля.

Де Лис. Тайна черного дома // *Огонек*. № 11, 17 (30) марта.

[Б. п.]. Я и Я // *Журнал-копейка* (М.). 1912. № 22/150.

Е. фон Адлерсфельд-Баллестрем. Персидский ковер // *Журнал-копейка* (М.). 1912. № 24/152. Ориг. загл. «Der Babylu».

А. М. Бэрридж. Исповедь приговоренного к смерти. Пер. М. В<ан>. // *Всемирная панорама*. 1912. № 173/32, 10 августа.

А. М. Бэрридж. Четвертая стена. Пер. М. Ван // *Всемирная панорама*. 1915. № 347/50, 15 декабря.

Оглавление

Р. Гибо. Чудовища воздуха	6
А. Конан Дойль. Ужас высот	13
А. Конан Дойль. Таинственная птица	36
Э. Гарикур. Воздушный шар	49
[Б. п.]. Акулы	57
Ш. Жекио. Акулы	63
[Б. п.]. Сирена с мертвыми глазами	68
Б. Лоус. Голова Медузы	73
Э. Пашен. Китайская кукла	79
Ш. Дэ. Кровавый рубин	89
К. Фаррер. Идол	98
К. Фаррер. Три капли молока	105
К. Фаррер. Десять секунд	109
К. Фаррер. Самоубийца	116
К. Фаррер. Дар Астарты	122
Г. Бетге. Рука Дианы	131
Г. Бетге. Колдунья из Флоренции	138
А. де Ренье. Тайна графини Барбары	142

Арвитар. Философский камень	152
М. Формон. Недостроенный замок	173
Р. Фосс. Мертвая соперница	179
Г. Канциори. Медиум и кольцо	206
Л. Капуана. Колдунья	216
Бюрен-Ган. Необъяснимое	222
Э. Вейль. Сон барона фон Батонкура	227
К. Мэтью. Месть профессора	232
Л. Г. Моберли. Необъяснимое	242
Э. Пилон. Тайна замка	256
Де Лис. Тайна черного дома	261
[Б. п.]. Я и Я	270
Е. фон Адлерсфельд-Баллестрем. Персидский ковер	278
А. М. Бэрридж. Исповедь приговоренного к смерти	287
А. М. Бэрридж. Четвертая стена	299
Примечания	312

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.